

ГОСТИНЫЙ ДВОРЪ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
писателей России

*Издание осуществлено на средства
Правительства Оренбургской области*



Оренбург
2019

«Гостиный Дворъ» № 1 (9), 25 марта 2019 г.

Журнал

Учредители:

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области,
ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова»

Главный редактор Н.Ю. Кожевникова

Редакционный общественный совет:

председатель — **Е.В. Шевченко**, министр культуры и внешних связей Оренбургской области

С.В. Василенко (Москва)

Д.Е. Кан

П.Н. Краснов

В.Н. Кузнецов

В.А. Лабузов

А.В. Лигостаева

В.Д. Лютый (Воронеж)

Г.П. Матвиевская

С.С. Мячина

В.М. Молчанов

П.Г. Рыков

В.Б. Соколов

Т.В. Судоргина

А.Г. Филиппов

Т.М. Шабаренина (Уральск, Казахстан)

Н.А. Ягодинцева (Челябинск)

Почтовый адрес редакции: 460014, г. Оренбург, ул. Правды, 10

Телефон 8-903-394-32-60

Телефон/факс (3532) 78-37-91

Е-MAIL: Gdvor56@yandex.ru, editor@orenlit.ru. Веб-сайт: orenlit.ru

Почтовый адрес издателя: 460014, г. Оренбург, ул. Правды, 10, ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова»

Е-MAIL: Domliteratorov28@mail.ru

Телефон/факс (3532) 78-41-29

На первой и последней страницах обложки — фотоколлажи **В.Б. Соколова**

Художник — **В.В. Кожевникова**

Корректура — **А.Н. Воловод**

Компьютерный дизайн — **Е.А. Болотова, М.В. Стрельникова**

В спорных случаях оставляются стиль, орфография и пунктуация авторов, которые несут ответственность также и за достоверность фактов. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи

Сдано в набор 25.02.2019 г.

Подписано в печать 20.03.2019 г.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Объем 22,5 печ. л.

Тираж 1112 экз.

Заказ 9368

Цена свободная

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ56-00704 от 18 октября 2017 г. в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.

ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, дом № 2ж

Федеральный номер для всех городов РФ: 8-800-300-16-00

ISBN 978-5-907080-57-7

© Журнал «Гостиный Дворъ», 2019

«...Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей... Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т.д. и т.п., что именно бесспорным наличием в ней всего этого им и нравится Европа... А теперь что мы видим? По мере того, как Россия, добываясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. Они никогда так сильно не ненавидели прежние установления, как ненавидят современные направления общественной мысли в России.

Что же касается Европы, то, как мы видим, никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации нисколько не уменьшили их расположения к ней... Словом, в явлении, о котором я говорю, о принципах как таковых не может быть и речи, действуют только инстинкты...».

Фёдор ТЮТЧЕВ, 1867 г.

ГОСТИНЫЙ ДВОРЬ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- 6 **Юрий Бондарев.** «Простите нас!». *Рассказ*
19 **Наталья Кожевникова.** «Россия — это зима». *Стихи*
23 **Сергей Фролов.** По зёрнышку. *Страницы раздумий*
35 **Диана Кан.** Новая марсельеза. *Стихи*
40 **Виктор Ренёв.** Степаныч. *Рассказ*
60 **Сергей Ушаков.** Перевернутые облака. *Стихи*
66 **Антон Горынин.** Правда. *Рассказ*
81 **СТИХИ ПО КРУГУ:** Анна Терентьева, Сергей Макаров, Александра Половинкина, Елизавета Курдикова, Полина Пороль
95 **Сергей Салдаев.** *Пародии*

НАША ГОСТИНАЯ

- 96 **Владимир Шемшученко.** Но стоит Крымский мост. *Стихи*
102 **Арсен Титов.** Екатеринбург Восемнадцатый. *Главы из романа*
137 **Марина Гах.** Понимаю — рано умирать. *Стихи*
142 **Виктор Брюховецкий.** А потом пришло одиночество. *Рассказ*
169 **Ян Бруштейн.** Я люблю этот белый свет. *Восьмистишия*
172 **Римма Лютая.** Нунути. *Рассказ*
176 **Ирина Евса.** В угловом раю. *Стихи*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- 180 **Яна Сафронова.** Найти выход. *О прозе молодых авторов «Лицея»*

МИР ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

- 209 **Игорь Тюленев.** Так говорил Поликарпыч... *Воспоминания об Учителе*

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА	220	Валерий Кузнецов. Принадлежал Павлу Васильеву. <i>История одной находки</i>
	225	Иван Коннов. «Когда весна придёт, не знаю...» <i>К 100-летию со дня рождения поэта А. И. Фатьянова</i>
РУССКИЙ МИР	234	Константин Фролов. «Мы — русские!» <i>Стихи</i>
КАЗАЧЬЯ ЛИНИЯ	238	Николай Панов. Инцидент на царском багренье. <i>Как казаки наказного атамана прогнали</i>
МЫ ВЫРОСЛИ В РОССИИ	251	Мария Дёмочкина. «Ты только не грусти». <i>Рассказ</i>
	260	Ирина Родионова. Мариуш. <i>Рассказ</i>
	270	Михаил Червяков. «Но в тебе есть любовь». <i>Стихи</i>
	274	Александра Шалашова. «Здравствуйте, девочки». <i>Рассказ</i>
ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА	293	Александр Чибилёв. Лики степи в мировой литературе. <i>О поисках прекрасного, приводящих к полезному</i>
	303	Евгения Щербакова, Дмитрий Грудинин. Сбереечь, что осталось
В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ	309	Людмила Верховых. «Он к нашим детям приходил». <i>К 85-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина</i>
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ	320	Александр Агафонов. Памятный знак первому космонавту. <i>История создания из первых рук</i>
	330	Павел Юдин. Памятники И. И. Неплюеву. <i>К 275-летию Оренбургской губернии.</i> Послесловие А. Г. Прокофьевой
	339	Сергей Колычев. Державин. Карамзин. Высоцкий. <i>Поездка по Золотому кольцу</i>
	344	Виталий Молчанов. О поэзии, Пскове и святом Никандре. <i>Впечатление от фестиваля «Словенское поле»</i>
	349	Галина Матвиевская, Инна Зубова. «Займитесь этим всерьёз...» <i>Памяти В.В. Дорофеева</i>
	356	Лидия Медведева. Мотивы деревенской жизни. <i>О выставке Ю. П. Григорьева</i>

Юрий БОНДАРЕВ



«ПРОСТИТЕ НАС!»

Рассказ

Юрий Васильевич Бондарев родился в 1924 году в Орске Оренбургской области. Окончил Бердичевское пехотное и Чкаловское артиллерийское училища, Литературный институт им. А.М. Горького. Участник Великой Отечественной войны. Известный писатель, один из авторов сценария киноэпопеи «Освобождение» и некоторых других фильмов, снятых по его романам. Орденоносец, лауреат Ленинской и трижды Государственных премий СССР, всероссийских премий «Сталинград», им. А. Невского (2002), Большой литературной премии России (2012), премии «Ясная поляна» (2003) и др. Герой Социалистического Труда. Живёт в Москве.

Южный экспресс задержался здесь не более пяти минут. Павел Георгиевич долго стоял на безлюдной платформе и слушал горячую трескотню кузнечиков за насыпью степного разъезда.

После духоты вагона, утомительных дорожных разговоров в накуренном купе за полночным преферансом, ненужных знакомств, после надоедливой поскрипывания полок Павла Георгиевича охватила неподобная тишина, казалось, совсем как в детстве.

Он не без удовольствия сел на чемодан, перекинул плащ через плечо и сидел так, оглядываясь со счастливым облегчением. Хотя по роду своей профессии ему не так много приходилось ездить, он непонятно почему любил нефтяной запах шпал, гудки паровозов, спешащий перестук колёс, мотание из стороны в сторону

последней площадки, где в руке кондуктора мелькал выцветший свёрнутый флажок, тёплый ветер от бегущих вагонов — всё это будило смутное желание к движению, к перемене мест.

Иногда в Москве, до глубокой ночи засиживаясь над чертежами, он подымал голову, глядя в распахнутое в тополя окно, и, задумавшись, подолгу слушал, как вкрадчиво над спящим городом перекликались на вокзалах ночные поезда. Порой гудки мешали ему, будоражили его, и отчего-то тогда вспоминалась вечеряющая степь с пыльным закатом над тёмными стогами, и, подхваченный волнением, он бросал работу, на цыпочках, чтобы не разбудить жену, уходил из дому, бродил по пустынным и тихим улицам.

Павел Георгиевич Сафонов работал на большом заводе конструктором, был известен, с годами привык к этой известности и, казалось, даже немного устал от неё, как порой устают люди, когда к ним рано приходит успех и удовлетворение. В этом году Сафонов, утомлённый сложной зимней работой, был в санатории на Южном берегу Крыма. Ослепительно-солнечный юг с его острой, сухой жарой, неестественно экзотическими пальмами на бульварах, прокалённый песок пляжа, купание и процедурное лежание под тёплым йодистым дуновением моря, весь

санаторный режим располагали к безделью, одолевала курортная лень, и мысли в эту жару тоже были притуплённые, ленивые, и хотелось быстрее в Москву, к осенним дождям, к мокрому асфальту, к блеску фонарей в лужах.

Южный экспресс, на котором Сафонов возвращался из санатория, мчал его по знакомым местам, где Павел Георгиевич родился, вырос, где он не был много лет. Утром, глядя в увлажнённые окна тамбура на прохладную степь, Сафонов с какой-то грустной обострённостью вспоминал то, что уже было полузабыто: вот он, мальчишка, в грязной сатиновой рубашке, с цыпками на руках, бежит по этой ледяной от росы степи, бежит вслед за поездом неизвестно куда, и отяжелевшая от влаги трава хлещет его по коленям, приятно холодит ноги... Сколько тогда ему было лет? Порой ясно чудилось, будто вместе с Верой он идёт по лунным косякам на Шахтинском холме, внятно и резко пахнет из низин полынью, и потрескавшиеся, обветренные губы Веры тоже пахнут полынью. Воспоминания возвращали его в давний прожитый (а может быть, непрожитый) мир, говорили, напоминали, что ему уже за сорок и что не так много сделано в его жизни, где давно, отмеченная прочными вехами, первая молодость прошла.

И вдруг его непреодолимо потянуло побывать в родном своём степном городке: побродить по нему, почитать афиши на заборах, увидеть старые названия улиц, узнать, что изменилось в нём за многие годы, непременно встретить знакомых школьных лет, таких далёких, словно их и не было. Ему страстно захотелось посидеть с другом юности Витькой Снегирёвым где-нибудь в летнем кафе, под тентом, за холодным пивом, вспомнить то наивное, давнее и милое, что уже никогда не повторится, но что все-таки было когда-то в его жизни.

И хотя это желание победило, Павел Георгиевич с ироническим видом потёр нос (в свои годы он иногда подтрунивал над собственными желаниями), вошёл в купе, где все спали, подумал ещё раз, уложил чемодан, взял плащ и, к удивлению заспанного проводника, бесшумно подметающего в коридоре, сошёл на маленьком разъезде этим ранним августовским утром. Он сошёл не на вокзале в городе, а именно здесь, чтобы дойти до города пешком.

Южный экспресс с жаркими от зари стёклами, с запылёнными занавесками тронулся, полетели вдоль насыпи бумажки, поднятые ветром, и ушёл быстро; дымки почти беззвучного паровоза таяли среди сиренево стекленеющего неба далеко на западе, всё стихло.

Только у самой насыпи немолчно звенели, трещали в неестественной тишине кузнечики.

Сидя на чемодане, Сафонов не без волнения выкурил папиросу, подумал: «Необычайно хорошо!» — и с наслаждением вдохнул на полную грудь зябкий и чистый, как ключевая вода, воздух. Степь, по-летнему пёстрая, в этот спокойный час утра тепло и ало краснела за холмами на востоке. Там, в эту пылающую, мнилось, бесконечность пылила вдали по кособогу грузовая машина, и, чётко вырезанные по красному, проступали терриконики, дальние силуэты водонапорной башни, оазисы беленьких домов, острые верхушки тополей.

С насыпи Павел Георгиевич не торопясь спустился в степь, как в чашу, полную ещё сырой прохлады; тугой волной обдало горьковатым запахом полыни. И пока он выбрался на дорогу, колени его стали влажными от росы, на плащ, на брюки нацеплялись репейники, чемодан облепили мокрые лепестки.

Он шагал по дороге, приятно утопая ботинками в мягкой пыли, затем сорвал прутик с молодой липкой кожицей; по-мальчишески сбивая росу, ударил им по головке какого-то фиолетового цветка у обочины (название которого в детстве знал, но теперь забыл). Из глубины цветка неожиданно поднялся сонный

золотистый шмель, весь в намокшей пыльце, и тяжело, сердито прогудел мимо.

— Ишь ты! — сказал Павел Георгиевич, провожая его весёлым взглядом. — Прости, если потревожил...

Когда Сафонов вошёл в родной городок, окраины встретили его длинными, через всю дорогу, тенями от старых тополей; кое-где в садах подымался синеватый самоварный дымок, ветви обогретых солнцем яблонь свешивались через заборы. Сафонов шёл, помахивая прутиком, глубоко вдыхал запах садовой свежести, этот смолистый самоварный дымок — эти запахи, эти тени от тополей напоминали детство, голубятню, игры в Чапаева, сокрушительные набеги на чужие сады, — как давно это было! Да было ли?

Весь день он ходил по городу и не узнавал его. И город не узнавал Сафопова. Старинный степной этот городок был точно заново заселен, заново выстроен; комфортабельно блестящий зеркальными витринами центр его кишел пестрой, куда-то спешащей через перекрестки толпой, милиционеры, с шоколадно опалёнными солнцем лицами, в белых кителях, заученно-щегольски взмахивая палочками, регулировали движение; разомлевшие, потные люди стояли на троллейбусных остановках в пятнистой тени акаций, везде продавали газированную воду, как в Москве, как на

улице Горького... А раньше тут зевали от жары, лениво покрякивали краснолицые, бородатые мороженщики в передниках, похожие на дворников, и залитые зноем улицы были безлюдны, накалены, только собаки лежали в прохладе крылец, дремали, высунув языки, и в белой запылённой пыли стонали куры.

Он четыре раза не спеша проходил по той улице, где родился и где прежде стоял его низенький глинобитный домик. Теперь на этом месте был бульвар, молодой, свежий, с песчаными аллеями, исполованный тенями, солнечными пятнами. И этот бульвар, которого никогда не было, совсем не помнил и не знал детства Павла Георгиевича, не знал, как здесь он неуклюже поцеловал у несуществующей сейчас калитки Веру, и она, странно потрогав пальцами свои губы, откинув голову, сказала с беспомощной растерянностью: «Теперь на всю жизнь, да?»

Сафонов сел на скамью, долго оглядывал бульвар с томительно замирающим сердцем. Ничего не осталось от прежнего, от его детства, ничего не осталось... И было обидно, непонятно это, будто жестоко и зло обманули его, отняли что-то у него, чего нельзя было отнимать.

Но где сейчас Витька Снегирёв, где Вера? Витька — первая мальчишеская преданность, Вера, как говорят, — первая

любовь, мучительная и трогательная, с записками в школе, с мягко падающим снегом на крыльцо, с первым неумелым поцелуем, который он помнил...

Павел Георгиевич посмотрел на детские коляски, на малышей в белых панамах, ползающих среди песка, на загорелого парня в безрукавке, угловатую, как подросток, девушку с веточкой акации в зубах, совсем незнакомых, медленно идущих по аллее бульвара, и поднялся, каким-то постаревшим движением перекинул плащ через руку. Он почему-то почувствовал себя экскурсантом в этом городе.

Но его вдруг потянуло на Садовую, там, на этой окраинной улице, густо заросшей деревьями, жил в том мире детства Витька Снегирёв, а на углу, возле аптеки, в маленьком доме, — Вера. Он хотел что-нибудь узнать о них: «Что с ними? Как они?»

Садовая улица была прежней, седые акации попеременно с тополями, разросшиеся вдоль забора, переплелись над ней, образовали над всей улицей зелёный темный шалаш, и мохнатыми гусеницами валялись на тротуаре тополиные серёжки, как тогда, в детстве. Сафонов глядел по сторонам на эти милые с детства, затенённые листвой одноэтажные дома, на слабо поблёскивающие стёкла летних террас, пышно увитые плющом, и жадно искал здесь старое, знакомое, неповторимое.

«Вот он, домик... Витьки Снегирёва! Да, да! Дом № 5». Этот номер с фонарём едва виден был сквозь плотные ветви деревьев, и Павел Георгиевич даже удивленно улыбнулся, сдвинул шляпу на затылок. И, тут же почувствовав мгновенную нерешительность, поднялся на ступеньки старенького, скрипучего крыльца, нагретого солнцем; запахло сухим деревом.

Его встретила пожилая женщина. Он не знал её. «Нет, Снегирёвы здесь после войны не живут, уехали все. Может, запомнела, но вроде бы они в Свердловске. Кажись, сын у них — директор завода. Два года назад в отпуск приезжал. А вы кто будете, гражданин? Сродственник им или как?»

Павел Георгиевич, слушая, снял шляпу, теребил её в руках; наконец, поняв всё, досадливо пробормотал невнятные слова: «Да, дальний родственник», — и с едким чувством горечи и какого-то обмана тихо спустился с крыльца.

Куда идти? И всё-таки он не терял ещё надежды найти кого-либо, узнать о ком-нибудь, он хорошо помнил, не выпускал из памяти островерхую крышу аптеки в дальнем конце улицы и рядом домик под тополями, где когда-то жила Вера.

Однако к этому дому, видневшемуся за вывеской аптеки, он подходил с такой опаской, робостью, с таким внезапно

поднявшимся в нём волнением, что пришлось остановиться на углу под тополями, справиться со сбившимся дыханием. Неужели он ещё любил её? Не понимал, что владело им, женатым и семейным человеком, — возможно, мгновенное чувство острого сожаления, что всё получилось как-то не так, возможно, воспоминания о тех первых ощущениях мелькнувшего давным-давно счастья.

Он вытер пот со лба, нажал кнопку звонка. И ждал, опять теребя пальцами шляпу, преодолевая неуверенность.

Постаревшая Верина мать (он тотчас узнал её, но она не сразу узнала его: «Боже мой, Павлуша, ты ли это? Приехал, Павлик?»), нелепо суетясь и виновато извиняясь за беспорядок в комнате, усадила его на диван и стала слишком поспешно расспрашивать и одновременно говорить, что «мы слышали, всё знаем, как ты далеко пошёл», а он, едва понимая её, с нетерпением ожидая, когда она кончит задавать вопросы, спросил наконец запнувшимся голосом:

— А где Вера?.. Где она?

— Ве-ера? — она странно посмотрела на него. — Вера? — повторила она тише и отвернулась, подняла руку, точно загораживая лицо.

Ему стало душно.

— Где она? — почти шёпотом повторил он.

— «Разве ты не знаешь, Павлуша? Нет Веры... Нет

Веры... Она ведь на войне санитаркой...

— Не может быть, — растерянно и глухо сказал Сафонов.

Потом он помнил: Верина мать, провожая его, всё смотрела ему, казалось, в самые зрачки текущим, задумчивым взглядом и повторяла грустно:

— Как жаль, как жаль!.. Вы вместе росли...

Сафонов ощущал себя окончательно разбитым. Он теперь не знал, куда идти, кого искать, и совсем бесцельно зашёл в летнее кафе на углу. Было жарко и всё так же душно, не хотелось есть, но, когда подошёл официант, он заказал две бутылки пива, долго сидел в шуме, бестолковом говоре под тeneвым зонтиком, устало глядя на город, весь зеленеющий акациями, южный по своей белой и солнечной красоте и почему-то чужой ему сейчас.

И было тоскливо, одиноко, досадно; и, не допив пиво, чувствуя раздражение, неудовлетворённость, он неожиданно для самого себя расплатился и не без последнего упорства пошёл снова бродить по городу со слабой надеждой.

Но он так никого и не встретил. А в десятом часу вечера, вконец усталый и будто ограбленный, он направился в сторону вокзала, вышел на 1-ю Пристанционную. В тихих сумерках зажигались фонари, неподвижно зажелтели в пролёте улицы, от садов резко и свежо потянуло прохладой, загорелся

свет в домах, за забором на террасе заиграла радиола. По шоссе в сторону городского парка с шелестом проносились уже освещенные, как зелёные аквариумы, троллейбусы; на углу зыбко переливалась неоновыми зигзагами реклама кинотеатра.

В этом городе никто не знал его. Только Верина мать...

Павел Георгиевич подошёл к троллейбусной остановке, надел плащ, поднял голову и внезапно в проёме улицы увидел свою школу — четырёхэтажная, с тёмными окнами, она стояла, как и тогда... Она не изменилась. Она была прежней, как в детстве, как много лет назад.

Он несколько минут, не отрываясь, смотрел на тёмный силуэт школы, затем, точно кем-то подталкиваемый, отчаянно махнул рукой, вошёл в пустынный чернеющий школьный парк... И с радостным утомлением сел под старой акацией, возле которой когда-то на переменах играли в фанты. Это бывало весной, когда земля ещё приятно отдавала сыростью!.. Он ощупал скамью, погладил ствол акации и засмеялся, как будто он встретил очень давнего знакомого, до боли доброго, совсем не изменившегося знакомого, который всё знал о Павле Георгиевиче, и Павел Георгиевич всё знал о нём...

Неужели он когда-то сидел за партой? Неужели когда-то,

во время весенних экзаменов, был над школой глухой гром и майский ливень обрушился на город с весёлой яростью первой грозы? И прошёл с бурным плеском в асфальт, с шумом дождевых струй по ветвям, со звоном в водосточных трубах, с фиолетовыми над мокрыми домами молниями... И тогда хотелось бросить экзамены, бежать вместе с мальчишками под этим веселым теплым дождём и, задрав штаны, болтать ногами в парных лужах, которые ещё пузырились, но в них уже отражалось посветлевшее небо.

«Да, ведь это было!» Он представил всё ярко и, с волнением и любопытством опять посмотрев на тёмное здание школы, вдруг заметил справа, в сырой темноте парка под густыми акациями, красный огонёк, пробивающийся меж ветвей. Неужели Мария Петровна?.. Здесь жила Мария Петровна, его учительница по математике, как же он сразу о ней не подумал, не вспомнил! Всегда он был её любимцем, она пророчила ему блестящее математическое будущее...

И, вскочив со скамьи, Сафонов зашагал по аллее в глубину парка, а когда близко увидел маленький домик под деревьями, тусклый свет в окне, задернутом красной занавеской, он даже задыхался. Сколько лет они не виделись! Здесь ли она теперь? Жива ли? Что с ней? Как много было связано с этим

именем «Мария Петровна»!..

И Сафонов осторожно, сдерживая дыхание, вошёл на крыльцо. Он хотел постучать — дверь оказалась открытой, он вошёл в неосвещённую переднюю, пахнущую керосином. Под дверью в комнату лежала щель света.

Сафонов постучал. Ответа не последовало.

Сафонов в растерянности нажал на запёртую дверь и тут только понял: в доме никого не было. И тогда, усмехнувшись над самим собой, послушав, как в пустой, должно быть, комнате играло радио, Сафонов ощупью в тёмной передней пошёл к выходу. Он задел за что-то плечом, с грохотом упало ведро. Павел Георгиевич машинально наклонился, хотел поднять это ведро и выронил шляпу, с сердцем выругавшись: «Чё-ёрт возьми со всем!..»

— Кто там? — слышалось за его спиной.

Павел Георгиевич выпрямился, полуобернулся. В освещённом проёме двери стояла невысокая худенькая женщина, и он сразу, ещё не различив лица, узнал её...

— Мария Петровна, — тихо и зовуще сказал Павел Георгиевич, — вы меня узнаете?

— Входите, — сказала она тем вежливым, строгим голосом, каким, очевидно, обращалась к родителям своих учеников, когда те приходили «поговорить».

Павел Георгиевич вошёл,

опустив руки, и, глядя в близоруко прищуренные глаза своей учительницы, повторил:

— Вы не узнаете? Мария Петровна, это я...

Она несколько секунд всматривалась в него снизу вверх, он видел её болезненно-бледное, состарившееся, будто источенное лицо, и в эту минуту, сдерживая жалость, отметил про себя, как сильно она изменилась, стала ещё более тонкий, хрупкой, только седые волосы были коротко и знакомо подстрижены.

— Паша Сафонов... Паша? — проговорила она почти испуганно, и Павлу Георгиевичу показалось, что лицо её задрожало. — Садись, пожалуйста... Прости, у меня кавардак... Садись, пожалуйста, вот сюда. К столу, Паша... Ты приехал?

— Да, да, я сейчас, я сейчас! — обрадованно заговорил Сафонов, с неловкостью вешая плащ, шляпу на вешалку, где виднелось одинокое пальто Марии Петровны. И, вешая, не понимал, не знал, почему это он, взрослый, солидный человек, робел, краснел, как школьник, как в те годы.

Он хотел пожать Марии Петровне руку, но сдержался и не пожал, как не жмут при встрече руку матери, и сейчас же потянулся за папиросами и, вынув коробку, спросил совсем стеснительно:

— Можно?

Они сели за стол. Мария

Петровна с непонятной насто-роженностью, с неверием, улыбаясь ему своими близорукими глазами, быстро повторяла:

— Ну вот, Паша, ты приехал... не узнать. Ты в командировку, по делам?

— Я проездом, Мария Петровна, — ответил он и не сказал, что отдыхал на юге, о чем говорить было, наверно, легкомысленно и неудобно.

— Мы сейчас с тобой чай... Подожди, подожди, мы сейчас чай. — И она встала и внезапно снова, как бы обессиленно, села, положив тонкие руки на стол, неверяще улыбнулась. — Да, да, Паша... Совсем не ожидала. Вот Паша Сафонов...

— Мария Петровна, чай не надо, — смущённо проговорил он. — Я только что поужинал...

Пить чай ему не хотелось; хотелось ему только вот так сидеть за столом, смотреть на Марию Петровну, говорить, спрашивать... Но Мария Петровна, вроде не слушая его, взяла чайник, движения её показались ему стесненными.

— Я сейчас, Паша... Прости, что я называю тебя так. Ты ведь теперь...

Она не договорила, вышла на кухню, и тут, приходя в себя, Павел Георгиевич вздохнул освобождённо, провёл ладонью по лбу, огляделся. Она была, как и до войны, одинока и жила в той же маленькой комнатке с одним окном в сад. Всё было по-прежнему: стол, кровать, цветной коврик на стене,

какая-то вышивка на тумбочке, широкий вместительный шкаф, набитый книгами; посреди стола — чернильница, стопка тетрадей, сбоку — красный, аккуратно отточенный карандаш. В этой комнатке он был лишь один раз. Его вызвала Мария Петровна и хмурилась, говорила с ним строго: кажется, тогда он сделал прыгающую чернильницу и поставил её на стол преподавательнице немецкого языка. Сейчас Сафонов просто не поверил: пропасть времени лежала между прежним Пашкой и настоящим Павлом Георгиевичем, конструктором, вот в эту минуту не без смущения сидящим за этим столом.

Вошла Мария Петровна с чайником, весело сказала:

— Все готово! Ну, Паша, рассказывай о себе, что ты, как? А впрочем, я многое о тебе знаю. Из газет, статьи, книгу твою читала. Ты женился? — поспешно спросила она.

— Да, Мария Петровна, — ответил Сафонов.

Она подозрительно-ласково посмотрела на него.

— Счастлив?

— Как будто, Мария Петровна. У меня сын.

Она, точно не расслышав, сейчас же сказала:

— Ну хорошо! А как работа? Над чем работаешь?

— Над новой конструкцией, Мария Петровна.

— Ну и как? Удачно?

— Пока не знаю. Знаете что, Мария Петровна, давайте говорить о прошлом, о школе...

Мария Петровна покачала головой, проговорила задумчиво:

— Я хорошо помню ваш класс. Довоенный класс. Это были озорные, способные мальчишки. И хорошо помню твою дружбу с Витей Снегиревым.

— А помните, Мария Петровна, как вы мне ставили «плохо» по алгебре? В седьмом классе, кажется...

— Да. За то, что ты не делал домашних заданий, надеялся, что кривая вывезет. А математика прекрасно тебе давалась. Но ты был ленив.

— Мария Петровна, а помните, я устроил систему шпаргалок?

— Это то изобретение, когда шпаргалка двигалась по ниточке между пальцами?

— Да! — Павел Георгиевич засмеялся. — А прыгающая чернильница? Нет, сейчас бы я до такой штуки не додумался. Помню: сидел ночь, ломал голову, высчитывал мощность пружинки, чтоб чернильница подпрыгнула именно в тот момент, когда преподаватель макнет ручку.

Мария Петровна прищурилась, словно сдерживая улыбку.

— А я хорошо помню другое; как ты, Паша, стоял вот перед этим столом...

Она не договорила, налила в

чашки чай, взяла ложечку, задумалась и спросила:

— Ты помнишь Мишу Шехтера?

— Ну конечно! Завидовал ему! Мы в классе зачитывали его сочинения: «Образ Татьяны», «Горе от ума». У меня ничего не получалось.

— Он стал журналистом, — медленно проговорила Мария Петровна. — Ездит по всей стране, за границу. Часто читаю его статьи. И часто вспоминаю...

— Он заезжал?

— Нет.

— Да, — сказал Сафонов. — Разлетелись... Я слышал, Витька Снегирев — директор завода на Урале. Не думал! Игнатцев Сенька — начальник главка, слышали? Я его встречал в Москве. Солидный, не узнать. А он не заезжал?

— Что? — спросила Мария Петровна и, опустив глаза, тихонько кивнула: — Ты пей чай, Паша...

— Мария Петровна, а кто заходил к вам, кого вы встречали ещё из нашего класса? — возбуждённо спросил Сафонов. — Гришу Самойлова видели? Артист. Помните, он корчил рожи, а вы ему сказали, что у него способности? Занятный был парень.

— Я его видела только в кино, Паша.

— Я тоже. Неужели не приезжал?

Мария Петровна не ответила,

она, наклонив голову, мешала ложечкой в чашечке, и он увидел на её пальце неотмывшееся чернильное пятно, перевёл взгляд на её источенное лицо и с какой-то внезапной жалостью, с любовью увидел морщины вокруг её губ, её тонкую, слабую шею, коротко подстриженные, сплошь белые волосы, и что-то больно, тоскливо сжалось у Павла Георгиевича в груди. Он подумал, что, если бы она умерла, он не знал бы этого. И не знали бы другие...

— Мария Петровна, — еле слышным голосом повторил Сафонов, — Витя Снегирёв, значит, не был у вас? Кажется, он в прошлом году заезжал сюда.

Она сидела, по-прежнему наклонив голову, и только замедлила движение ложечки в чашке.

— Нет, не был...

— А кто был?

— Что? Ты, пожалуйста, пей чай. Остынет.

— Мария Петровна, а интересно, кто-нибудь пишет вам? Помните, был Володя Бойков, Нина Винокурова? Боря Гмыря? Что-нибудь знаете о них?

Мария Петровна, опять не ответив, оглянулась на окно, там чернел сад, сквозь деревья пульсирующе замелькал свет проходившего троллейбуса.

— Нет, Паша, — сказала она. — Ко мне часто заходит Коля Сибирцев. Он работает на шахте. У него неудачно сложилась жизнь. Он часто заходит.

Сафонов смутно помнил Колю Сибирцева. Этот парень был, кажется, тихий, робкий, ничем не приметный, никакими особыми способностями не отличался, и Павел Георгиевич едва-едва представил его лицо.

— Плохо помню его, — пожав плечами, сказал он. — Забыл!

— Очень плохо, — не то насмешливо, не то осуждающе проговорила Мария Петровна.

Они помолчали. Но от этих последних слов «очень плохо» Сафонову стало не по себе, он понял двойной их смысл. В наступившей тишине он придвинул чашку, неловко потянулся за сахаром и увидел, что Мария Петровна ищущим, долгим взглядом смотрит на книжный шкаф. Он тоже посмотрел и заметил в первом ряду знакомый корешок своей последней книги по самолётостроению.

— Мария Петровна, — тихо и полувопросительно проговорил он.

— Что, Паша?

— У вас, Мария Петровна, моя книга? — проговорил вполголоса Сафонов и тотчас замолчал, вспомнив, что эту книгу он не присылал ей.

— Да, я читала.

Тогда он встал, вынул из шкафа свою книгу «Конструкция самолетов», полистал и, чувствуя, что лицо его начинает жарко гореть, проговорил сконфуженно, с глупой готовностью:

— Мария Петровна, я вам надпишу. Разрешите?..

Неожиданно из книги выпал маленький листок, он торопливо поднял его, ясно увидел свой портрет, вырезанный из газеты, и ошеломленно оглянулся на Марию Петровну, — она мешала ложечкой и очень быстро говорила:

— Неплохая книга... Прочитала с интересом. А это из «Правды», Паша. Когда я увидела, я дала тебе телеграмму.

Он так же поспешно, точно скрывая нечто порочащее его, неприятное, спрятал листок в книгу и, охваченный стыдом и ненавистью к себе, теперь отчетливо и хорошо вспомнил, что он действительно получил телеграмму два года назад среди кучи других поздравительных телеграмм и не ответил на неё, хотя ответил на другие.

Сафонов неясно помнил, что написал на книге, но хорошо помнил, как они прощались: он как-то стыдливо снял свой роскошный плащ, который висел рядом с потёртым пальто старой учительницы, и с непроходящим ощущением вины поклонился. Она зажгла в передней свет, вышла проводить.

Он молчал. Мария Петровна, тоже помолчав, вдруг спросила робко:

— Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе? Хоть что-нибудь...

— Мария Петровна, что вы говорите? — в замешательстве забормотал он. — Если бы не вы!...

Она посмотрела ему в глаза, сказала вздрагивающим голосом:

— Ты думаешь, я не рада? Какой гость был у меня! Ты думаешь, я не скажу об этом завтра своим ученикам?.. Иди, Паша, больших успехов тебе. Будь счастлив...

Они простились. Он быстро пошёл по дорожке ночного сада. И не выдержал, оглянулся. Дверь передней была ещё распахнута, и в тёмный парк падал желтый косяк света. Мария Петровна стояла на крыльце, и худенькая, неподвижная фигурка её отчетливо чернела в проёме двери.

Всю дорогу до Москвы Сафонов не мог успокоиться, переживал чувство жгучего, невыносимого стыда. Он думал о Витьке Снегирёве, о Шехтере, о Самойлове — о всех, с кем долгие годы учился когда-то, и хотелось ему достать их адреса, написать им гневные, уничтожающие письма. Но он не знал их адресов. Потом он хотел написать Марии Петровне длинное извинительное письмо, но с ужасом и отчаянием подумал, что не знает номера её дома.

На большой станции Сафонов, хмурый, взволнованный, вышел из вагона. Он зашёл на почту и, колебавшись, дал телеграмму на адрес школы, на имя Марии Петровны. В телеграмме этой было два слова:

«Простите нас».

**Выдающемуся русскому писателю
Юрию Васильевичу Бондареву
исполнилось 95 лет!**

Фронтовому поколению писателей досталась великая эпоха, поставившая перед ними такие сложнейшие мировоззренческие вопросы, ответы на которые потребовали полной отдачи всех нравственных и жизненных сил. И Юрий Бондарев был из тех, кто возглавил это героическое поколение и провёл его сквозь весьма непростые послевоенные десятилетия и до нынешних дней очередной Смуты, не изменив ни на гран идеалам фронтовой молодости, создав для современников и наших потомков русскую советскую военную прозу и поэзию как высший образец служения Отечеству.

Мы сердечно поздравляем Юрия Васильевича, нашего земляка по рождению, с юбилеем и желаем ему здоровья, житейского благополучия и творческого долголетия!



Наталья КОЖЕВНИКОВА

«РОССИЯ – ЭТО ЗИМА»

Наталья Юрьевна Кожевникова родилась в Бузулуке, окончила Оренбургский государственный педагогический институт, работала главным хранителем фондов Бузулукского краеведческого музея, собственным корреспондентом, заместителем главного редактора газеты «Южный Урал». Главный редактор журнала «Гостинный двор». Член Союза писателей России. Автор четырёх поэтических книг, публикаций в журналах «Москва», «Наши современники», «Подъём», «Простор», «Дон» и др.; газете «День литературы», альманахе «День поэзии XXI век» (Москва). Лауреат премии журнала «Москва» (1993), Всероссийских литературных премий «Капитанская дочка» (1997), «Соколики русской земли» (2011), им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2012), губернаторской премии «Оренбургская лира» (2015), региональной литературной премии им. П. И. Рычкова (2015).

ПОКРОВ

Ещё снежинки тихо виснут
На чёрном кружеве куста,
Но лисий след уже оттиснут
На чистой плоскости листа.
Невинный иней в новой роли
Искусника, врача берёз,
Но вздрогнет дерево от боли:
Он — прах, он — тлен, он —
не всерьёз.

А лёд хрустит под каблуками,
Как леденец у пацана
Между молочными зубами,
И тает в свете из окна.
Недолог миг грехопаденья
Из святости в живую грязь,
И заковать во льды владенья
Ещё рука не поднялась.
Остановить не скоро Волгу,
И сорок дней пройдёт, пока
Зима уляжется надолго
Отогревать себе бока

На баньки, крыши, на солому
Парных и радостных хлебов.
Всё сызнава, всё по-иному
Наутро озарил Покров.

* * *

Наклонилась небес корзинка,
Проступили цветы на белом,
И вокруг не зима, а зимка
С молодым и атласным снегом.
И на сердце совсем не саднит,
Что с тобою не встречусь боле.
Вон, как встарь, одинокий
всадник
Проскакал стороною в поле,
Вслед собака бежала с лаем...
Что — пустое — в снегах
искрилось?

Ослепив, поманило раем
И за крышами тихо скрылось...

* * *

Та забава не унылому —
Побежать в мороз большой
Босиком по снегу стылому
(Я ль не русская душой!)
В банный дух с весенним
привкусом
Мяты, клевера, свечи, —
Где горит весёлым искусом
Пламя в щёлочке печи.
Где нагой, простоволосою,
Жарким сумраком дыша,
Вспомнить — было лето с осами,
С пылью звёздного Ковша,
С рощей белою, берёзовой...
Вот и стало тело розовым,
И оттаяла душа.

* * *

А в мире из веток и снега
Над чёрной живой рекой
Такая невинная нега,
Такой невесомый покой,
Что хочется петь или плакать
Безмолвно, без светлых слёз.
Там, в городе, гарь и слякоть,
Здесь щёки щиплет мороз.
Снега́ — метра два и поболее,
И можно поверх осин
Скользить, задыхаясь от воли,
В безвоздушную синь.
А губы замёрзнут, ладони —
Стоит лишь раз посвистеть,
Смеющийся лыжник догонит,
Чтобы их отогреть...

ТЮЛЬГАНСКИЙ ЛЕС

В нём зима поселилась навек,
Но живая речушка журчит,
И невидимый дятел стучит
Средь осинника, вросшего
в снег.
Чьи следы там? Мне чары
развей!
Рядом чудные звери сидят,
То ли грезят о чём, то ли спят,
Лапы свесив с промёрзших
ветвей.
Отвёрнёшься — идут по пятам,
Тронешь палкой —
рассыплются в прах.
Вслед сорока, презревшая
страх,
Застрекочет — такой шум и гам!
И опять тишина. В облака
Вьётся хитрой восьмёркой
лыжня,
То сводя там с любимым меня,
То опять разводя на века.

* * *

Свет февраля, фиолетово-
льдист,
В окнах стоит, словно память
о сыне,

Мной не рождённом.
Цветёт декабрист.
Утром морозно, а вечером —
сыро.

Мальчик на санках
в пространство летит,
Галки орут — в холода одичали.
Мальчик смеётся, а ветер

свистит,
Как озорник, у него за плечами.
Что мне за дело?
И мальчик чужой...
Сердце, зачем ты внутри
кровоточишь?

Сумерки плачут.
Зима госпожой
Ходит по насту средь зрителей
прочих.

* * *

Во льду бетонное крылечко,
И дали снегом замело,
Где на холмах Сухая Речка —
Достопочтенное село.
Иосафатова долина.
Тюрьмою ставший монастырь.
Отсюда мне видна калина,
Берёзы, свалка и пустырь.
И ничего о них не зная,
И зная всё, о том скорблю —
Уйдёт в неизвестность даль
лесная,
Что я жалею и люблю.

Сгорят берёзы в жаркой
печке,
Темниц удвоится число.
Стою и мёрзну на крылечке,
Что в родину навек вросло...

* * *

Художнику Ю. Рысухину

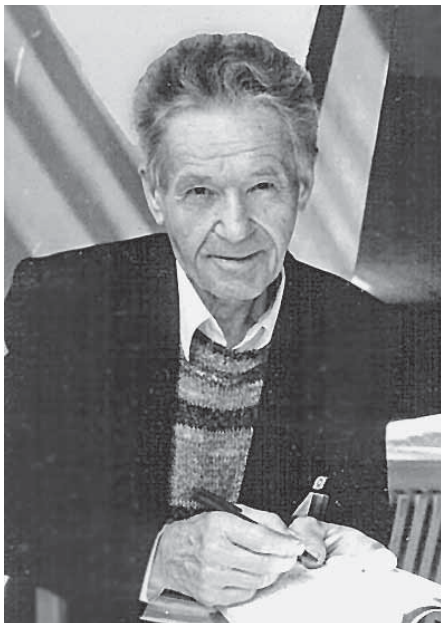
Белым-бело, мороз под сорок,
В степи не видно ни души,
Ни неба... Только белый
морок

В январской меркнувшей
тиши.

Испуг мурашками по коже,
Ополовинен каждый вдох.
И крикнуть хочется — ну, что же,
Давай, устрой переполох!
Пройдись позёмкой по дороге,
Волчицей сумрачной рыча.
Тут пригодился бы под ноги
Тулупчик заячий с плеча
Петруши... Города сугробы,
Накрой бураном города,
Не для врагов своих, а чтобы
Сказать — пришла, мол, навсегда.
Художник выставит картины,
Где из событий только снег.
Страну ажурной паутины
Понять не хочет новый век.
Её нещадно в мире судит —
Тюрьма да нищая сума!
А я скажу — смотрите, люди,
Россия — это ведь зима...

* * *

Под медленный шелест
летающего снега
Лицо запрокину. Что в звуке
и знаке?



Сергей ФРОЛОВ

ПО ЗЁРНЫШКУ

Страницы раздумий

Сергей Васильевич Фролов родился в 1936 году в селе Несмеяновка Куйбышевской (ныне Самарской) области. Окончил строительный техникум, работал по комсомольской путёвке на стройках области. Прозаик, член Союза писателей России, автор двух книг прозы.

Публиковался в альманахе «Каменный пояс», журналах «Урал», «Москва», областных сборниках прозы и поэзии. Лауреат областной премии им. С. Т. Аксакова (1991), региональной литературной премии им. П. И. Рычкова (2010) и др. Живёт в Гае.

Любовь длительностью в жизнь

Мы сидели с моим собеседником на берегу мелководной, но широкой в разливе, бурной, с перекатами по валункам речушки. Покуривали, разговаривали свои, с ленцой, разговоры.

Собеседник тоже, как и я, в годах, и имел прямо-таки удручающий, наводящий на ответную тоскливость вид. Выражение лица его было совершенно отстранено, отчуждено из нашей насущной жизни в иную непостижимую мной небытность. Да и так называемый разговор наш больше походил на тягомотину. Спрошу его о чём-либо, и ответ как за грешную душу надо тянуть. Когда же сам он заговаривал со мной, то не оборачивался ко мне. Словно мышцы шеи

не могли преодолеть заклинившую их окаменелость. Он только неотрывно смотрел на переливчатые, игривые струи речушки. И всё курил, курил беспрестанно, как, сказать, кару, епитимью на себя наложил — насквозь продымиться изнутри.

Так и сидел весь в своих мыслях и как бы об одном и том же думающий, без единого шевеления спиной. Только не рядом со мной был он. А вне всего мирского... Не со знойным, слегка освежённым речной влагой воздухом, не с непостижимым в своём беспределе небом, не с дарующим всему жизнь ярилом в своём вечном свечении, не с медлительным, раздумчивым ходом грудастых облаков был он.

А скорее — в нигде. А может, в некой постигшей его навсегда задаче жизни.

Мне уже стало не по себе близ его заколдованности.

Вдруг он обернул ко мне свой, по обыкновению, недвижимо-стылый, вне всякой жизненности взгляд. И — о чудо! В глазах его на миг блеснуло озарение, ясность. Он кинул очередной окурок в воду и вполне по-нашенски, обыходным, но с ноткой унылой безнадёжности в голосе проговорил, указав пальцем на гальку под ногами:

— Тут!.. Вот тут!.. Да будет проклято это «тут»! — и вдруг разом спохватился, резко хлопнув себя по колену. — Нет! Грех

мне! Непростительный грех за моё отчаяние! Изыдь, изыдь из меня нечистый! Было, есть и навсегда пребудет свято для меня это «тут»!

Я смотрел на него с изумлением. Всё-таки невообразимо было его воскрешение из небытия, из полусущества в человека человека.

Он помолчал, явно сознавая мою озадаченность неразгаданностью только что сказанного им. Он снова закурил, нервно затягиваясь, снова заговорил, но спокойно, вразумительно:

— Пришли мы с ней на эту вот речушку. Пусть век течёт она. Пусть всю жизнь, пусть всю жизнь переливаются в моих глазах её роковые для меня воды. Да, пришли мы сюда отдохнуть от городской колготы, позагорать. Разнагивались на том бережку, — он кивнул на противоположный берег. — Я купаюсь, она — нет. Только пальчиками своих ног трогает водичку с края. Немного погодя она говорит: «Тут тенисто. Солнца нет». По берегу и в самом деле разрослись огромные кряжистые осоки. «Перейдём на другую сторону, — предложила она, — там безлесно. Только ты перенеси меня. Я не могу сама, боюсь, у меня голова закружится — уж так в глазах рябит от быстрой воды. Вон она как камни ворочает. Гляди, и меня подхватит».

Поднял я её, несу. А она

в страхе охающе вздыхает и, толи от моих рук щекотно ей, смеётся. И меж боязливými, до самого сердчишка, вздохами в своём игривом смехе тянется губёнками к моим.

Я ничего такого чудно-сладоного, ничего умопомрачительней её поцелуев в жизни не знал. И не знаю посейчас.

А она, как бы в страхе от бурной воды под нами, всё тесней льнёт ко мне. А может, лишь затем, кто их, женщин, знает, чтобы явственней почувствовалась мной нега её тела, упругость её маленьких, под ситчиком бюстгальтера, грудей. А мою же плоть как застолбило от ног до темечка мужским возбуждением. Таким, что опасался: не дойду со своей сокрушительницей до берега, упаду. Нет, дошёл. Поставил её вот тут, — он снова указал на гальку под собой. — Я и сейчас готов целовать все места, где ступила её нога...

Он снова помолчал, глубоко затягиваясь сигаретой, не ощущая пальцами жжения уже у самого края тлеющего мундштука. И тут скорее не сказал, а выдал вздохом своё, может быть, самое сокровенное:

— Веришь — нет?! В тот самый счастливый мой день она отдалась мне. Я ведь, можно сказать, ум потерял от нашей обоюдности. А её тело, её тело! Её страсть!.. Да и как всё произошло! Только представь — как! Под солнцем, посередь

всего света, на миру!..

Когда нужно было вернуться на тот берег, к своей одежде, я, чтобы продлить ощущение нашей близости, нежности её тела, сам, без её просьбы подхватил её на руки и понёс через речушку. Век бы ей течь и течь. Лишь одного желал я тогда: только бы стать ей пошире. Я же и молил вышние силы, чтобы они раздвинули берега её в бескрайность. И было отчего молить: она на ходу ещё теснее жалась ко мне, как бы хотела стать, я это чувствовал, единой со мной. И всё плакала, плакала, покрывала и покрывала поцелуями мои грудь, плечи, лицо. Мне и сейчас всё кажется, кажется, всё мнится: я не опустил её в тот раз с рук на берег у нашей одежды, а всё несу и несу её в себе... Её пожизненную для меня женскую сокровенность...

Спор сердца с разумом

Сердце — разуму: «Вспомни, когда мы с тобой были лишь в зачатии, во чреве нашей носительницы, говоря библейски, великия женщины, прародительницы всея человеческой сущности, я, тогда ещё едва теплящееся, посылало тебе, тоже едва теплящемуся, хоть и крохи, но всё-таки истоки жизни.

Когда же нас с тобой всемогущая природа по своему непisanому закону произвела на

свет, ты всем своим новоявленным существом правдался мной — сердцем, чистым, обнажённым до ранимости, открытым радостям и бедам бытия.

Ты, разум, был тогда несмышлён, бездейственен. Это по моему знаку ты тянулся к теплу матери, к питательному соку её. Но по мере того как ты вырослел и совершенствовались твои мозговые извилины, ты умнел, изощрялся в своих помыслах, более всего, скажу горькую правду, в пагубных, даже злодеянных. Ты подталкивал, соблазнял человеческую плоть уходить от трудов праведных, прожигать жизнь в безделье, праздности, в разгульных пирушках. Совращать, если мужчина — женщин, наставляя рога мужьям. Если женщина, обычно лёгкого поведения, соблазнять мужчин. Оставлять детей несчастными, сирыми. Обманутыми, хотя с рождения принявшими жизнь радостной, с добротой и лаской родителей.

Да, ты много достиг в науке. Но... — не на погибель ли человечества? Взять хотя бы, в первую очередь, открытую тобой во многом значимую, по первоначально полезную для землян, но и губительную энергию атома. Вспомни Чернобыль... Не твоя ли вина за безвременно ушедших в небытие (да и до сего дня продолжающих уходить) человеческих судеб. А отравленная среда, почва,

способная родить несъедобные плоды?! Сияясь покорить космос, не стремишься ли ты нарушить гармонию Вселенной?»

Разум — сердцу: «Увлёкшись нравоучением меня, разума, по-твоему, аморального создания, ты, сердце, не обмолвилось. Нет! Ты сказало правду о себе, когда пребывало во младенчестве. О том, что ты, сердце, было в ту пору «чистым», «открытым». А каким стало теперь, в сие, в настоящее время?! Вспомни и ты свои неукротимые, как стихия, неподвластные мне, разуму, бурные эмоции. Твои тёмные, непредсказуемые, не поддающиеся вразумлению, вне всякой логичности страсти любви одного пола к другому. Хорошо, когда эти страсти благодатны, в усладу, вызывающие восторг, ликование, вздымают очастливленное создание крыльями радости в поднебесье.

Ну а если любовь безответна, глубоко несчастна, от которой одни лишь страдания. А порой — что иногда случается — и трагична, доводящая её носителя до петли. Хотя я, в худом свете выставленный тобой разум, и противлюсь всячески, понапрасну зову тебя, сердце, к благоразумию. Да-да, до петли! И, бывает, для верности исхода, намыленной. И равно как до петли доводит, так и до дула пистолета к виску, со сбивчиво, аритмично — в страхе! — пульсирующей кровеносной жилкой

по нему... Ну что ты теперь, после моих верных слов, скажешь в оправдание?»

Сердце промолчало. Лишь подобно своему плотскому творению — человеку — скорбно, безутешно поджало губы.

Да не всё по горю плакать...

Однажды летом, мы, братья, в один из приездов к родителям сидели в престольный праздник во дворе нашего дома в тени летней кухни в приятном родственном застолье. Вдруг слышим, идёт по улице наша, по отцу, тётка Клавдя и поёт:

*Зачем мне жениться,
Зачем мне жена?
Идёт под Аршавой
Сильная война.*

Голос приближался. Мы уже догадывались — тётка идёт к нам.

*Убьют на чужбине,
Заплачет жена.
А дети-сироты —
По миру пойдут...*

Пение было уже вблизи нашего подворья, так явственно звучал ладный, по степному раздольный тёткин голос. Песня прервалась звяком щеколды нашей калитки. В её распахе объявилась сама тётка Клавдя — цыганисто-смуглая, распокрытая, с гладко зачёсанными

чёрными волосами, в просторной кофте и в юбке с передником, с загорелыми, обнажёнными до локтей полноватыми руками. Она, видно, только что оставила своё домашнее праздничное застолье — так по-хорошему она была навеселе и так благостно гляделась всем своим видом. Солнце поверх крыши кухни, поверх забора двора ослепляло её, но она, не заслоняясь от него, а лишь щурясь наперекор яркому свету своими карими глазами, слепо и отважно пошла на нас, заведя левую руку назад, а правой взмахнув как бы в поднебесье. На ходу пропела во весь свой красивый высокий голос:

*Да не всё по горю плакать,
Да не всё по нём тужить.
Дайте времечко маленечко
Весёленькой побыть.*

И всё также ослеплённая солнцем, рассмеялась — звонко, со всей душевной щедротой.

Прошло уже много лет. Я знал тётку Клавдю во всей её жизни. Как говорят, знал всякую. А вот навсегда, неизгладимо запомнил только такую — всю ярко освещённую, вприщур, но отважно, с запрокинутой простоволосой головой шествующую на нас через жаркий воздух двора и как бы бесстрашно замахнувшуюся на все беды воздетой вверх полной крестьянской рукой.

Да не всё по горю...

«Да не всё по нём тужить...»
Нет, никак неподвластны эти слова забвению во мне. И я помню, помню (хоть что тебе!) ту во всём великолепии звучащую, облегчающую бремя жизни частушку.

Такова уж сила искусства!

Правду, истинную правду сказал замечательный артист Михаил Ульянов: «Смысл жизни человека есть труд и песня».

А уж мои сельчане, с ними и тётка Клавдя, особенно в военное и послевоенное время трудов познали с лихвой. Да ещё с какой лихвой...

Графомания

В свои ещё довольно-таки молодые годы мне, по своему увлечению бумагомаранием, пришлось посещать занятия в литгруппе при газете промышленного города на Южном Урале, где я тогда работал на его стройках.

Руководителем литгруппы был Григорий Настич — сотрудник газеты «Гвардеец труда» — годами намного старше нас, с молоком на губах начинающих авторов опусов в стихах и прозе. Мы относились к нему с почтением. Ведь он был участником закладки нашего оборонной значимости металлургического города ещё в войну, в голой степи, на ровном месте — прямо сказать, с нуля. И поэтому имел непостижимый для нас

жизненный опыт. К тому же его статьи как сотрудника газеты печатались на её страницах. Наши же беспомощные вирши и рассказы препровождались редактором в корзину.

На одном из занятий Настич, завершив разбор наших «творений», некоторое время как-то очень знаково помолчал и вдруг с решимостью изрёк, оглядев нас, притихших, поверх очков:

— Сейчас прочту вам свою повесть. Послушайте!

Как не послушать нашего наставника?! Мы даже обомлели от одного лишь непостижимого для нас произнесённого Настичем литературного жанра «повесть».

Чтение было долгим. Лично меня повесть не только не заинтересовала, а даже утомила нудностью, тяготностью самого повествования.

Закончив чтение, автор, оторвавшись от рукописи, опять оглядел нас поверх очков.

— Ну?.. Что скажете? — требовательно, с повелительной интонацией спросил он.

Мы некоторое время не могли промолвить слова.

Кстати сказать, уже позднее мне, несколько поднаторевшему в чтении произведений некоторых писателей, довелось усвоить убедительное высказывание одного литературного критика: молчание в оценке повести ли, романа ли есть самая

выразительная негативная критика.

Наконец некоторые из нас начали высказывать свои сбивчивые, подхалимски захлебистые восторги о повести Настича. Всех как понесло: хвала одного сменялась хвалою другого. Образовался хор славословцев.

В итоге автор, поморщившись и нетерпеливо махнув рукой, разом прекратил льстивые излияния в свой адрес.

— Я посылал повесть Шолохову. Никто из вас не сказал так, как сказал он, — упрекнул своих хвалителей Настич и опять выжидательно помолчал, всё также оглядывая своих недавних ценителей из-под очков.

Мы вовсе онемели: Шолохов?! Сам Шолохов?! У меня и, я думаю, у каждого из нас как всполохом озарило мозговые извилины: Шолохов! «Лазоревая степь»! Эпопея «Тихий Дон»! «Поднятая целина»!

— Если не верите, могу показать его отзыв о моём труде.

Мы все суетливой шумной ватагой вывалились из редакции вслед за Настичем. Ещё бы! Ведь сам Шолохов своей рукой написал! Из знаменитой Вешенской!

Зашли в квартиру. Настич провёл нас в свой кабинет, разом включив абажур под потолком и настольную лампу. Как же! Ведь письмо гениального писателя будем читать —

не при свете же, упаси Бог, какой-нибудь мангалки!

Виновник всего действия достал с книжной полки, бережно держа в руках, по всему, значимую для него папку. Раскрыв её, он кивнул на первый же лист в ней, как всегда, по-своему оглядев нас из-под очков, предваряя торжественную минуту.

Лично мой взгляд разом охватил целиком весь текст, до удивления краткий, всего в несколько строк. Весь его смысл выразился в очень категоричных, вразумительных и ёмких словах, запомнившихся мне навсегда:

«Тов. Настич, заниматься вам, как вы выражаетесь, писаниной не стоит. Так писать, лучше не писать. Это зло и вред для литературы».

М. Шолохов

Без всяких сомнений, текст был шолоховский. Это подтверждалось и автографом Шолохова, каким он воспроизводится и на книжных обложках «Тихого Дона», «Поднятой целины», и под письмом к Настичу. Начальная буква имени Шолохова и фамилия написаны слитно.

Чуть ниже шолоховского текста Настич категорично возразил гению, не посчитав кощунством измарать лист бумаги, подержанный знаменитой

рукой мастера: «А я писал и буду писать!» И то ли в издёвку, то ли в подражание Шолохову подписался его образом: «ГНастич».

В то время, по молодости, мне не хватило соображения определить в графоманской сути писаний Настича. Это уже с годами, с приобретением мало-мальски литературного опыта, убедился раз и навсегда: графомания вообще в искусстве была, есть и будет. Как есть и будет Свет и — тень от него. Как Добро и — в противу ему, зло. Как Верность и — измена, предательство. Как насущная Правда — и презренная ложь.

Не так ли?

Поколение голодранцев

Моего деда в коллективизацию могли раскулачить и сослать в неведомые края, потому что имел он в хозяйстве, кроме коровы, пару быков и лошадь. Лишь за это, трудом нажитое, сельские активисты зачислили его в «кулаки».

Но перед свершением акта самосуда дед, по чьей-то разумной подсказке, поставил тогдашним голодранцам-комбедовцам, любителям лакать на дармовщину, четверть водки. Тогда голодранцы, вершители человеческих судеб, своей «высокой» волей вычеркнули деда из списка приговорённых.

Но на всю жизнь он остался замкнутым, со своим невысказанным. Ни разу я не слышал от него слова осуждения властей, какие бы глупости они ни творили. В колхозе исполнял, как и все, любую рядовую работу. Но мета «жилы» в нём осталась. Ни для кого не могло быть незамеченным, как он с особым старанием, вполголо-са напевая что-то успокоительное, обихаживает своё подворье. Уже как бы мозолила сельским властям глаза наша справная усадьба.

А дед, как нарочно, делал всё по-своему. Долго торчит, к примеру, оставленное в распутицу колесо от колхозной телеги. Он выковырнет несчастное из окаменелой грязи, тащит домой. Насобирает остальных частей, соорудит рыдванчик под годовалого бычка от нашей коровы и возит потихоньку накошенное по неудобьям сено. Опять на него заглазные упрёки сельсоветского да колхозного председателей: «Неймётся человеку. Что-нибудь да придумает». — «Это он другим пример подаёт не в колхоз, а себе так возить». — «Какой вредный».

После войны трудовень в колхозе был совсем пустым. Чтобы прокормиться, сельчане засевали, каждый против своей усадьбы, тянувшиеся до выгона огородные полосы пшеницей. Незадолго до

смерти дед, страдавший из-за подступившей болезни бессонницей, ночами напролёт копал под зиму свою полоску. Я сам слышал, как предколхоза Жданов и завхоз Симочкин переговаривались возле правления, оглядывая утром дедову пашню: «Вот жила! И ночь не спит — всё хапает!» — «Готов удушиться в работе».

А у самих у них, обоих, руки отродясь не знали никакого труда.

Так Жданов в молодости, по рассказам, любил посмеяться на людях над собой и своей женой, Машкой Слюнтяихой, да над своей жизнью: «А я на Машке, что ли, женился? Я на корове её женился. Сам Слюнтяй мне говорит: «Посвятаешься за мою дочь — корову не пожалею в придачу». Только не впрок пошла его корова. Через год околела. От бескормицы. А когда мне корм ей заготавливать, косою махать? Я к обществу приставлен. Власть в руках держать, а не вилы с косою».

А Симочкин?! — по должности завхоз, заведующий полевого, зернового, подсобно-инвентарного хозяйства села, у которого всё подворье и огород после смерти жены заросли в человеческий рост чертополохом. Пустые, без какой-либо животины, сарай и катухи тоскливо скрипят на ветру перекошенными, на одной петле, воротами.

А деда они, в его неуёмных трудах, называли жилой.

Но дело теперь уже не в деде. Жизнь всё равно воздаст ему свою правоту за терпеливые труды. Дело во мне. Мне, по малолетству ещё глупому, Жданов и Симочкин казались людьми особыми, стоящими высоко над такими, как мой отсталый дед. И несли в себе непостижимый для моего разума смысл. От них, казалось, шёл свет бескорыстия и даже самопожертвования. Так, Симочкин был совсем равнодушен к своей персоне и ходил в послевоенной шинели без пуговиц и в ботинках без шнурков.

Слушая тот давний, у колхозного правления, утренний разговор Жданова с Симочкиным, я чувствовал неловкость за деда и, наливаясь неприязнью к нему, тоже вторил им не вслух: «жила».

И изо всех сил подражал их детям, моим сверстникам, таким же, как и отцы, голодранцам. Это были беззаботные расстегоши и грязнули, даже представления не имевшие, что надо мыть ноги перед тем, как лечь в постель. Чтобы походить на них, я тайком обрывал пуговицы на рубашке, рвал и лохматил штанины, залезал босыми ногами в грязь — ходил как в чулках.

Дед, наставляя меня, говорил

о пользе человеческого труда, а я мало вникал в его науку. «Гляди, унучек, — показывал он мне пшеничное зёрнышко, вроде бы не замечая моей неохоты слушать, — мы с тобой кинем в пашню вот это зёрнышко. Из него вырастет колос. Будет в нём пятнадцать-двадцать зёрен. Колос к колосу — амбар хлеба. Мы с тобой зиму сыты».

Он всегда старался держать меня подле себя, чтобы я осмысливал суть его занятий и по моим силам в чём-то помогал ему.

Но мне было зазорно с ним работать. Вдруг увидят нас в этот момент дружки-голодранцы — засмеют. Поэтому, как только дед куда-либо отлучался, — убегал. Представляю его огорчение моим непослушанием.

Обидней всего, что он никогда не узнает моего позднего покаяния.

Теперь нетрудно представить: во всех весях нашей земли было тогда не счесть сколько ждановых и симочкиных. Целые поколения голодранцев возвращены ими, по их подобию, на наш вселенский позор.

Судьбой, что ли, дадено тебе, Матушка-Россия, нести на себе, на своей хребтине то дармоедов-голодранцев, то и поныне грабящих тебя олигархов.

Переключка с Лермонтовым

Моё родное село Несмеяновка издавна было певческим. Вплоть до пятидесятых годов, пока в нашу степную глухомань не провели радио, кстати сказать, губительное для самобытных, вековых традиций русской глубинки.

Так вот, о певчестве наших сельчан.

Из-за того, что сельский клуб в военные и послевоенные годы был занят хранившимся в нём колхозным зерном, наши девчата «табунились», по шутивому нареканию старших, где-нибудь на лужайке или возле чьей-либо избы. И чаще всего распевали частушки, соблюдая очередность, одна за другой, каждая о своём, что у неё на сердце — разудалая ли весёлость или печаль-разлучина.

Под эти же частушки, которые у нас называли по старинке припевками, приплясывали под их лад. Больше приплясывать девчатам было не под чего: их женихи — гармонисты, балалаечники, гитаристы — сложили головы не только за нас в тылу, за своих невест, за малую и большую родину, но и за «разных прочих» неверных венгров да каких-то там поляков.

Пели-распевали несостоявшиеся невесты, обречённые на участь девок-перестарок, и посреди, и на концах улицы, и

на другой стороне извилистого протяжённого пруда.

Пели, раззадорясь, особенно в годовые религиозные праздники, в угонку одна стайка перед другой, кто кого перепойт, завлекая остальных, вернувшихся с фронтов парней, оглашая унылое, опустелое после войны село, полня его хоть малой жизнью.

Я же, тогда всего лишь подросток, притаившись где-нибудь в укромном месте, слушал их, очаровываясь непостижимой душевностью и нежностью девичьих голосов. Не зря же говорят: какая душа — такая и песня.

В свои малолетние годы я ещё не мог вникнуть в жизненный, поистине народно-эпический смысл девичьих напевов.

По окончании наших сельских начальных классов родители определили меня, чтобы выучился, стал, по их выражению, «учёным» и не чертоломил за напрасные палочки в колхозе, в Алексеевскую среднюю школу. В свободное от занятий время, уже в старших классах, я стал посещать читальный зал районной библиотеки, где, чтобы восполнить беглость, краткость обучения преподаваемой нам литературы, засиживался за томами русских классиков. Особенно влекли меня стихи Лермонтова — их раздумчивость, берущие за душу грусть и печаль в одном лишь их звучании.

Однажды уже порядком повзрослевшим, несколько поднаторевшим в познаниях литературы, я, в очередной приезд в наше село, преднамеренно-неспешно, да ещё и по несколько раз прохаживался по улице из одного её конца в другой. И вроде как бы по делу... Хотя всегда старался пройти мимо стайки распевающих свои страдания девчат. И оказалось, не зря прохаживался: в некий счастливый для меня момент чей-то грустно жалующийся голос в стайке пропел частушку, навсегда оставшуюся в моей памяти:

*Выхожу и начинаю
Первую, начальную.
Не могу развеселить
Головушку печальную.*

Тут меня некая неведомая сила будто вознесла. Будто окрылив: да это же моя сельчанка отсюда, из бедной, затерянной в немеряных степях деревушки, из самой жизненной сути, из глубины народной перекликнулась вроде бы по-девичьи обиходной припевкой с Лермонтовым!

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? Жалею ли о чём?

И в какую временную даль — в глубь века — послала она свой жалостный напев!

Вот тогда меня и озарило: моя несмеяновская певунья и поручик Лермонтов, несмотря

на разъединяющую их вековую даль, так близки друг другу, будто на протяжении вытянутой руки, и так едины в своих сокровенных горестных чувствах, выговоренных ими — сельчанкой в частушке, Лермонтовым в стихе.

Учась в Алексеевской средней школе, я постоянно тосковал по своему селу и её людям. Для меня так томительно тянулись дни недели до заветного воскресенья, когда мог хоть на попутной подводе, хоть пешком за пятнадцать вёрст дойти до родного дома.

Случалось возвращаться и глубокой ночью. И я под тряску телеги, под топот едва рысившей заморенной колхозной лошадёнки с нетерпением вглядывался в непроглядную ночь. Так хотелось увидеть «дрожащие огни» своего сельца. И они, наконец, открывались. Не отрывая глаз от их слабого мерцания в окнах подворий (какой уж там свет от семи- или десятилинейных домашних ламп!), я всё повторял и повторял, конечно, про себя, чтобы не выказывать своего голоса вознице, лермонтовские строки:

Проселочным путем люблю скакать в телеге

И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень.

Что же, что ж?.. Неужели?.. Да ведь это невероятно! Невозможно! Но всё же через невероятность, через невозможность, всё же и моё село Несмеяновка, по моей своевольной прихоти, перекликнулось своими огнями с лермонтовскими «дрожащими огнями печальных деревень», встречавшихся ему в его немереных ссыльных дорогах.

А проникновенные строки:

*С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно...*

«С отрадой, многим незнакомой...» Да, незнакомой многим. И только Лермонтову, его истинно русской душе отрадны наши селенья с крытыми соломой избами, которой покрыты были многие в послевоенное время избы моей Несмеяновки.

Беру на себя смелость утверждать: никто ни до Лермонтова, ни после него не создал такого проникнутого народным духом стихотворения-шедевра «Родина».

А ведь кем сотворено-создано?! Рафинированный барин? Гусарская косточка? Завсегдатай, по приезде с Кавказа, великосветских балов? Это и есть он?

Нет, истинность его — в глубине заветной души поэта.

И ещё, и ещё — в насущной взаимной перекличке моей сельчанки-припевочницы с поручиком Лермонтовым.



Диана КАН

НОВАЯ МАРСЕЛЬЕЗА

Диана Елисеевна Кан родилась в городе-гарнизоне Термезе в Узбекистане, в семье кадрового офицера, этнического корейца и потомственной яицкой казачки. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Высшие литературные курсы. Член Союза писателей России, руководитель областного литобъединения им. С. Т. Аксакова. Дважды лауреат ежегодной премии журнала «Наши современник», лауреат всероссийских литературных премий «Традиция», «Имперская культура», Самарской губернской премии в области литературы, Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» (2012), региональной премии им. П. И. Рычкова (2016), литературной премии им. М. Цветаевой (2016), литературной премии «Волжская пристань им. Н.Н.Благова и др. Живёт в Оренбурге.

**«Чудище обло, озорно,
огромно, стозевно
и лаяй...»**

Василий Тредиаковский

Распилы-откаты.

Откаты-распилы.

И это, ребята, не лесоповал.
Чиновная шобла почуяла силу
И нас превратила в доходный
товар.

А, впрочем, стозевное чудище
обло,
О коем ещё Тредьяковский
писал,
Себя почитает нисколько не
шоблой,
А солью земли и началом
начал.

От веку всегда при чинах и
в законе.
Её не касается смутная хмарь.
Стальной ли генсек восседает
на троне,
Сусально-елейный
помазанник-царь.

Усмехнётся всяк встречный ручей,
Под твоей горностаевой
мантией
Всё ж дождавшийся вешних
лучей.

* * *

Левый берег правой Волги?
Просто кругом голова...
Что гадать и думать долго?
Волга царственно права!

Хоть сто раз вспыли от гнева —
Вариантов прочих нет:
Право царское на «лево» —
Завсегда приоритет.

То не Волга ледовитым
Встречным взором полоснёт,
Не она глядит сердито —
Церемониальный лёд.

По весне освободится
И сбежит ко мне опять
От морозов, что царицей
Возмнили управлять.

Назовут побег аферой,
Разобидятся до слёз
Вьюга — склочная юнгфера
И кавалергард-мороз.

А метели-камеристки
И шталмейстер-ураган
Зашипят: «Вот аферистка
Эта поэтесса Кан!..»

Ох, собьёт с пути царицу!
Ох, налево уведёт
Колобродить да искриться,
Да кормить простой народ...»

...Расхохочемся над свитой
Неприкаянной на вид,

Что сосульками сердито
От бессилия звенит.

И друг в друга вновь поверим.
И строка взлетит в зенит...
Правой Волги левый берег
Той строкою знаменит.

* * *

Не надо цитат из Рубцова,
Ведь наши невольные слёзы
Чужие осудят сурово...
Не надо, покуда не поздно!

Не нужно цитировать Блока!
Что Блок нам? Ну гений и
гений!

Звучат беспощадно жестоко
Цитаты великих творений.

Что? Пушкин? Прошу вас,
уйдите!

Неймётся сегодня вам что-то...
Небесный классический
ВИТЯЗЬ

Немыслим в кругу идиотов.

И про Достоевского тоже
Не будем... К чему эта попытка?
Ведь нам современных
ничтожеств
Сегодня хватает с избытком.

Пусть Тюткин и Мутькин
читают

Поэмы свои и баллады...
И пусть вездесуще порхают
Цитаты бездарной баланды.

О классике, братцы, не надо!...
Пусть в сердце живут
сокровенно

Мотивы небесного склада,
Сжигая озябшие вены.

Край мой мятежный.
Край мой крамольный...
Ветер-ведьмак пугачёвщиной
дышит.

Край мой далёкий
от Первопрестольной.
Горем завейся — Москва не
услышит.

Горем завейся, ветром укройся,
Песней утешься, а я буду рядом...
Ойся ты, ойся! Столицы
не бойся,
Край мой крамольный, оно
тебе надо?

Царь ли царевич? Король
королевич?
В баньке уважь их да в печь
на лопату.
Кроток в молитве и страшен
ты в гневе,
Край мой, кровавым рассветом
объятый.

Что приуныл, опечаленный
в стельку?
Что пригорюнился, счастья
не чая?
Где ж он твой царь
самозванный Емелька?
Чай, ты случаём по нём
не скучаешь?

Тёплым платком оренбургским
закутай
Зябкую степь, что от ветра
продрогла...
Вспомни свою залихватскую
удаль
И выходи на большую дорогу.

Соратник, друг, товарищ, враг
Парадоксально рады встрече.
Наш поэтический сходняк —
Содружество противоречий.

Хоть назовут потомки «съезд»
Товарищей заклётых стаю,
Здесь никого никто не съест:
Поэт поэта понимает.

Грустим, хохочем, пьём вино,
Витийствуем, исходим желчью...
Мы все равны. Нам всё равно —
Хотим утешиться, да нечем!

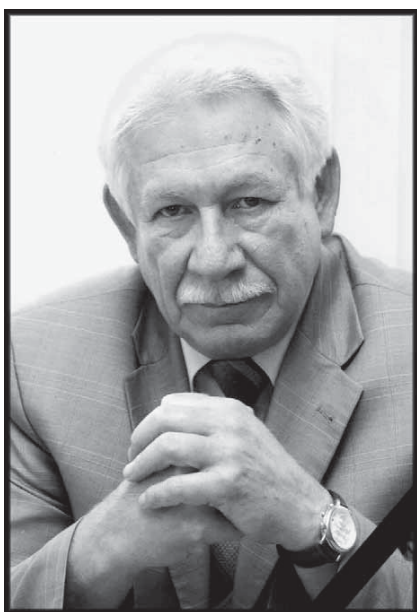
Не каждый тут друг другу мил,
Но держим небо, как атланты:
Посильно каждый — в меру сил
И в силу своего таланта.

И в том, кто сердцем изнемог,
И в том, кто пребывает в вере,
Одновременно, видит Бог,
Живут и Моцарт, и Сальери.

РАЗГОВОР С ПСИХИАТРОМ О РАЕ

*«... и смотрят последние астры
в саду
На то, как топиться хожу я
к пруду...»*

Хотела утопиться в тихом
омуте
Без лишних элегических
затей...
Но психиатр сказал с улыбкой:
«Полноте!
Да пожалейте ж бедненьких
чертей!



Виктор РЕНЁВ
(1948–2018)

СТЕПАНЫЧ

Рассказ

Виктор Васильевич Ренёв с 1998 по 2013 год являлся начальником управления культуры, первым министром культуры Оренбургской области. Он дважды становился лауреатом премии «Оренбургская лира». Его хорошо знала и любила культурная и литературная общественность Оренбуржья. Незадолго до своего ухода из жизни он выпустил первую и единственную книгу «Счастливое утро», рассказ из которой мы сегодня публикуем.

*Отцу моему, Василию Степановичу, посвящаю.
Все совпадения случайны*

Судьба этого человека похожа на тысячи судеб людей, родившихся в начале XX века, — судеб изломанных, но не сломленных из-за их очень Русского характера, не потерявших жизненную силу, отточивших на невзгодах ум, колоссальную энергию выживания, а главное — Веру, Надежду и Любовь!

Был он среднего роста, как говорится, ладно скроен и крепко сбит. Не блистал по-современному вылепленной в «качалках» мускулатурой, но силой обладал огромной и выносливостью необыкновенной, как тогда говорили, тягучестью. Видимо, все от того же — тяглом называли рабочих лошадей и быков. Действительно, работать

он мог — лошадь запарится, веяло от него спокойствием и уверенностью. Может, это казалось только мне, но и поселковые уважительно величали его — Степаныч.

Коммуналка

Заслужить уважение в посёлке было не просто, недаром он назывался Коммунальным, то есть был похож на коммунальную квартиру, стихийно возникшую на захламленном «Великой стройкой» пустыре, в дикой путанице улиц, часто неизвестно как возникающих и так же бесследно исчезающих, заканчивающихся глухими тупиками. Дома, домишки, землянки, временки — полный набор «призаводской» архитектуры периода «индустриализации всей страны». Можно было безуспешно искать адрес жилья, стоя на его крыше, — так могла заканчиваться одна улица и начинаться другая, но уже внизу.

В целях экономии и сохранения тепла каждый последующий поселенец пристраивал три стены, а крышу делал вровень с соседом. Стены возводились из краденого на стройках «горбыля» с засыпкой металлургическим шлаком, коего вокруг высились горы, крыша засыпалась тем же шлаком или обкладывалась дёрном. Летом на крышах густо рос бурьян и нагло паслись козы.

И кто только не находил себе пристанища в лабиринтах «Коммуналки». Завербованные, или на местном диалекте загербованные, специалисты, приехавшие по спецнабору и отбившиеся от стаи на льготное получение жилья. Позднее подъехали «гулаговцы», кому был запрет на проживание в крупных городах, досрочно освобождённые и уголовники, ссыльные, пьяницы и бродяги, ворьё самого разного калибра. Огромное количество инвалидов и калек, одни — опустившиеся до дна бывшие фронтовики, других наплодил завод. Как говорил Степаныч: «Битые, грабленные, еб...е и давленные».

Воровские фамилии были известны каждому, как имена вождей. Часто знакомство начиналось с поминания, как по Святцам, кликух авторитетов:

— Ты Весёлого с Карадырки знаешь?

— А ты Аркашу со Спецпосёлка?

И чей авторитет или вес знакомого бандита оказывался выше, тот и задавал тон в разговоре. Сроки в те времена давали большие, и часто старший из братьев, получая крупный срок, не видел позже родившегося брата, который успевал вырасти и, согласно семейной традиции, крупно сесть. Так и проживали на параллельных курсах по графику — кто на воле, кто на зоне и обратно.

Принцип капитана Жеглова «вор должен сидеть в тюрьме» действовал безотказно.

Не часто, но случались к революционным праздникам амнистии. Кончались и большие сроки. Братва выходила на волю. Появлялся (откидывался) авторитетный «отсидчик» эффектно — на редком тогда такси, шумно, разодетый в новьё, с шампанским и возгласами типа «Воля в натуре, братва! Воля!», взбаламутив всю шпану посёлка и наведя страх на забитых нуждой обывателей. Если срок наступал зимой, то непременно в новой телогрейке — клифте, белом кашне, хромовых сапогах — прохарях — и дорогушем синего цвета бостоновом костюме. На голове неизвестным способом держалась бостоновая же фуражка — восьмиклинка. С понтов, непременно в правой ладони — аккуратно сложенный белый шёлковый платочек — марочка, поминутно прикладываемый к губам. Вышагивал «отпускник» именинником в сопровождении корешей-дружков из равных себе по статусу, т. е. чаливших на зоне по-крупному, и «шестёрок», всегда готовых услужить, кинуться с папироской, зажжённой спичкой.

Шагал авторитет, небрежно запахнув клифт и придерживая полы левой рукой, вздернув плечи и выбрасывая ноги по-балетному, носками в стороны.

«Балетная» походка вырабатывалась на зоне от постоянного сидения на корточках. В камере (на строгом) кровати и стулья днём пристегивают к стене, а на этапе каждая стоянка — команда «сесть», чтобы конвой видел всех. От многолетнего сидения на корточках ноги у «сидельцев» гонкие и вихлястые, и по разводу носков в стороны можно примерно определить, какой срок «отбалерунил» авторитет. Поминутно фасонисто прикладывая платочек к губам не из необходимости, а прикрывая напрочь выбитые зубы или «цинготные» гнилушки, но непременно с золотой фиксой-коронкой, блатной отдыхал на воле.

Пьяные кутежи длились и неделю, и больше, часто переходя в дикую поножовщину, в основном на почве старых обид, крупных карточных проигрышей, отвечали за «базар» или при выяснении, как теперь говорят, кто круче. Это происходило шумно, с понтами и пьяным куражом.

Все до тонкости подметил Василий Шукшин в фильме «Калина красная» — и про «воровские малины», и бегство под милицейские свистки («ноги мои, ноги»). Слова рецидивиста Егора Прокудина: «Ну а если совсем кранты, то вот этими руками ларек-то я смогу подломить!» Все верно.

Деньги «отпускника» кончались, и наступало это самое

«кранты». Трещали, как орехи, ларьки, кассы и подворья наиболее зажиточных обывателей. Но сколько верёвочке не виться... И однажды ночью милиция крупными силами накрывала весь шалман. После чего блатной под соловьиные трели милицейских свистков делал «ноги мои, ноги», если повезло, или огребал очередной срок. Суды тогда были скорые. И каждый раз — под неутешный плач разнесчастной, истерзанной горем матери и подвывания «марухи» — славно повеселившейся на добытые «неимоверным трудом» воровские денежки, прикрывавшей фингал под глазом, любовно поставленный на память «отпускником». Помахивая вслед «дролечке» замызганной, провонявшей перегаром и дешёвым одеколоном дарёной «марочкой», — провожала до «Чёрного воронка». Под песню «Не печалься, любимая! За разлуку простишь ты меня. Я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь!» — ватагой шли догуливать «проводины».

«Толчок»

Жизнь в посёлке входила в своё русло: на хазах или малинах по-прежнему резались в «Очко» и «Буру», авторитетные пили водку или коньяк, шпана — бормотуху или самогон. Привычно повизгивали, кокетливо жеманясь, «шмары-барухи».

Вечерами наиболее пронырливый и вороватый заводской люд по домам и землянкам, наглухо занавесив окна, расфасовывал по пакетикам из старых газет краденные с завода метизы: гвозди, шурупы, болты, синьку, стружечное мыло и прочую нужную в хозяйстве мелочь, словом, всё, что можно было умыкнуть на продажу с гигантского флагмана советской металлургии.

Кто-то скручивал в тугие комки цветную проволоку — шла почти по рублю за килограмм. Кто мешками жарил семечки, тоже ворованные в соседнем колхозе-совхозе на элеваторе. Кто увязывал по парам и размерам вынесенные с обувной фабрики подошвы и стельки. Из расслоенной транспортерной ленты и шинельного сукна шили тапочки. Словом, работа кипела, чтобы завтра выплеснуться на рынке, по местному — «толчке», изобилием.

Рынок (базар, «толчок», «толкучка») был главным местом, где можно было узнать все новости, достать дефицитные шмотки, продукты, иногда развлечься — поиграть в запретные игры («Наперстки», «Три карты», бросить «Кости»), выпить пивка или сто грамм «с прицепом», встретиться с друзьями или посмотреть хорошую драку, спорадически возникавшую в толчее, — отбить карманника и простого мордобоя до поножовщины.

Парились в двубортных пиджаках и шляпах сексоты (секретные сотрудники), будто невзначай бросая внимательные взгляды по сторонам. Иногда, незаметно оказавшись в одном месте, тихо, без шума, кого-то выводили. Иногда, вереща свистками, милицкий наряд прорезал толпу в погоне за убегавшим. Событий случалось много, что вызывало живейший интерес у пришедшей просто потолкаться и поглазеть базарной публики.

Огромный угол занимало «искусство». Народное «творчество и умельство» не знало границ. Пирамиды из кошечек, свиночек, собачек, рамок, рамочек, виньеток из ракушек, цветной фольги, разноцветного стекла и редкого плексиглаза, с целующимися «пушкинскими» кудрявыми головками, наговатыми амурами и голубками. «Лети с приветом, вернись с ответом!», «Твоя (твой) навек!», «Навеки ВМЕСТЕ!» и полным набором клятв и пожеланий.

Обильно представлена «живопись». На холсте и мешковине, коленкоре, на обратной стороне клеёнки или солдатском одеяле писались «ковры». Непременно с озером и лебедями, рогатыми оленями и дебелими, глубоко декольтированными молодыми дамами в кокетливых шляпках. Непременным атрибутом пейзажа был сильно смахивающий на

американского шпиона, продурного вида жгучий брюнет с тонкими усиками и сигарой во рту. Слоники, как спящие мамонты, выстраивались в бесконечные вереницы, суля достаток и благополучие. Торговля шла бойко. Народ, настрадавшийся, жаждал искусства, и он его получал. «Толчок», как отдельное государство, жил по своим вневременным законам.

Бесхозные

Война закончилась. В гоме победных маршей, звоне медалей и блеске надраенных сапог: дождавшиеся жёны, голодные вдовицы и перезревшие девчата так горячо встречали победителей, что пожаром полыхала любовь. И от этой ураганной любви ровно через девять месяцев Бог непременно давал Счастье — словно природа стремилась восполнить, залечить раны после Вселенского побоища. Вся страна перемещалась с Запада на Восток и обратно. На подводах, в кузовах попутков, в тесноте теплушек при диком многолюдстве. Где и как происходила эта любовь, неизвестно, но Счастье наступало неотвратимо. Куда девать это Счастье, чем кормить, где жить, полстраны лежало в руинах?.. Про одевать-обувать разговор бесполезный. Ладно семья, женитьба, а что делать одиночкам? Таких было большинство. Нужно было работать, кормиться,

учиться — хотелось просто жить! И Счастье, Божий дар, как чертополох, росло на улице.

Много было брошенной, или, как говорил Степаныч, «бесхозной» детворы, ютившейся по домишкам и землянкам, на мизерные пенсии и пособия престарелых бабок и дедок, поскольку родители осваивали необъятные просторы страны: возводили, строили и созидали, чаще под конвоем вооруженной охраны. Бабки и дедки чего-нибудь выращивали, мастерили или приторговывали тем, что давал «Флагман» и другие заводы-заводики, что плохо охранялось или не на месте лежало.

Детвора сложно училась в школе, но рано начинала курить, не по-детски материться, жестоко драться, приворовывать и пить бормотуху. «Коммуналка» жила «по понятиям», густо приправленным витиеватым-блудливым воровским жаргоном — «феней», «благородным» романтизмом уголовной этики и тягуче-гундосым песенным фольклором «О воле», «Мать-старушка», «О дочери прокурора, которую полюбил Жиган» и «Благородных урках», не упускавших возможности всадить коллеге нож в спину.

Вся эта слезливо-сопливая, двулика и в то же время страшная в своей жестокости уголовная романтика была,

как смола, прилипчива и, как трясина, затягивала пацанов и девчонок, походя, наотмашь, калеча судьбы или убивая насмерть. Слабые или оставшиеся без поддержки выживали трудно: шли в холуи-«шестёрки» и терпели унижения от пахана и близкого окружения. Другие сбивались в собственные стаи и бились с такими же обездоленными за место под солнцем. Первый срок мотали на малолетке. Гордые — сгорали молча.

Вечерки

Дом и двор Степаныча, его многочисленное семейство с очень доброй Тётьтоней, крепкими дружными пацанами и девчонками были центром притяжения. Не хватало человеческого тепла, доброго слова, понимания, и тянулись пацаны на огонек в дом Степаныча, где в компании и тепле можно было послушать рассказы, байки или «переживательную» историю по радио — «Театр у микрофона».

Старшие сёстры, обладательницы хорошей дикции, вечерами читали вслух Майн Рида, Жюль Верна, «Аэлиту» Беляева, замирающим от ужаса пацанам — «Вий» Гоголя или «Принц и нищий» М. Твена. Здесь можно было заодно перехватить печёной на плите картошечки или получить Тётьтонину плюшку.

Вечерки — так с легкой руки Тётьтони назывались наши вечерние сборища. Пойти-то особенно в посёлке, да ещё зимой некуда. Вот и разбредались по дворам: к кому «на семечки», т. е. грызли семена до оскомины, до стёртого языка. «На музон» к разбитной блондинке, обладательнице бесценной радиолы «Мир» и набора трофейных пластинок. «На бочонки» — лото по копеечке, а по-серьёзному — в карты на деньги — «в малину».

К Степанычу, вернее, во время его отсутствия, собирались в основном друзья средних сыновей, да, может, кто забредал к старшим и оставался. Узнавали заранее, когда Степаныч работал в ночь, сто раз переспрашивали, перешёптывались, собирались. Разувались в сенях, стараясь не скрипеть дверью и разговаривая шёпотом, пробирались в кухню. Пальтухи, телогрейки (заранее перетрясённые на улице) стелили на пол. Специально под событие отбиралась ровная продолговатая картошка, мылась и раскладывалась на «припечке» сушиться.

Печка раскочегаривалась, плита начинала рдеть, гасился большой свет и зажигалась настольная лампа с жестяным абажуром. Картошка резалась на ровные тонкие дольки — шайбы и раскладывалась на малиновую от жара плиту, потом быстро переворачивалась,

допекалась вторая сторона и летела в сторону притихших слушателей. Огненная, она мгновенно исчезала в чьей-то ладони, находила очередника и съедалась с кожурой без остатка.

Затихали ёрзанья, шепотки и тычки, наступала тишина. Гудела и постреливала печка, выразительно, с интонациями, по ролям, лился голос сестры, разворачивая полную приключений и несчастий судьбу Белого Клыка Джека Лондона, ридовского Оцеолы.

Или артисты московского театра из кирпича репродуктора бархатными голосами разворачивали трагедии Екатерины из «Грозы», Анны Карениной.

Тётьтоня и сёстры плакали, а пацаны таращили глаза и шептали:

— А чё она сразу под поезд? Как дала бы сковородкой этому старику по башке и ушла бы к молодому!

Горячие обсуждения продолжались на улице иногда до таскания за грудки:

— Да Белый Клык загрызёт вашего Полкана!

Витёк, владелец огромного, с телёнка, Полкана (помесь трофейного сербернара и крупной беспородной суки) сразу лез в драку, но спор сам собою затихал.

— Слышь, Гиндос? А я тоже ночами летаю, как Катерина. Бабка говорит, расту.

— Ага, когда обоссешься и

летишь с мокрой ж...й! Грохнули разом и, спохватившись, замолкли.

Поздно в посёлке гасли огни. Пацаны деловито доставали из отворотов шапок, рукавов и самых немыслимых мест «жирные» бычки, закрываясь от ветра, прикуривали, по привычке пряча огонёк в ладошке, ловко сцикивали горькую слюну, вяло переговариваясь, курили «на дорожку». Втянув голову в поднятые плечи, распустив рукава и нахохлившись, серыми больными птицами разбредались по лабиринтам переулков.

Кормилец

В семье Степаныч был непререкаемым авторитетом. И не в силу тяжёлой руки или сурового характера, что тоже имело место, а потому что слово «кормилец» в семье было почитаемо. Трудились все, от мала до велика, а главное, никто не сидел в тюрьме, что придавало Степанычу у разумной части населения особый вес и авторитет.

Все ребяташки в меру сил и таланта учились (хотя хорошо учиться в поселке было не принято и над отличниками зло шутили и издевались) и рано уходили во взрослую «жизнь». Школьного образования хватало кому на техникум, а кому на «ремеслуху» или всевозможные курсы бухгалтеров,

учётчиков, диспетчеров, экспедиторов. Стране нужно было много хоть как-то обученных рабочих рук. К чести сказать, что для многих курсы, ШРМ (школа рабочей молодёжи) были началом саморазвития, образования, карьеры, пропуском в иную жизнь.

Секрет Степаныча был в том, что он о многом имел своё дельное суждение, многое умел делать сам, своими руками: плотничать, столярничать, жестянить, класть отличные печи (голландки), вести домашнее хозяйство, успешно огородничать и не трепаться, т. е. держать слово. Считал, что жить надо своим умом, своим домом, не брать в долг. Зная его силу и огромные кулаки, его уважали и шпана, и блатные, хотя для блатных он был «мужик», т. е. работал — вор не работал, потому что вор. Для остальной части населения, в большинстве своем за годы «опролетариачивания» — или «окоммуниздивания» растерявших всякие навыки и умения вести хозяйство, он был или «помешшиком» или «колдуном», потому как у Степаныча все плодилось и размножалось.

Степаныч действительно ЗНАЛ. Он вечно что-то замешивал и запаривал для поросят, кроликов, кур, гусей, уток, и они в благодарность плодились, исправно неслись и наращивали мясо на боках, на что соседское шептание

«колдун, мать твою» было привычным. Просто он владел знаниями дореволюционного крестьянина. Вечные бочки с «коровяком», присадками и подкормками помогали выращивать на тощей земле неплохой урожай овощей — помидоров, огурцов, капусты. И их солили бочками на всю долгую зиму. Картошки заготавливали много, «едовой», «на семя» и для многочисленной живности. Всё шло в дело.

Посадка, прополка и обработка картофеля выливались в большое семейное действо. Готовились припасы: отварная картошечка с пережаренным луком, непременно розовое сало с прожилками, ранняя зелень пучками, мамины беляши, шаньги или плюшки. Ремонтировался инвентарь, точились загодя лопаты, тяпки, и рано утром вся семья на грузовом «Газоне» мужа старшей сестры Егора, или по-домашнему — Жоры, выезжала на поля.

Обычным ритуалом был вопрос брата, хохмача и выдумщика:

— Это что, всё надо полоть? А может, поедим да домой? — что неизменно вызывало взрыв хохота.

Но работали споро, с шутками, подначками, дружно. Степаныч задавал тон и вообще следил за качеством работы. Не надеясь на блага природы, сам за лето несколько раз мотался на поле присмотреть,

подполоть, подкупить или поднимать всё семейство по тревоге на спасательные работы, когда после дождя бурно всходили сорняки. На зиму всегда были с картошкой, и слово «колдун, мать твою» опять гуляло по посёлку. Степаныч, раздражаясь, показывал огромные, с копытными мозолями руки — «вот оно колдовство, полюбуйте», и, махнув рукой, уходил, продолжая разговаривать сам с собой.

Скорее всего, его знания были от вечной нужды, непраздного любопытства к жизни, которую он так любил, природной наблюдательности, огромной ответственности за свою семью и немыслимого трудолюбия. Нехватка знаний с лихвой восполнялась стремлением достичь нужного результата, и тогда не имели значения ни время, ни труды. В ход шли детские воспоминания — «а вот старики говорили!». До дыр зачитывались заметки из журналов и газет, рассуждения на тему и, конечно, разговоры «сам с собой». Интересно было наблюдать, как он ходил по двору, энергично размахивая руками, доказывал невидимому собеседнику свою точку зрения. «Доказав», вдруг переставал говорить, оглядывался и, заметив наши лица, прильнувшие к окну, усмехался и шёл в дом. А вечером, чиня нашу обувь или мастера нехитрый инвентарь, вдруг задавал

вопрос: «А как ты думаешь?» И если ответ не устраивал его, горячась доказывал уже выверенный, проговорённый ответ на им же поставленный вопрос и радостно, облегчённо вздыхал. Проблема, столько дней мучившая его, озвученная вслух, ещё больше убеждала его в правильности найденного решения.

Колдун

Степаныч знал что-то непонятное и недоступное многим. Лекарств он почти не признавал — лечился кашками, «седьмичниками», настойками, травами и универсальным: «от поноса — водка с солью, от простуды — водка с перцем», баня, горчичники, натирки. С похмелья — полстакана водки, горячая лапша или кислые щи — «хлебово». Помогало.

Корь, коклюш, ветрянка, паротит (свинка) — болезни нашего детства.

У меня — свинка. Температура, глаза «вареные», вся левая щека и шея затянуты багровой опухолью. На белой лошади в коляске приехала врач, в белом халате, сшитом из паруса фрегата, таких размеров и голоса женщина, что возить её надо было на самосвале или пароме.

Мне было жаль красивую белую лошадку...

Врач послушала меня хлодной трубочкой, постучала

через палец по рёбрам так, что больно отдалось в голове. Слышал бас врачихи из кухни — питье, компресс, обтирание — и провалился. Очнулся от пристального взгляда, по запаху неистребимой паровозной гари и мазута, понял — отец!

Пристройка, где я лежал в горячке, была без окон, и отец, прикрыв мне глаза, зажёл верхний свет, осмотрел, нежно трогая толстыми шершавыми пальцами воспалённую кожу.

— Лежи, отдыхай. Поужинаю — полечим!

Отец долго мылся во дворе. Смачно хлебал наваристые щи, перхал, пересыпав крупного душистого перца, любовно натолченного в ступке. Заслушавшись, я снова стал дремать. Голова истомно погуживала, как трубка дневного света.

— Вить? Ви-и-ить! Спишь? Выйти сможешь? Давай я помогу.

Отец легко поднял меня на руки и вынес из комнаты. Сквозь жар я не сразу узнал наш двор. Всё было залито ярким лунным светом и казалось нереальным. Отец поднёс меня к забору из необрезанных сосновых досок, шарил, шурша пальцем по доскам:

— Вот, здесь!

Он ловко перехватил меня и, пододвинув ногой к забору разошедшийся бочонок, слегка придержав, усадил. От слабости я приник к пахнущим солнцем и смолой доскам.

— Ну-ну! Потерпи чуток, сейчас.

Он достал из кармана закройные «бараньи» ножницы, которыми ловко вырезал заплатки из кожи или старых валенок, чиня нашу «горящую» обувь. Поднял лицо к слепящей луне и что-то зашептал. Сбросив на большой палец ножницы, щепотью водил по сучку и моей макушке, овалу воспаленного лица, по шее, так нежно, что я слышал лишь легкое дуновение. Услышал обрывки слов:

— ...Богородица-Мать... Помоги... вся хвори.... Витеньке-сыночку... помоги... отведи...

От Витеньки-сыночка душа «схлопнулась» от восторга и счастья. Отец не был сентиментален с сыновьями, скорее «Витенька» могло означать что-то другое.

Холодные ножницы, касаясь шеи, щёлкали, принося истомное облегчение. Устав, я впал в забытие, а может, просто крепко уснул.

Спал провально, без снов и всегдашних детских страхов. Перед утром что-то шуршало, слышал говор отца и матери, но было так хорошо, что глаза открывать не хотелось. Отец. Говор громче. Свет, но глаза не режет.

— Ну, и как тут поживают наши «свинки-хавроньи», наши «Витеньки-титеньки» (обидное прозвище)?

Он легонько щелкнул меня по вчера ещё огненной щеке. Я, инстинктивно сжавшись, ожидая боли, вскрикнул:

— О-ой!

— Не болит? А тут? А тут? Не болит! Годен к строевой!

Ещё не понимая со сна, что произошло, присел на кровати и ощущал себя. Нигде! Ничего! НЕ БОЛЕЛО!

Весело хлопнув калиткой, отец ушёл на работу.

— Мам! А почему не болит?

— Не знаю, — пригладив мои вихры, мама добавила: — Отец все утро тебя с фонариком осматривал. Обрадовался! Это у него от матери, тоже всех лечила, травница. Не говори ребятишкам. Не поверят. Соврал, скажут. Ещё засмеют. Проголодался?

Есть хотелось страшно.

— Иди, яишенка на столе горячая.

Я сам видел, как однажды отец, устав слушать истеричные крики мужиков и непрерывный визг свиньи из соседнего двора, не утерпел, пошёл глянуть.

Четверо мужиков во главе с хозяином, по-поселковому Мордвином, безуспешно пытались связать приличного размера кабанчика, уже всего исполосованного здоровущим ножом. Кабанчик бешено сопротивлялся, излягав и перемазав кровью и дерьмом потных, невпопад орущих «забойщиков».

Степаныч, из-за забора усмехаясь, иронично поглядывал на катающихся в навозной жиже Мордвина и компанию.

— Степаныч! Подмогни! — задыхаясь, просипел Мордвин. — Здоровущий, замотал совсем! Мать его в душу!

— Извини, сосед, не могу. В профком за путёвкой собрался.

— Дык как же с ним совладать? Мать твою! — опять выругался Мордвин. — Не хочет сдыхать, падла! Подмогни, Степаныч!

Минуту подумав, Степаныч сказал:

— Мужики, отпустите кабана, не мучьте.

— Как? Да мы его целый час ловили! Больше не дастся! Озверел!

— Ничего, дастся. «Болтушки» ведерко приготовь, да горбушку хлебную посоли. Я сейчас. Сами-то выйдите все, да подальше. Чують он будет вас. Соломы больше настелите, в грязь не полезу.

Появился он минут через пятнадцать в телогрейке, брезентовом фартуке и кирзовых сапогах. Чистые рукавицы спереди, а длинный тонкий нож аккуратно заправлен за пояс сзади. Кабан, несколько успокоившись, стоял в углу двора, недоверчиво кося налитым кровью глазом, сипло отхрюкивался.

— Как зовут кабана?

— Борькой! — радостно откликнулся из-за забора Мордвин.

Услышав голос «хозяина», кабан зло и утробно хрюкнул.

— Ну, ну, Боря, Боря, Боря!

Степаныч поставил ведро с кормом на устеленное соломой место и, держа горбушку в вытянутой руке, заходил с ветра. Чутким носом голодный кабан уловил вкусный запах горбушки.

— Боря, Боря, Боря! — воркуя, приговаривал Степаныч и плавно отступал к ведру с кормом.

Кабан, всё ещё опасливо похрюкивая, двинулся на запах. Мужики за забором громко зашептались:

— Гляди, гляди, подошёл. Жрёт, падла! Колдун! Мать его!

Услышав ненавистные голоса, кабан резко вскинул голову, чуть не выбив ведро из рук Степаныча. Тихо ругнувшись, Степаныч отмахнул мужикам: «Спрячьтесь, молчите». Мужики присели за забором.

— Боря, Боря...

И вдруг кабан как-то протяжно вздохнул, легонько подвизгнул и затих. Когда мужики, не выдержав паузы, поднялись, то ошарашенно увидели, что кабан лежит на боку ровно посередине соломенной подстилки, а Степаныч тихонько с ним разговаривает.

— Колду-у-ун! — Мордвин перекрестился.

— Вчетвером не смогли, а он...

Мужики скорбной толпой вошли во двор.

— Ну, Степаныч, ты дае-е-ешь! Как же ты его?

Степаныч ответил шуткой:

— Последнюю волю даже преступникам исполняют. Жрать он хотел, ну я его и... покормил.

— Да-а-а-а? — мужики озабоченно скребли затылки: — Да-а-а-а!

— Ну, я пошёл? Теперь сами управитесь. Не забудьте на свеженину пригласить!

И пошёл, посмеиваясь и покачивая головой, обходя загаженный двор:

— Хозяева безрукие. Засрались по уши.

С места широко зашагал, вытирая чистой тряпкой руки и вполголоса разговаривая сам собой, была у него такая привычка.

Отец

Детям Степаныч часто повторял:

— Чему я могу вас научить? У меня четыре класса образования, некогда было учиться, в одиннадцать лет осиротел, выживать надо было. Вы уж сами, ребятки, определяйте свою дорогу, учитесь. Прокормить я вас ещё смогу, если помогать будете, а вот знаний у меня нет.

Лукавил, как всегда, Степаныч. Его экономическому мышлению мог позавидовать

и сегодняшний менеджер. Он точно знал, сколько яиц снесет каждая курица, даст мяса кролик, поросёнок, иначе не прокормить бы ему семью из восьми детей да матери. Одиннадцать человек — на одну зарплату, хоть и была она по поселковым меркам «огромная».

Работал Степаныч машинистом паровоза на металлургическом комбинате, и работа была страшная: в тесноте цехов толкал ковши с раскаленным металлом, огненными шлаками, коксом, в суতোлке завалочных машин и подвесных кранов, огненном чаду домен и мартенов. На работу уходил, шептал и крестился, потом брал со скамьи сумку с харчами, смотрел на всех внимательно и шёл решительно, не оглядываясь.

Так ещё с войны сложилось, что уходили почти на неделю и не знали, вернутся домой или в штрафбат, или сразу к стенке, как вредителя и «врага народа». Такие случаи были, и не редко: за опоздание на работу, за срыв сроков выполнения задания или, не приведи Господь, за аварию. Тут уж спецкомиссии особого отдела НКВД точно не миновать. Оборудование изношено до предела, а металл давай!

Не любил Степаныч рассказывать про такие вещи, но однажды на реплику пьяного фронтовика «о тыловых

крысах» не удержался и дал отповедь, что без металла, который они давали и тылу, полуголодные и до смерти уставшие, не победить бы фашиста.

Работали по особому графику: 12 часов трудились, а отдыхали только 8, и чтобы не тратить время на дорогу, спали тут же, в цеху или в душевой, а домой ходили раз в неделю помыться в бане да сохраненную пайку хлеба ребятишкам принести.

С обидой рассказывал, как однажды изношенный ковш прожгла струя раскалённого металла. Пока бригада сталеваров, очумело матерясь, безуспешно пыталась забить огнеупорной глиной летку печи, металл лавовым потоком расползлся по подъездным путям. Горело всё — шпалы, рельсы, колёса, а они с составителем в дымящейся от нестерпимого жара спецовке отцепили платформу с прохуdivшимся ковшом и выдернули состав, не дали взорваться паровозу.

Через пару часов, как только приступили к ликвидации аварии, растаскивая краном еще пышущие жаром, насмерть спаянные разлившимся металлом остатки рельсов и колес, арестовали всю бригаду без разбора. Допрашивали с пристрастием, кишки помотали. Не обращая внимания на техническое заключение «об аварийном

состоянии ковша», следовательно угрожал расстрелом, штрафбатом, тюрьмой.

— Обидно было. Мы ж локомотив спасли. Что там локомотив — семь ковшей до краёв броневой стали! Да если бы рванул паровоз, мартен бы разнесло, народу погорело бы уйма, подумать страшно.

Обошлось. Отпустили под надзор. Ну а уж когда Сталинград пошёл, было уже не до надзора, всех конторских в цеха подсобниками повыгоняли. Сослали осмотрщика (он ковши осматривал перед подачей под разлив) в штрафбат, погиб где-то, пропал.

Вот так, брат, мы по тылам прятались. Вот так морду в тылу наедали. Рабочая карточка, килограмм хлеба, иждивенцу триста грамм, а у меня иждивенцев с матерью семеро было. Сам уж как-нибудь перехватишь, где каши в столовой, тюри, картошечки, а хлеб до крошки домой несешь. Ребятишки бегут навстречу: «Папа, папа! Хлебушка, папа!»

«Лисичкин хлеб»

Хлеб, хлебушек... Почему не колбаса, пирожное, конфеты, наконец, а именно хлеб снится голодному. Белый, серый, черный — любой, лишь бы свежий, лишь бы с корочкой.

Запах, вкус хлеба остались навек у старшего поколения, у детей войны. Да и послевоенные хлебнули «слюнок»: карточки, очереди, записи на ладони, когда от одного запаха свежей буханки начинала кружиться голова, скулы сводило судорогой, а из-под языка фонтанчиком била слюна, мгновенно наполняя рот. Пришлось видеть, как на открытии мероприятия уже в 90-х, после обязательного ритуала встречи гостей хлебом-солью (а встречали огромным, похожим на диковинный торт оренбургским караваем, удивительной хрусткости, запаха), вкусив от торжественного подношения, ветеран у микрофона долго не мог справиться с судорогой в скулах, от бешеного аромата и вкуса хлебной корочки, справиться со вкусом детства, генетической памятью заложенного поколениями голодных ребятишек, войнами, разрухой.

Встречать отца с работы была давняя традиция в семье, и, видимо, не по причине батиных «коврижек» или облепленных хлебными крошками карамелек без обертки с народной фамилией «Дунькина радость». А потому, что сердце наполнялось особым чувством защищённости, полноценности, что ли, когда, вцепившись в палец огромной руки, едва попевая его широкому шагу, гордо поглядывая по сторонам,

ты идешь с отцом! Чего были лишены большинство наших сверстников: одни — за неимением таковых, других не баловали вниманием, а третьи — по причине беспробудного пьянства, к вечеру отцы были не способны к ходьбе.

Встречать отца была традиция ещё с войны. Какими-то судьбами он выкраивал из своего пайка кусочки хлеба, сушил их на «грубке» паровоза. Что такое «грубка», мы не знали. Сухарики, подсолненные или подслащенные чем-нибудь, слегка пахнущие паровозной гарью, были так вкусны и так дороги из рук отца. Видимо, на уровне инстинкта мы понимали: отец — защита, все держится на отце, жив он — значит, и мы живы.

Степаныч не баловал детей сюсюканьем, но умел почувствовать пацана, ободрить каким-то мужским словом, поступком. Никогда не потакал слезливому объяснению детских обид и ябед. Ответ был прост:

— Обидели — ответь достойно. Не можешь — не нарывайся!

Это здорово помогало, заставляло рано взрослеть, оценивать свои поступки. Это спасло нас, уберегло от сумы и от тюрьмы.

Через много лет, приехав на Родину, я расспрашивал о товарищах детских игр и юношеских

влюбленностей: убит, умер от алкоголизма, умер в тюрьме, инвалид. Так и не вырвались ребята из той еще жизни, не нашли себя, потерялись, сгинули.

Слаб человек

Слаб человек в своих страстях. Были и у Степаныча свои грешки, и немалые.

Выпивать и курить табак Степаныч начал поздно — в 22–23 года. Мать его, а наша бабка Евдокия Егоровна, повитуха и травница, большая любительница компаний и застолий, пеняла ему:

— Всё у тебя, Вася, не как у людей! Не посидишь за столом, не уважишь, не выпьешь, ни поговоришь с мужиками. Поел и, как бирюк, вон из-за стола. Неладно так-то! Среди людей живем.

— Пробовал, мам, и водку, и табак. Противно.

— А с мятными каплями, с вареньицем попробуй. Будет вкусно!

Васенька, натура мощная, русская. Выросший в казачьей станице, где гуляли истово, шумно, с тройками, пьяным куражом, показной удалью и отчаянными драками. Распробовав зелье по красным датам и свадьбам-женитьбам — так стал закладывать, что небу становилось жарко.

Он полюбил шумные застоля, пьяным куражился, но

мирно, без драк. А вот похвастаться силой, удалью — полюбил: мужиков крутил на согнутых локтях, в снегу купался или выпивал на спор сразу бутылку водки в один приём из полулитровой банки; пел до хрипоты или в пляске бил каблуками в пол так, что трещали доски и посуда с полок падала. Гулял в праздники, ума не пропивал, последней копейки не тасил, всегда помнил о семье. С получки или другой радости выпивший, был щедр к детям, балуя их сладостями. Если не с кем было бражничать, ловил соседских мужиков и тасил за стол. Тётьтоня хоть этого не любила, при людях не выговаривала, но утром...

Пить Степаныч не умел, напивался вдрызг, на утро болел отчаянно и истово каялся:

— Проклятая водка! Кто тебя придумал! Не буду! Мать Тоня, умираю!

Колбасило и выворачивало Степаныча со страшной силой.

— А вчера как — сладко было? Притащил мужиков полон дом и давай поить-кормить! С какой радости?

— Премию получил, — слабо отзывался Степаныч.

— А жене третий год обещаешь «чернобурку» на пальто! Где премия?

— Мать Тоня! Прости! Куплю! Умираю, дай полстакашка опохмелиться!

— Нету! Говорила вчера — не пей последнюю! Так куда там!

Герой вверх дырой! Чего взялся перед работой выпивать?

Степаныч удушенно молчал, но вдруг вспомнил:

— Не работаю, сменщик просил подмениться — дочь замуж выдаёт.

Работу любил, дело знал и дорожил добрым именем. Имел и ордена, и медали. Желая увести разговор в сторону, жалобно спрашивал:

— Мать! Меня вчера не били? Что-то шея и руки как чугунные...

— Тебя побьёшь! Опять крутил вчера мужиков на руках. Вот и болит! Данилу, гляди, не убил ли? Шмякнул об сарай, чуть сарай не завалил.

— Ой, мать Тоня! Умираю!

— Вставай уже! Расходись. Сейчас лапшу запускать буду.

Кряхтя, Степаныч выползал во двор, бормотал, разминался, расхаживался, мочил в бочке голову и клял проклятую водку — до следующего раза. Молодой, сильный организм справлялся с «недугом». Выпив «полстакашка» и как следует нахлебавшись лапши, бодро брался за работу.

Характер

Начав курить — курил страшно, ночью вставал покурить. Курил махорку, которую сам и выращивал. Бросил курить резко — мучился, бесился и страдал, но справился, выдержал. Стал задыхаться, а

тут ещё работа в чаду и дыму: понял, надо остановиться — иначе хана.

Подросли сыновья, дочери, и Степаныч стал сдержаннее — философичней, что ли. Наблюдал, приглядывался к новому времени, новому поколению.

Выйдя на пенсию в 55 по горячей сетке, заскучал. Дети уговорили взять квартиру: как почётному железнодорожнику — полагалась. Вставал, как всегда, рано, скрипел половицами, шумел туалетным бачком, поющими на все голоса кранами, хлопал буфетными дверцами. Хрущёвка, как рояль, откликалась удесятёрённым звуком.

Дети возникали:

— Бать, ну что ты бродишь ни свет ни заря? Дай поспать!

— А, затащили в клетку! Ни огорода, ни хозяйства! Сдохну от безделья, — и, хлопнув дверью, уходил бродить по городу, к Уралу.

Устав от безделья, сколотил строительную бригаду и уехал строить коровники — шабашить. Мастер на все руки — плотник, печник, жестянщик и прочее. Дело у него пошло. После очередной сдачи объекта — шумная обмывка. Утром врач скорой, увидев багровое пятно под левой лопаткой, вынес приговор:

— Будете выпивать — инсульт: калека или смерть.

Степаныч завязал решительно и сразу, навсегда.

Почти в 60 взял землю, разбил сад, построил дом, и не было для него милее места на земле. В любое время года, как на работу, уходил к первому автобусу или зимой пешком. Лопатой рыл траншеи и забивал бутом, строил обводные каналы — участок был сырой из-за грунтовых вод.

Гордо поглядывал на соседей весной — у них ещё вода, а у него цветёт клубника. Колдун...

Колдовал, перетаскав тачкой, корытом 15 КамАЗов перегноя, песка, почвы. Сад стоял, на удивление, полный гомона птиц. Их он подкармливал зимой, здесь они и гнездились в скворечниках, колодах, под крышей.

К животным у него был особый талант: наши голуби клевали у него с рук, садились на голову, на плечи. Баран Борька, огромный и похожий мощными, загнутыми в кольцо рогами на муфлона, ходил за ним как собака. Голландский гусак Цезарь, похожий на лебедя, с чёрной шишкой на носу, ел корочку с ладони и покорно подставлял голову, Степаныч гладил его по белоснежной шее, груди, крыльям. Исполнив ритуал и выстроив по ранжиру, Цезарь царственно вёл за ним свое гогочущее стадо.

Степаныч, шутя, говорил:

— У меня три сына (он имел в виду моих братьев — сталевара, литейщика, машиниста тепловоза) и работник культуры!

Любил он всех: сыновей, дочерей, внуков, и они ему платили тем же, но в чувствах был сдержан.

Втайне он гордился мной. Не очень понимая, чем мы с женой занимаемся, удивлялся — за песни, танцы ещё и деньги платят? Да... Чудно...

Проработав всю жизнь в огне, чаду, опасности, удивлялся моим костюмам, галстукам. С прищуром осматривал с головы до ног, отмечал, что седины добавилось, но костюм у меня «больно маркий».

— Так я, бать, не на паровозе работаю!

Задумавшись и вспомнив засаленные телогрейки, комбинезоны, уголь, мазут — непременные атрибуты его работы, — вслух говорил:

— Вот то-то и хорошо!

Говорят, я очень похож на отца внешне, да и внутренне, пожалуй, тоже: вспыльчив, но отходчив, честолобив, трудоголик, безумно люблю землю и все, что на ней растёт и водится. С возрастом многие замашки, повадки проявляются, видимо, сильнее.

— О, Степаныч приехал! — каждый раз говорит старшая сестра.

И правда, сильно похож!

Хоть и наезжали мы домой не больше двух-трёх раз в год, мы с отцом как-то по-особому чувствовали друг друга. А может, мне казалось.

В один из приездов с супругой отдыхали в санатории на

озере Тургояк в Челябинской области — всегда радушный, особенно к Ларисе, батя, встретил нас отстранённо, холодно-вато, был чем-то расстроен и озабочен. Мамы дома не было.

Пока мы пили на кухне кофе с дороги, страстно шептал за стеной, разговаривая сам с собой. Затем позвал меня на балкон. Глядя вниз, сдавленно спросил:

— Как думаешь, если я с четвёртого этажа упаду вниз головой, я сразу умру или буду мучиться?

— Что за мысли, отец? Ты чего надумал? Кто тебя обидел?

Помолчав, он глухо заговорил:

— У друга был. Учеником у меня начинал, помощником на паровозе. Лет на двадцать меня моложе. Заболел, лежит в тёмной комнате, высох весь, голодный, неухоженный, вонь — хоть топор вешай. Дети бросили подыхать, никому не нужен.

— Бать! У нас такого не может быть! У тебя сыновья, дочери, внуки, наконец!

— Болезнь — она не спрашивает. Немошь, труха всем обуза. Не хочу лежать и гнить, чтоб из-под меня горшки выносили! Доползу до балкона и — амба, чтоб сразу отмучился.

— Что за наваждение! Перестань, отец! Скоро 90-летие будем вам с мамой отмечать и 70 лет семейной жизни! Все

съедутся, повидаемся. Правнуки выросли. Посмотришь, что вы с маманей натворили. Пир горой устроим, и вы с мамой споёте, как в молодости:

*Я цыганка, да ма-маладая,
а варажейка не прастая!
Открой крышки, ду-дубовыя,
возьми деньги золотыя!
Возьми деньги, а за-залатыя,
купи коня воронова.
Купи коня, а ва-варанова —
для цыгана, а маладова!*

Попируем и начнем готовиться к 100-летию!

Отец сменил настроение, ухмыльнулся и добавил:

— Ну, 100 лет не загадываю, лет пяток ещё вам глаза помозолю, помельтешу! Терпите! — Он молодо глянул на меня: — Сад вот обновлю да блоков дождусь! Тогда и на покой.

— Ну вот и славно, а то Ларису напугал. Пойдём, мы ненадолго, сегодня уезжаем в Оренбург.

— А обед?

— Маму дождёмся, пообедаем и в путь. Завтра на службу.

Ровно через пять дней раздался звонок на домашний. Звонил старший брат Геннадий:

— Привет, Виктор! — долгая пауза: — У нас беда.

— Что случилось? Мама? (Мать болела часто.)

— Нет, отец... — снова пауза.

— Заболел?

— Умер. Сердце.

— Как? Он обещал ещё пять лет? — не понимая, что говорю, чуть не закричал я!

— Поднялся на этаж, упал и умер. Как мечтал.

— Всё произошло внезапно, больно — как удар под дых. Мозг отказывался понимать. В груди что-то разбухло, мешая дышать. Эх! Батя, батя!

*Я цыганка, да ма-маладая,
а варажейка не прастая...*

Рано утром мчались по трассе. Молчал я, молчал водитель. Как ехали пятьсот верст — не помню.

Уже к обеду пробирался среди рослых, как на подбор, сыновей, внуков, правнуков, забивших небольшую гостиную. Мать, сестры, снохи в чёрных платках и косынках сидели и стояли по другую сторону гроба.

Он лежал, вдруг ставший маленьким, крупное мужское лицо усохло, заострилось. Но руки!

Огромные руки, казалось, жили отдельной жизнью. В трещинах, с твёрдыми буграми мозолей, руки, 80 лет не знавшие отдыха. И в последний день Степаныч работал на даче. Обновлял сад. Он думал о жизни.

Степаныч не ушел. Он с нами. Он живёт в нас, своих детях, внуках, правнуках! Он в нашей памяти, в нашем сердце.

Проработав всю жизнь, отец с матерью не накопили богатства, но оставили главное наследство. Любовь. Любовь к детям, к семье, друг к другу, умение терпеть и прощать, радоваться каждой встрече, помогать и сострадать друг другу. Они сделали нас семьёй — по крови, по родству. Уже правнуки ждут встречи друг с другом, роднятся. Помнят, чьи они: знают свои корни, знают Степаныча и Фёдоровну.

Почти 20 лет первый тост нашей семьи — за встречу. Второй — за отца с матерью.

Вечная память!

но как неповторим его узор.
снежинки молчаливо холодны.
витают без намёка на ответы,
мерцают отражённым дальним
светом
мистической поверхности луны,
горят в лучах автомобильных
фар,
дорожных фонарей, неспящих
окон,
ложатся на деревья, на бульвар,
на улицы, пронизанные током.
навстречу обжигающей весне
несётся геометрия и хаос...
невысказанных слов,
случайных пауз.
снег падает и падает на снег.

БАБОЧКА В ДЕКАБРЕ

Порхает бабочка по комнате
на стылом фоне декабря.
Счастливый случай... Впрочем,
полноте...
Недолог милости обряд.

Метаморфозой жизни соткана,
чиста, как свет, как снег бела
несёт на крыльях тайны кокона,
частицы грусти и тепла.

— Хороший знак! — пророчат
сонники.
Но не во сне её полёт.
Цветы в горшках на
подоконнике.
Цветы на стёклах — снег и лёд.

И нелегко поверить в лучшее,
пока зима не истекла.
Порхает бабочка заблудшая
в раю бетона и стекла...

ПРОСТИ

Нет ни добра, ни зла, а есть
«Вавилон» —
Чёрная метка, и люди
обречены.
В древнее капище к идолам на
поклон
Трогать руками холодные
валуны.
Пашня отцов.
По ней пролегла межа,
Ров и колючая проволока
вражды,
Рваная рана болезненна
и свежа.
Как залечить,
забыть и простить,
укажи...

Не убеждай того, кто уже
внутри,
В круговороте ненависти
и смертей.
Не отводи глаза,
правде в лицо смотри,
Прямо в глаза ни в чём не
повинных детей.
Комья земли кровавой сожми
в горсти.
Белое, чёрное, пепла полутона...
«Кто не со Мною, тот против
Меня...»

Прости...
Это война.
Просто идёт война.

КАЛАЧИ

гулкому звуку внемлю
эхо из давних снов
рифма упала в землю
парой обычных слов

туч тишина повисла
в семижды семь октав
зреют колосья смысла
соки земли впитав
к жатве готово семя
плотная плоть свежа
станет его спасеньем
гиблая сталь ножа

перетираю зёрна
сквозь жернова судьбы
вместе с травой сорной
если бы да кабы

в тесто чистейшей правды
вымысла горький мёд
слёзную соль утраты
кто испытал поймёт

будет луной светиться
жерло ночной печи
будут под утро сниться
тёртые калачи

ПОТОП

Ни следа от недавней сырой
пурги.

Снег прогорклый покрылся
рябью,
а мои межсезонные сапоги
нахлебались по горло хлябью.

Сам себе говорю: «Не горюй,
не ной,
ты мечтал подышать весною».
Скоро хлынет весна, как
потоп шальной,
да такой, что не снился Ною.
Загорланят потоки на все
лады,
надрываясь, рванут из плена,
леденящего плена немой воды,
повторяя: «Вода нетленна».

В мутной жиже увижу
небесный свет,
соков жизненное движенье,
и дожди, стекающие по листе...
И замру дураком блаженным.

ПРИЯТЕЛЬ

Миражом проплывает осень.
Первозданны её клондайки!
А приятель художник просит:
«Сухарей бы летних пол пайки.
Изобилие — костью в горле,
и дождей серебро некстати...»
Нет, не тянет сюжет на горе.
Для печали, пожалуй, хватит.
Эх, рвануть бы туда, где лето,
пополняя ряды туристов.
Во вчера не достать билетов.
Ни вовеки веков, ни присно.

Отмочил мой приятель номер.
Разомкнул бесконечность круга.
Не дождался зимы и помер,
и душа отлетела к югу.

ГОРЯЩАЯ ПУТЁВКА В РАЙ

Уже не мальчик, ещё не муж,
уральский школьник,
прыщавый отрок
летел подальше от пыток стуж,
от экзекуций метельных порок.
Внизу белели снега, снега
до горизонта и дальше, дальше...
А дальше крымские берега,
в которых быть не случилось
раньше.
Не приходилось ему пока
смотреть с изнанки в глубины
неба,
на перевёрнутые облака...
...Таким счастливым я
в жизни не был!

Шёл в Симферополе мелкий
дождь.
В меня вцепилась таксистов
свора.
Соломой стелятся — не уйдёшь —
домчат и к чёрту, и до Мисхора.
Со словом «дёшево» был знаком,
«грабёж» и «сервис» познал
впервые.
Я откупился «четвертаком».
Еда и койка здесь дармовые.
Да ладно, мелочь — в бюджете
брешь.
Тут воздух сытный, густой
и влажный.
Хоть пей стаканом, хоть
ложкой ешь.
А сувениры — фигня, не важно.

Экскурсий плановая чехарда.
С утра в автобус — петляй
дорога!
Куда не глянешь, кругом вода —
речной не слаще, но очень много.
И это множество, эта мощь
берёт за жабры, за струны,
фибры...
С тобой играет и день, и ночь
то в кошки-мышки,
то в мышки-тигры.
Рычит, царапает скалы шторм,
ласкают гладкие лапы штиля,
рождая сонмы застывших форм,
неповторимость морского стиля.

Тепло. Субтропики. Вечный рай
в раю с названьем «Страна
Советов».
Артек, Ай-Петри, Бахчисарай
с фонтаном слёз, что воспет
поэтом.

По мне так бедненько —
писсуар
и тот бывает куда богаче.
Я не романтик, хотя не стар.
Поэты смотрят на мир иначе.
Пора до хаты. Полно хлопот,
«хвостов» — до лета не
расквитаться.
Полёт. Посадка. Аэропорт.
Весна. Позёмка. И минус
двадцать.

КОЛДУН ДОЛИНЫ ОМО

кричит, надывается чёрная
птица,
пророчит народу долины беду.
в стране людей с обожжёнными
лицами¹.
век доживает колдун.

готовит напиток: смолистые
ветки,
горячая кровь, сухоцветы
и мёд...
в стране теней, населяемой
предками,
варево медленно пьёт.

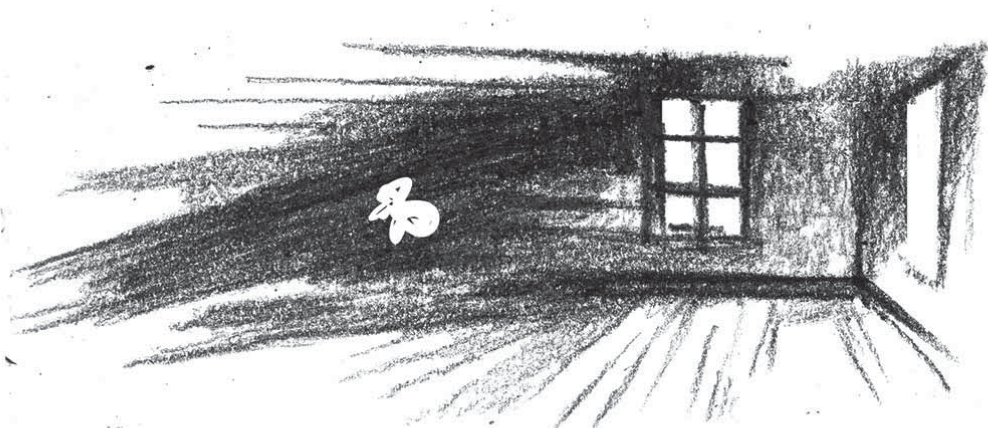
глоток за глотком, но не может
напиться,
а голос внутри начинает звенеть:
«в стране богов, управляющих
птицами,
богом является нефть».
он пьёт, обжигаясь, предчувствия
душат,
хоть зверем неистово вой
на луну:
«в стране людей с обожжёнными
душами

¹ «страна людей с обожжёнными
(солнцем) лицами» — «Айтьопия» или
Эфиопия

запечатлеть эпическую сцену,
идиллию нелёгкого труда,
усталости и отдыха блаженство...
И женщин, что не встретишь
в городах,
естественных в слезах, улыбках,
жестах.
Красавице с доверчивым лицом
назначить randevu на сеновале...
Нет, лучше всё же выпить
с кузнецом
и трактористом, если бы позвали.
На воздухе под пение сверчков
лилась бы самогонка и беседа...
Не грех упасть хоть навзничь,
хоть ничком
в охапку свежескошенного сена.
Проснуться, как родиться —
в первый раз
глядеть на солнце, будто бы
на чудо,
не отрываясь, долго, про запас.
Забыть на время, кто ты
и откуда...

ПРИЗРАК СНЕГА

В угоду схематической
условности
пророчит календарь курантов
бой.
Витает призрак снега
в невесомости,
на синем — серебристо-голубой.
Дома плывут безжизненными
льдинами,
мерцая мириадами огней.
Шепчу слова лишь мне
необходимые —
молчание дороже, но больней.
Ложится то ли манна, то ли
крошево
на дно заиндевелого двора.
Вот-вот произойти должно
хорошее.
Не сглазить бы случайно,
как вчера...





Антон ГОРЫНИН

ПРАВДА

Рассказ

Антон Валерьевич Горынин родился в 1986 году в Оренбурге. Окончил Оренбургский государственный педагогический университет. Драматург, прозаик. Победитель регионального литературного конкурса «Оренбургский край. XXI век – 2015» в номинации «Новые имена». Лучший прозаик по итогам Межрегионального семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России – 2016». Лирическая комедия «Серая тьеса» вошла в электронный «Дайджест лучших пьес России» (2017). Финалист конкурса «Славянская лира – 2018» (малая проза). Финалист многих драматургических конкурсов. Живёт в Оренбурге.

В самый разгар лета красивое и даже в чём-то величественное старинное здание районного суда было на ремонте. Фасад перекрывали строительные леса, на лесах вяло трудились несколько угрюмых рабочих, доведённых здешней тупой жарой сначала до отчаяния, а затем и до апатии. И не было им никакого дела до красивой миниатюрной женщины и спортивного вида мужчины средних лет, вышедших из большого здания вслед друг за другом, переглянувшихся и пошедших в совершенно разные стороны — одна налево, другой направо (или наоборот, это же как посмотреть). Да, строителям было абсолютно всё равно, что семья Счастливых всё-таки распалась...

Ведущий Павел многозначительно переглянулся с председателем жюри Маратом

Владимировичем и гаркнул в микрофон во всю мощь своего поставленного голоса:

— Ну что ж, вот он — тот самый торжественный момент! Думаю, продлять интригу нет больше смысла, тем более что свои лидерские позиции эти участники сохраняли на протяжении всего конкурса! И снова слово жюри!

Публика притихла, Марат Владимирович тепло улыбнулся.

— Знаете что, Павел? — обратился он к ведущему. — Давайте произнесём фамилию победителей вместе!

Павел искренне обрадовался такому предложению.

— А давайте, Марат Владимирович!

— Три-четыре, — скомандовал председатель.

Следующие два слова Павел и Марат Владимирович произнесли так слаженно, как будто репетировали это самое произношение долго и упорно дома.

— Семья Счаст-лив-це-вых!

Публика заорала от радости за фаворитов с новой силой так, что заглушила слова Марата Владимировича о том, какой именно населённый пункт Приволжского края представляют победители. На сцену выбежала действительно весьма симпатичная семья из пяти человек: спортивного вида средних лет папа, красивая миниатюрная мама таких же средних лет, рослая уже

модельной внешности двенадцатилетняя девочка и двое семилетних сорванцов совершенно одинаковых с лица.

Публика неистовствовала — народная любовь к этой известной в крае самой спортивной, самой творческой и самой социально активной семье была давней, крепкой и, видимо, абсолютно единогласной.

Аплодировали Счастливецевым и ведущий, и само жюри. Павел поднял руку с микрофоном вверх, публика замолкла, как по мановению волшебной палочки. «Вот оно — настоящее мастерство названного хозяина праздника, жаль, что на оплате это никак не скажется», — подумал ведущий и снова поднёс свой рабочий инструмент к губам.

— Для вручения победителям главного приза на нашу замечательную сцену я с удовольствием приглашаю министра социального развития Приволжского края Василису Ивановну Томину.

На этот раз публика зааплодировала уже не так искренне, скорее даже протокольно. Из первого ряда к трём образцово-показательным семьям чинно проследовала Василиса Ивановна и приняла из рук ведущего микрофон. На круглом, пожалуй, слишком накрашенном лице чиновницы стыла дежурная улыбка.

— Я сердечно приветствую всех участников, зрителей и, конечно, организаторов этого

замечательного праздника, пропагандирующего спорт, творчество и семейные ценности, — начала свою, между прочим, полуимпровизированную речь министр. — Семья, здоровье и творчество, что может быть важнее? В наше непростое время падения нравственности и, прямо скажем, не очень хорошего отношения граждан к своему здоровью именно вот такие семьи своим живым примером показывают, как можно быть по-настоящему счастливыми друг с другом, занимаясь спортом, а не какими-то... — здесь чиновница почему-то сбилась, но уже через секунду продолжила. — Непонятными делами. Счастья и здоровья вам, дорогие наши победители!

Публика зааплодировала. Василиса Ивановна выдержала небольшую паузу и снова заговорила:

— Как справедливо уже заметил уважаемый Марат Владимирович, в этом конкурсе нет победителей и побеждённых. Вы уже победили, став крепкими, активными и спортивными семьями. Моя главная миссия сейчас — это вручить победителям, семье Счастливых, наш главный приз... ключи от автомобиля!

Под аплодисменты и улюлюканья публики, под фанфары и плохо скрываемые завистливые взгляды бронзовых и

серебряных призёров красиво одетая студентка местного института искусств отдала ключи в руки чиновницы, та, крепко пожав руку главе семейства победителей, отдала главный приз всё-таки супруге.

И вот только после вручения главного из призов на победителей надели бутафорские золотые медали, вручили цветы, разве что только шампанским не облили. Финальные слова ведущего, которые он написал для себя сам, заглушили всё те же восторженные вопли болельщиков.

— Все публики так похожи — им бы только поорать, а по какому поводу уже не важно, — жаловался вечером дома молодой жене недоуслышанный профессиональный ведущий массовых мероприятий Павел.

Молодая жена кивала, хотя явно думала о чём-то другом.

Счастливые Счастливыцы с подарками, цветами и семейным счастьем наперевес ехали домой на только что выигранной белой «Ладе-Ларгус». Игривые близнецы радовали родителей своими непосредственными дурачествами, мама и папа то и дело бросали друг на друга влюблённые взгляды. И только старшая дочь Оля, казалось, была несколько в стороне от общего счастья. Впрочем, отстранённость

девочки-девушки была только кажущейся, примерная дочь Оля безумно любила и ценила свою семью и втайне мечтала о женихе, похожем на папу...

А пара розовых наушников с надрывными откровениями Глеба Самойлова в юных Олиных молочно-белых ушах только помогали ей не сойти с ума от счастья.

Варвара была тем самым чеховским «кем-то с молоточком», который, как известно, должен стоять за дверью каждого мало-мальски счастливого человека. Замужняя, разведённая, затем снова замужняя и разведённая Варя была закрыта навсегда, правда, ещё не на нижний замок. «Больше ни-ни, разве что только разок в месяц с каким-нибудь козлом, для здоровья же надо», — говорила она каждую очередную встречу своей подруге — счастливой жене и матери Лене Счастливцевой. Кстати, когда в жизни молоденькой выпускницы медучилища Леночки появился парень по фамилии Счастливцев, Варя сразу сказала, что это не к добру. Но вот уже тринадцать лет безоблачного семейного счастья Лены не давали её верной подруге покоя...

— Уже тринадцать лет? — удивлялась Варя, прикуривая очередную сигарету. — Нехорошее число...

Лена только улыбалась и пожимала своими вечно юными и удивительно сексуальными плечами.

Когда принесли очередной мохито, Варя была уже в той кондиции, когда наставления пёрли из её замаранного мужскими обидами нутра сами собой и остановить этот поток уже не могла ни она сама, ни тем более лучшая подруга Лена.

— Тринадцать лет... — снова задумчиво протянула Варя, выпуская очередную порцию сигаретного дыма через свои не по-женски широкие ноздри.

Лена загадочно улыбалась и смотрела куда-то вверх, видимо, вспоминая самые лучшие из всех самых лучших моментов жизни, разделённой с самым лучшим мужчиной на свете.

— Всё равно Андрюха твой мутный какой-то, — не унималась Варвара.

Лена отвечала на это со спокойной, если не сказать, блаженной, улыбкой:

— Варь, мы с Андрюшей столько лет вместе, трое прекрасных детишек у нас, всё делаем вместе, никаких секретов друг от друга... Господи, да мы знаем друг друга как облупленных!

Варя ухмыльнулась и, минув соломинку, отпила из фужера пару глотков лихого напитка.

— Никто ни про кого ничего не знает, подруга, — сказала она твёрдо и убедительно.

— Да ладно тебе, — отвечала Лена всё так же спокойно, правда, уже без улыбки.

Варя затушила сигарету и откинулась на спинку ресторанного дивана.

— Вот вы же годовщину совместного брака будете отмечать? — спросила она свою раздражающе спокойную подругу.

— Конечно, — оживилась Лена. — И каждый раз стараемся делать это как-то по-особенному.

Слегка пьяный взгляд Варвары становился всё более туманным и нахальным.

— Советую новшество тринадцатой годовщины, — сказала она Лене и нарочно замолчала.

Лена, конечно, предложением заинтересовалась; когда ей было что-то по-настоящему интересно, Ленины глаза становились особенно круглыми, влажными и блестящими.

— Ну, говори уже, что за привычка!

— Предложи ему обменяться правдами, — сказала Варвара.

— Какими правдами?

— Да хоть из далёкого прошлого, хоть из близкого, хоть из настоящего...

Лена нахмурилась и отрицательно покачала головой.

— Нет, — сказала она уверенно.

— Что «нет»?

— Нет у нас каких-то таких правд.

— Нет уж, Леночка, любые отношения, даже такие, тьфу, идеальные, как ваши, всегда весьма условны. Как там «Глюки» пели... «это просто такая игра — один говорит, другой ему верит...» — на одном дыхании выдала Варвара и уставилась на подругу, ожидая отрицательной реакции.

Отрицательной реакции не последовало, но некоторое сомнение в Ленину симпатичную голову все-таки закралось. Весь следующий после встречи с подругой день она провела в удивительных для самой себя раздумьях, типа: «а что если всё-таки есть какие-нибудь такие правды?». Счастливая жена и мать Лена честно пыталась избавиться от шальных мыслей, перебивая их догадками, какой сюрприз Андрюша приготовил на завтра. Да-да, совсем скоро ровно тринадцать лет исполнялось их общему с детьми, такому крепкому семейному счастью...

Стоп! Так ли оно крепко, если копнуть глубже и проверить состояние фундамента. Лена даже вздрогнула и выронила из рук тарелку. Звон

расколовшейся посуды. «Ничего, это на счастье», — думала Лена, собирая осколки.

Сборы на деревню к бабушке и дедушке были в самом разгаре. Лена перепроверяла содержимое большой дорожной сумки, Андрей добивался в ванной, Оля по одному ловила близнецов, надевая на них по одной вещи за поимку.

— Андрюш, а можно я поведу? — крикнула Лена в сторону ванной комнаты.

— С детьми — нет, — последовал суровый мужской ответ.

— А потом?

Андрей ответил после паузы:

— Посмотрим.

Услышав это неоднозначное «посмотрим», Лена погрузилась, что тут же отразилось на её скорости копания в сумке — движения Лениных рук стали плавными и задумчивыми.

Вытирая своё чисто выбритое лицо, Андрей почуял что-то неладное и тут же направился в комнату, где находилась Лена. Муж и жена столкнулись в дверном проёме, Андрей тут же отобрал у Лены тяжёлую поклажу.

— Ты чего? — спросил он супругу, прячущую от него глаза.

— Ничего.

— Что такое-то?

— Просто.

— Да что случилось-то? — почти закричал Андрей, но тут же смягчился. — Пожалуйста, скажи, что не так... если что-то не так.

Лена подняла глаза на Андрея. И взгляд её был ну очень грустным.

— Чуть ли не в первый раз тебя такой вижу, — тихо пробормотал ошарашенный супруг.

Запыхавшаяся Оля вместе с окончательно одетыми близнецами наблюдала за родителями из коридора.

Лена вдруг хитро прищурилась и сказала:

— У меня вообще-то тоже есть права.

— Ах, вот в чем дело, — выдохнул Андрей.

— Ну, так я поведу? — переадавала принципиально важный для себя вопрос Лена.

— Нет, — спокойно отвечал Андрей. — Права у тебя есть, а опыт? Я же о вас забочусь, о вашей безопасности, — он прижал любимую жену к себе и погладил её по голове.

— Откуда появится опыт, если всё время «нет»? — слёзным голосом сказала Лена, уткнувшись в могучую Андрюшину грудь.

— Хорошо, хорошо. Отвезём детей, на обратном пути сядешь за руль.

Лена отпрянула от Андрея и

посмотрела ему прямо в глаза.

— Правда?

Андрей кивнул.

— Мам, пап, — обратилась к родителям дочь Оля. — Поехали уже, а то сейчас я поведу.

— И мы! — почти хором закричали близнецы.

Андрей и Лена посмотрели на детей умилённо, одновременно улыбнулись и обнялись. Дети улыбались тоже.

Село Нижняя Воронка считалось пригородом, ехать туда от дома Счастливых было совсем недолго. Благоухающая новизной и отработанным бензином «Лада» под управлением Андрея ехала не больше восьмидесяти километров в час. Было к этому скоростному ограничению две причины: осторожность сидящего за рулём примерного семьянина Андрея и чрезмерная ухабистость объездной дороги.

Дети, как всегда, шумно, но мило веселились на заднем сиденье, а Лена, сидя на переднем, то и дело поглядывала на любимого мужа. «Все-таки он всегда прав, — думала она. — Как ему это удаётся? Действительно, чего это я? Права-то получила, но за руль не стремилась никогда. Сегодня-то что вдруг приспичило? Странный каприз. А он всегда прав, за это я его и люблю. И всегда

буду любить». «Никогда не говори «всегда». «Что это? Откуда голос? Варвара, ты?»

В кармане настырно завибрировал мобильник, Лена достала трубку и посмотрела на экран — звонок был от Вари.

Андрей украдкой заглянул в смартфон жены. Увидев имя вызывающего абонента, он тяжело вздохнул и снова перевёл взгляд на дорогу.

— Да, Варь, — сказала прямо в трубку Лена.

— Здорова, — судя по голосу, Варвара была бодра и весела. — С праздником, что ли?

— С каким? — не поняла Лена.

— Ну здрасти-нате, у кого сегодня годовщина?

— А, да, спасибо.

— Что там с игрой в правду?

— Пока ничего.

— Что, реально нет никаких секретов?

— Ещё не спрашивала, сейчас детей отвезём...

Лена говорила как можно тише. Андрей бросил на жену подозрительный взгляд.

— А-а-а, ну как что узнаешь, сразу сообщайся.

— Хорошо.

— Да дай Бог, чтоб всё хорошо и было. Пока, подруга.

— Пока.

Лена попыталась как можно быстрее положить смартфон

обратно в карман, но от волнения сделать это сразу у неё не получилось — трубка упала куда-то под сиденье.

— Кто звонил? — спросил Андрей.

Достав телефон, Лена села прямо и повернулась к пассажирскому окну.

— Да так, Варька.

— Чего хотела?

— С годовщиной нас поздравила.

— А, ну спасибо.

Андрей плавно затормозил, чтобы повернуть под облезлую вывеску с надписью Нижняя Воронка. До конца пути Лена, находясь в глубокой задумчивости, так и не посмотрела на своего любимого Андрея. Но верный супруг вряд ли это заметил, потому что внимательно следил за дорогой, ведь в машине помимо него находились жена и трое детей — семья — самое ценное, что было у него в жизни.

База отдыха «Ключи» была одной самых крутых в регионе. Никаких живописных, бьющих через край ключей на территории базы не было. Наверное, такое название природно-развлекательное предприятие получило из-за своего внушительного прайс-листа — ключи от здешних уютных деревянных домиков стоили

очень дорого, при этом в очередь за ними надо было вставать за несколько месяцев до планируемого отдыха.

Андрею Счастливецеву удалось забронировать домик в «Ключах», благодаря его старому приятелю — сотруднику турбазы Александру, который также самым непосредственным образом должен был помочь ему в преподнесении сюрприза Лене Счастливецевой к тринадцатой годовщине со дня их с Андреем скромной и незабываемой свадьбы.

Когда заиграла мощная роковая мелодия, служащая сигналом вызова в мобильном телефоне, Александр сидел на берегу озера, принадлежащего «Ключам», и раскладывал водлазное снаряжение.

— Да, Андрюх, — ответил на звонок Саша. — Готово-готово. Да всё в лучшем виде будет, обижаешь. Ну ты, конечно, придумщик. Я бы не додумался. — Александр достал из сумки полиэтиленовый пакет с водой и плавающей в ней маленькой рыбкой самого что ни на есть золотого цвета.

— Только смотри, — продолжил он, глядя на пакет с живым содержимым, — если с Глашей что-нибудь случится, меня дочь убьёт на месте. Или в аквариум засунет вместо неё.

— Ты, главное, сам её не упусти, — практически снял с себя ответственность Андрей,

который, разговаривая по мобильному телефону, стоял возле машины и нервно оглядывался по сторонам. — Ладно, всё, моя идёт, пока всё идёт по плану, давай.

Лена вышла из ворот родительского дома, щурясь от полуденного весеннего солнца. И только при хорошем естественном освещении Андрей замечал, что у его Солнышки лицо уже не восемнадцатилетней девочки... Но эти плечи... За такие плечи можно, пожалуй, любые морщинки простить.

Лена, загадочно улыбаясь, подошла прямо к водительской двери и уверенно взялась за её ручку.

— Да? — спросила она мужа.

— Ну, да, — пожал плечами Андрей.

Лена села за руль, Андрей рядом. Машина завелась и вроде бы тронулась, но тут же заглохла. Опять завелась и медленно, но на больших оборотах, поехала в сторону шоссе.

Александр надевал ласты, поглядывал на пакетик с Глашей и приговаривал:

— Ох, Андрюха, как придумаешь что. Если всё проканает, с тебя рыбка вяленая. С пивом. С хорошим.

Рыбка засутилась, Саша посмотрел на неё с умилением.

— Да не волнуйся ты так, Глафира. Тебя мы вялить не будем. Правда.

Рыбка не сразу, но успокоилась, Александр положил мобильный телефон себе на колени и закурил.

— Всё. Ждём сигнала из центра.

Белая «Лада-Ларгус» осторожно свернула вправо сразу после соответствующего указателя с надписью «База отдыха «Ключи». На недавно асфальтированной дороге, ведущей прямо к главным воротам турбазы, Лена позволила себе перейти на четвертую передачу и крепко вцепилась в руль.

— Мы же на саму базу едем? — спросила Лена Андрея.

— Да, прям на саму, немного скорость сбавь, пожалуйста, — мягко, но твёрдо сказал Андрей.

— Значит, у тебя есть ключи от «Ключей». Это же дорого очень. Что мы здесь будем делать?

— А вот это уже секрет, — многозначительно протянул Андрей и посмотрел на спидометр — стрелка прибора после его осторожной просьбы не упала ни на миллиметр.

— Ненавижу секреты, — сказала Лена, сморщив нос, и прибавила газу.

Андрей вжался в сиденье и до самых «Ключей» не произнес больше ни слова. Он думал. Думал и не понимал. С его женой последнее время определённо что-то творилось. Еще никогда Лена не делала ему что-то на зло. И слово «ненавижу» он от неё никогда раньше не слышал ни в каких контекстах. Легкий неадекват, капризы какие-то. С ней что-то такое было во время первой беременности. Вторая была просто тяжёлой. Но они выдержали и родили двух практически здоровых пацанов. Андрей мечтал о сыне, а тут целых два! И вроде все хорошо, да так, что даже не верится.

Ближе к вечеру Андрей и Лена прогулочным шагом догуляли до залитого пятичасовым солнцем крутого берега довольно широкого и чистого озера.

Лена, придерживая от ветра нижнюю часть своего сверхлёгкого небесного голубого платья, окинула пристальным взором всю видимую часть живописной озёрной набережной.

— Сюрприз будет здесь? — игриво спросила она мужа.

— Да, — с загадочным спокойствием отвечал Андрей, раскладывая рыболовные снасти. — Мы будем ловить рыбку... рыбу.

Лена смутилась. С одной стороны, она понимала, что Андрей, скорее всего, придумал что-то оригинальное, выходящее из ряда вон; с другой стороны, рыбалка никогда не была страстью ни Андрея, нитем более самой Лены.

Лена сняла тёмные очки, чтобы без посредников насладиться видом искрящейся, чистой озерной воды. «Интересно, — подумала она, — много ли здесь рыбы и какой, я ведь ничего в этом не понимаю». В следующую секунду Лена обратила внимание, что Андрей отошёл в сторону с мобильным телефоном в руках. «Вот оно!». Варя, заткнись. Лена терпеливо подождала, пока Андрей допишет адресованное неведомо кому сообщение.

— Ну что, за дело, — Андрей протянул Лене удочку поменьше.

Лена приняла рыболовный инвентарь без особого энтузиазма.

— Кто пишет? — спросила она как бы невзначай.

Андрей нервно отмахнулся.

— Да так, по работе, везде достанут.

Александр уже успел задремать, когда раздался звонкий сигнал его мобильного, оповещающий о приходе нового СМС-сообщения. Саша тут же

принял сидячее положение, посмотрел сначала на экран телефона, затем на пакет с золотой рыбкой.

— Ну что, Глафира, на выплав, — сказал он ничего не подозревающей рыбке.

Через мгновение на лице Александра красовались очки для подводного плавания и полумаска с гибким шлангом, идущим от баллона с кислородом.

Звонко и ненавязчиво пели птицы, шумели деревья. Андрей и Лена сидели на крутом берегу озера с запущенными в воду удочками. Андрей выжидательно смотрел то на поплавок удочки, находящейся в нежных и родных руках жены, то на Лену. Глаза любимой закрывали темные очки, а следовательно, не было никакой возможности понять, нравится ей то, что сейчас происходит, или нет.

То, что происходило, Лене не нравилось. Сидеть и ждать чего-то никак не соотносилось с её достаточно бурным темпераментом. В напечённую солнцем голову Лены то и дело заглядывали странные, если не сказать страшные, мысли. Кто ж ему писал пять минут назад? Что это за дурацкая рыбалка? Не романтический ужин, не записанная в профессиональной студии песня собственного

сочинения, а рыбалка... Чтобы отвлечься от нехороших размышлений, Лена прислушивалась к пению птиц. Помогало, но ненадолго.

Тут у самой Лены завибрировал мобильник, Андрей нервно дернулся, Лена посмотрела на только что пришедшую эсэмэску от Варвары: «Ну?» «Гну», — грубо ответила Лена в печатной форме и отключила телефон.

В следующее мгновение поплавок Лениной удочки задёргался.

— Ключёт! — воскликнул Андрей, да так, что Лена поначалу вздрогнула и чуть не выронила удочку из рук. — Тяни!

Лена сконцентрировалась на удочке и потянула её на себя, удивляясь непонятно откуда взявшейся в ней рыболовной сноровке.

Взволнованный Андрей не удержался, бросил собственную удочку на землю и принялся помогать жене. Скоро в большой волосатой руке Андрея билась самая настоящая золотая рыбка по имени Глафира. Муж протянул драгоценную «добычу» жене.

— Золотая, понимаешь?

— Но как? — симитировала удивление Лена. — Самая настоящая?

— Ну конечно, — ответил Андрей и запустил Глашу в ведро с водой.

«Как я сразу не догадалась, — подумала Лена, — и на слишком чистое ведро с фильтрованной водой внимания не обратила. Стоп! Он же сейчас скажет, что можно загадать желание...»

— Думаю, рыбка в такой день не откажет тебе в исполнении желания, — сказал Андрей.

— Я? — еле слышно протянула Лена и задумалась.

«Вот сейчас самое время» — прошуршал в Лениной голове хрипловатый от табака голос лучшей подруги Варвары.

Лена сняла темные очки и строго посмотрела сначала на золотую рыбку, затем на Андрея, затем снова на рыбку.

— Солнышко, ну говори уже, чего хочешь? — Андрею не терпелось узнать, какую сумму денег и на что ему придётся потратить в ближайшее время. Главное, чтобы не очень большая сумма была. Но Лена ведь должна понимать... Главное, чтоб не больше пяти тысяч... ну семь... десять... максимум... пятнадцать...

— Я хочу, — заговорила Лена каким-то слишком низким для себя голосом, — чтобы ты сказал мне какую-нибудь правду.

— Что? — переспросил Андрей, хотя и так всё прекрасно слышал.

— Желание моё такое, золотая рыбка, — говорила Лена,

пристально глядя на мужа. — Пусть муж в чём-нибудь признается мне сейчас. В чём-нибудь таком... что касается нас обоих.

Андрей сглотнул подступивший к горлу ком. Что она имеет в виду? Ну ладно, пусть даже двадцатка выйдет...

— Моё желание сегодня исполнится? — наседала то ли на рыбку, то ли на супруга непохожая на саму себя Лена.

— Какую правду? — сдавленным голосом переспросил Андрей.

— Любую.

— Это твоё желание?

— Да.

— Рыбка может исполнить только одно желание...

— Да.

Обычно мужественный, решительный, уверенный в себе Андрей на этот раз по-настоящему растерялся. С одной стороны, желание супруги, каким бы оно ни было, — закон, он же сам придумал этот чёртов сюрприз. С другой стороны, о чём таком рассказывать? Как воровал конфеты в детстве? Как в подростковом возрасте подглядывал за старшей сестрой в ванной? Как в молодости пробовал гашиш курить? А может быть, рассказать об Ольге...

Лена встала, взяла ведро с золотой рыбкой и направилась к озеру.

— Ты что? — ещё больше беспокоился Андрей.

— Если на счёт три так называемая золотая рыбка не исполнит моё желание, значит, она не золотая и, скорее всего, не съедобная. Я её выпущу обратно в озеро. Раз...

Сохнувшему на другом берегу озера Александру икнулось.

Андрей понимал, что Лена так и сделает. А может быть, и нет...

— Два...

Нет! Нет, лучше не рисковать. Про что рассказать-то? Что за дебильное желание? Андрей стал раздражаться: «Точно Варька надоумила. Дура!»

— Три...

— Хорошо-хорошо, слушай, — согласился пойти на правду Андрей, который за доли секунды довольно ясно представил себе друга Сашу, заточённого в аквариум вместо рыбки.

Лена поставила ведро на место, села рядом с Андреем и взяла его руку. Чего она ждала? Чего-нибудь неожиданно, но вместе с тем не очень страшного.

Андрей внутренне настроился на небольшой монолог-признание и посмотрел супруге прямо в глаза.

— Ты знаешь, — начал он издалека, — ты — моё счастье, а дети — наше счастье, всё так здорово складывается...

Лена положила свободную руку на ведро с рыбкой.

Андрей заторопился:

— Помнишь, как ты была беременна Олей?

— Конечно, такое как забудешь, — Лена, несмотря на внутренний трепет, старалась оставаться строгой и чувственно-непроницаемой. Ну хотя бы внешне.

— А помнишь, почему мы Олю назвали Олей?

Лена тут же вспомнила одну из постельных сцен обсуждения имени будущего ребенка, пол которого пока ещё оставался загадкой. Но уже тогда молодой муж почему-то был уверен, что будет девочка и настаивал на не то скандинавском, не то восточнославянском женском имени Ольга. Тогда Лене это не показалось странным, потому что Андрей рассказал о какой-то своей героической прабабушке, которую звали Ольга.

— Помню, ты так захотел, настаивал прям... — сказала Лена.

Андрей перевёл дух и продолжил:

— Так вот, у меня никогда не было прабабушки Оли.

— Вот как? — сердце Лены забилося сильнее. — И зачем ты её придумал?

— Я её придумал затем, чтобы назвать в честь неё дочь, но дочка наша названа так не

в честь никогда не существовавшей прабабушки, то есть её прапрабабушки...

Лена отрицательно покачала головой.

— Не понимаю.

Андрей тяжело вздохнул и продолжил:

— Короче, правда в том, что получается, что мы... фактически назвали нашу дочку в честь моей первой любви. Вот такая правда сойдёт? Мы с Олей в школе в старших классах вместе учились, потом она в другой город уехала. Банально всё — отец военный. А я не мог её забыть, она же была у меня первой. Такое ведь не забывается, но я уже давно забыл, клянусь. Просто тебе какая-нибудь правда понадобилась. Твоё желание должно же было исполниться.

На этом Андрей решил замолчать и посмотрел в глаза жены ещё более пристально. Лена, совершенно не моргая, смотрела куда-то мимо него. «Что сейчас будет? — думал Андрей. — Столько лет прошло, может, ничего не будет?».

Золотая Глаша забулькала с новой силой, и Андрей, и Лена машинально, практически одновременно перевели на блестящее создание свои тяжёлые взгляды.

Александр, сидя на другом берегу озера, прикуривая сигарету, снова икнул.

— Да что ж такое-то, — буркнул он, выпуская изо рта струйку ядовитого дыма. — Не было печали, блин. — И опять икнул.

В самый разгар лета красивое и даже в чём-то величественное здание районного суда было на ремонте. Фасад перекрывали строительные леса, на лесах вяло трудились несколько угрюмых рабочих, доведённых здешней тупой жарой сначала до отчаяния, а затем и до апатии. Действительно, какое им было дело, что где-нибудь «в буре-мире взяли и выдумали войну»...

И уж точно совершенно никакого дела не было им до Лены и Андрея, вышедших из больного здания вслед друг за другом, переглянувшихся и пошедших в совершенно разные стороны — одна налево, другой направо (или наоборот, это же как посмотреть). Но сражённым пылающим солнцем и духотой ремонтникам не было никакого дела до того, что семья Счастливых всё-таки распалась...

Белая «Лада-Ларгус» стояла недалеко от суда. Внутри машины на заднем сиденье, прижавшись друг к другу, сидели Оля и двое её маленьких братьев, не на шутку напуганные всем, что происходило в последние полтора месяца

маминых истерик и папиных попоек. Лена бухнулась на водительское место и громко хлопнула дверью.

— Всё? — робко спросила Оля.

— Всё, — сурово ответила мать и повернула ключ в замке зажигания.

Однако несколько попыток завести машину не увенчались успехом. Лена несколько раз ударила рукой по рулю, потом заплакала, а потом и вовсе заревела.

Дочь Оля попыталась было успокоить маму, но в ответ слышала одно только невероятно грубое: «Заткнись! Будешь получать паспорт, сменишь имя вообще!»

Мамин выпад по поводу смены имени Оля не поняла, ведь о том, какая рыбка вдруг проплыла между одинаково любимыми ею мамой и папой, она ничего не знала. Зачем ей теперь понадобилось менять имя, смышлёная девочка спрашивать пока что не стала.

Лена ещё раз ударила руками по рулю, вышла из машины, открыла багажник, достала оттуда монтировку и со всей своей женской силы принялась

бить ею по машине. Страшные удары о металл, трескающиеся стёкла и разбивающиеся в прах фары издавали громкий тревожный шум на всю округу. Несколько угрюмых рабочих отвлеклись от работы, а один из прохожих принялся снимать избиение машины на телефон.

До Андрея, который уже успел свернуть за угол, кричащие звуки донеслись через несколько секунд после начала Лениной истерики. Сперва находящийся в подавленном состоянии Андрей не обратил на странные глухие удары и звон бьющегося стекла никакого внимания. Затем остановился, прислушался и не то чтобы понял, скорее, почувствовал, что ему нужно вернуться на парковку у здания суда, и как можно быстрее.

Обратно к бывшей жене и детям только что разведённый мужчина в самом расцвете лет побежал быстро и без оглядки. Андрей не смотрел ни назад, ни по сторонам, иначе он бы заметил сидящую на скамейке, вызывающе одетую Варвару, которая так надеялась, что уж на этот раз Андрей точно будет её...

СТИХИ ПО КРУГУ



**Анна
ТЕРЕНТЬЕВА**

Резидент литературного проекта «Другая среда». Лауреат Православного конкурса Всероссийского фестиваля авторской песни им. В. Грушина (Самара), Международного фестиваля «Степной аккорд» (Актобе).

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ

Легко поставить на жизни крест.
Мол, выбор сделан, а я безволен.
Я всей системе наперерез
На жизни смело поставлю нолик.

Здесь арифметика не хитра:
В руках — мелок, под ногами —
клетка.
Хочу в реальность с судьбой
сыграть,
За приз в финале — стать
человеком.

Или остаться им: зыбок шанс
Сорвать джекпот
у эксперта-профи.

За право вовремя взять реванш
Придётся с жизнью делиться
кровью.

А у меня лишь в руках мелок.
За столько лет исписался весь он.
И, непослушно сжав кулачок,
Выводят пальцы победный
крестик.

ДЯДЯ КОЛЯ

Каждый вечер стабильно
в восемь

Из прокуренной подворотни
Выходил с кривоватой тростью
Дядя Коля, обычный плотник.

Щёки дяди не знали бритвы,
И пиджак был слегка несвежим.
Из прорехи виднелся свитер,
Как протест бутикам одежды.

Дядя Коля в недавнем бурном
Под воздействием, скажем, чая
Вырезал из брусков скульптуры,
Но шедевра не получалось.

Неудачи росли мешками.
Занимали они полдома,
А друзья, над этюдом скалясь,
Превращались в разряд
знакомых.

И когда под покровом ночи
Фонари над рекой сгорали
Неудачи исчезли — впрочем,
И знакомых с собой забрали.

Оставался несчастный плотник
Простоватой картиной в раме
Среди сотен корявых копий,
В своём личном столярном
храме.

Правдой колкой и неприглядной,
Не предметом большого торга,
В пораженьях своих погрязнув,
Дядя Коля хотел бы сдохнуть.

Но всё так же стабильно
в будни,
Весь пропахший древесной
стружкой
Он строгал, представляя,
будто
Был как прежде кому-то нужен.

На поминках никто не плакал.
Вскоре вычистили квартиру.
А скульптуры снесли на свалку.
Хэппи-энда не будет. Титры

ХОТЯ ТЕБЯ ДАЖЕ НЕТ

Варя, Варенька, Варвара,
Длинная коса.
Я б тебя расцеловала
В сонные глаза.

Обняла родные плечи:
— Ну-ка не реветь!
Смотрит чудо-человечек,
Шепчет: «Мам, привет».

Дочка, слушай и запомни —
Мир совсем не прост.
То, что нас сегодня кормит,
Не запасы впрок.

Так уж вышло, мой хороший, —
Каждый за себя.

Небу — солнышко, а крошки —
Важным голубям.

Я спою тебе на ушко
Тысячи баллад.
Мама маленькой девчушкой
Как вчера была.

И нелепо семенила,
Юбку теребя,
Да заносчиво дразнила
Сверстников-ребят.

Шлёп резиновых сапожек
(Модные, в горох).
В поцарапанных ладошках
Мы несли добро.

Научу тебя я мерить
Лужи под дождём.
Только ты родись скорее.

Мама с папой.
Ждём.

ПАЗЛЫ

Пазл за пазлом — картина
в рамке
Как алмаз особой огранки,
Бриллиант в 23 карата
Остро режет житейской правдой.

Сотню пазлов сложили двое,
Посмотрели в окно на волю —
Сквозь душевное пулевое
Свищет ветер с безмолвным
воем.

В полумраке ночей бессонных
Разбросали в квартире ссоры.
Из-за плотно сомкнутых шторок
Не доносится разговоров.

Почему же так горько вышло?..
...Сотый пазл оказался лишним.

ИГРЫ КОСМОСА

Нам бы по лужам звонко,
и шёпот в ночи,
Нам бы касаться сердца
и тонких ключиц,
Только вроде «привет»,
а время летит:
— У тебя дети, у меня дурной
аппетит.

Помнишь крыши сонные во
дворах,
Помнишь Guns N'Roses до утра.
Теплота объятий твоих — мой
храм,
И она же мой затаённый страх.

Как тропинку ягодой не стели,
Не смягчится каменный
монолит,
Путь был долог, выхлоп,
жаль, невелик,
Делай то, что сердце тебе велит.

А пока, дружочек, давай
соврём —
Мы с тобою точно ещё споём.
Бог глядит насмешливым
воробьём
И украдкой в небо:
«Приём-приём».

БУМЕРАНГОВО

Собираясь в горошины, пот
катил.
Поменяли ладоши на кулаки.
Милый взгляд холоднее
сибирских зим:

Мальчик вырос и маме теперь
дерзит.

Непокорный вихор как немой
протест.
Он небрежно одет и слегка
нетрезв,
Лаунж-бар и борода —
приличный стайл:
«Обниматься не принято, мам,
отстань!»

Завиткам на макушке пора
редеть.
Прямо в центре однушка и
сын-студент,
Приезжал прошлым летом,
столичный фронт.
Редким встречам отец
безгранично рад.

— Позвони хоть разок, ты
куда пропал?
А в ответ: «Не сегодня, попозже,
пап».
Мальчик вспомнит ладошки,
в руке рука.
«Мам, прости», — в сердце
теплится старика.

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ

Боли фантомные
по незнакомому,
По неслучившемуся,
неразгаданному.
Как же найти тебя?
Этот рандомный мир
Не обладает такими картами,
Где обозначена каждая
трещинка,
Шрам на щеке и улыбка
ясная.

Голос в толпе мне порой
мерещится,
В каплях дождя проливаясь
фразами.

Я наизусть опишу твои родинки,
Запах узнаю родной вслепую.
Где же прописаны те методики,
Что скажут точно:
«Он существует?»

МЕШОК РАССКАЗОВ ДЛЯ ЮНЫХ СОЛНЦ

Проснёмся с первыми
троллейбусами,
Лениво щурясь в обрывках
снов.
Привычно чёлки взъерошит
рейсовый
Проказник — утренний ветерок.

Разбудим солнце улыбкой
ласковой,
Отправим миру дарить тепло,
И вновь по заговору негласному
Одним маршрутом без лишних
слов

Умчимся тайны дорог
разгадывать,
Секреты гор и шарады рек.
Охапка чувств станет нам
наградой,
А самой щедрой — счастливый
смех.

Смотри, луна норовит,
нахмурившись,
Узреть нарушивших звёздный
сон.
Мы ей оставим под низкой
тучкою
Мешок рассказов для юных
солнц.



**Сергей
МАКАРОВ**

*Резидент литературного
проекта «Другая среда».
Автор книги «Сизый дым», лау-
реат премии альманаха «Гости-
ный Двор» для молодых поэтов
«Чаша бытия».*

ПРО СЧАСТЬЕ

Я хочу накопить на счастье,
и поэтому я продажен.
Я торгую с отчаянной страстью
не талантом, не телом даже —
временем.
Неизвестно, сколько его
отмерено,
и все же...
Я его продаю и продаю дёшево
не потому, что никто не берёт
дороже,
не от щедрости или глупости.
Счастье — штука не из простых,
точной цены вам никто
не скажет,
и поэтому каждый продажен
на свой манер.
Вот я, например,
давно и надёжно счастлив,
но жизнь в современной системе
требует частых

материальных вложений,
и я продаю своё время,
оставаясь продажным.
А в глазах любопытных граждан
так же напрасно, как все,
я пытаюсь копить на счастье.

МОРЕ

Подбирается грусть незаметно,
Чуть касаясь песка волною,
Оставляя на камне пену,
Завывает тоскливо с ветром
Море, встрёпанное прибоем.
Начинает совсем не страшно,
Осторожно, неощутимо...
Так на берег бегут степенно
По волнам табуны барашек
Не спеша, и неумолимо.
А потом, разгоняя воду,
Под себя подгребает берег
Ненасытное злое море.
И забыв про свою природу,
Захлебнувшись огнём истерик,
Я всплываю в объятья боли...

ЗАВОД

Брошу всё, брошу, уйду на
завод —
Выели печень мою без остатка:
Прибыль, затраты, маржа и
доход,
Санкции, кризис, процентная
ставка,
Долг по зарплате, банкротство,
торги...
Ах, до чего же я экономист,
Если бы только быть кем-то
другим —
В красках иных заиграла бы
жизнь.

Там на заводе, под шум
цеховой
Знай себе делай запчасти
по плану.
Смену закончив, шагаешь
домой,
А не сидишь над счетами как
пьяный.
И не корпишь в бесконечной
тоске
Над буераком бессчётных
отчётов.
К чёрту журавль, сжав синицу
в руке,
Я ухожу на другую работу!
Как я спешил, как бежал
к проходной —
Вслед мне смеялись старухи
и дети.
Думал, сегодня жизнь станет
другой,
Мир представлялся мне
в розовом свете.
Но я застыл, словно вышел
завод.
Видно, судьбу изменить мне
без шансов —
Вместо завода пятнадцатый год
Шлёпками бойко торгуют
вьетнамцы.

ОСТАНОВКА

Пункт остановки маршрутного
транспорта —
Лучшее место для медитации!
Если, конечно, ты можешь
остаться,
Сесть и забыться, считая до ста.
Если способен за грохотом
улицы
Слышать движенья далёкого
космоса.

Рядом несутся машины,
 автобусы,
 И суетливые люди хмурятся,
 Рядом сверкают глаза
 светофорные,
 Щурятся злобно рекламой
 билборды...
 Ты возвращаешься к ритмам
 природы
 Под недовольными взглядами
 города.
 Каждая терция кажется
 вечностью,
 Каждая мысль — философской
 системой:
 Ты муравей, потрясённый
 размерами
 Города с именем Человечество.

ВЫВОРОТЕНЬ

В моей шкуре сегодня страшно:
 Пышет сердце сухим поленом,
 Пламя боли по рёбрам пляшет,
 Растекаясь огнём по венам,
 И тоска, словно ёж свирепый,
 Набежавший на запах дыма,
 Душу рвёт и зубами треплет.
 Эти чувства невыносимы,
 И я вывернулся наизнанку,
 Став горою парящего мяса.
 Без ежа и костра очень
 странно —
 Дух спокоен, а мир прекрасен...
 Взгляд прохожего бросил
 солью,
 Ранил душу змеиным жалом,
 И меня окатило болью,
 Обжигая лесным пожаром.
 И табун в сотню тысяч ежей,

Скаля зубы, топорщит иглы.
 И все раны от всех ножей
 Мне на спину легли, как стигмы.
 В моей шкуре сегодня страшно:
 Я свернул в себя мир
 добровольно
 И горю, наполняясь сажей,
 Но кому-то теперь не больно.

КИТ

Извини, дорогая, я опять был
 китом
 И носился по небу, пугая
 пилотов.
 Ну не плачь, я всегда
 возвращаюсь в наш дом,
 Возвращаюсь к тебе, забывая
 полёты.
 Ты мой якорь, ты держишь
 меня на краю,
 Не давая погрязнуть в пучине
 безумья.
 Мой маяк, моё солнце...
 Люблю ли? Люблю!
 Без тебя я подобен пчеле без
 улья.
 Улыбнулась, и сразу же стало
 светлее:
 Словно вырвались к солнцу из
 облаков!
 Жаль, что я никогда описать
 не сумею,
 Как холодные брызги с китовых
 боков
 Превращаются в яркие арки
 радуг,
 Чуть коснётся их ласковый
 солнечный свет.
 И как хочется мне, чтобы ты
 была рядом

Каждый раз, если небо окрасит
 рассвет.
Где ты? Что, я опять улетел?!
 Слушай, чайка:
— Встретишь грустную
 девушку на берегу,
Передай, через час пусть
 поставит чайник
Или нет, пусть не ставит...
 Вернусь к четвергу.

КРАСНЫЙ СЛОН

Сквозь закрытые ставни глаз
Просверлился в мой мозг сон.
Я в нём красный подводный
СЛОН

С ужасающим голосом зычным.
Просыпаюсь, а я обычный,
Заурядный, среднесписочный.
И на лбу моём бытом высечено
тавро.
Не согласен! Не буду! В колоде
Таро
Я на месте между Дураком и
Повешенным.
Красным выкрасит меня
бешенство,
И я стану большим, как тот
самый слон.
Что вы смотрите со всех сторон
глазами жабыми?
Зачем машете руками
загрebuщими, жадными?
Отойдите! Здесь будет
пожарище,
Я намерен сейчас же
поджарить всё,
Что роднило с такими, как вы!
Ну же, ртов разевайте рвы
И мечите точнее острозубых
слов топоры,
И бредите с петлёй на шее,
куда брели.

А я сегодня официально
Отказываюсь быть нормальным!
Ну и что же вы не кричите,
 убогие,
Камни лиц не кривите гневом?
Как со мной? По какой ещё
 торной дороге?
Как же? Таким табором —
 прямо в небо!
Эй, ладно. Долой петли с шей
И прокатимся факельным
 шествием!
Бог мой, что же творится теперь,
Если вокруг одни сумасшедшие...

Этот пятый месяц зимы мне
 порядком осточертел.
Я уже у черты, за чертой,
 на черте...
Вместо марта корпит и коверкает
 сны
Белоглазый Ноябрь, и прогноз
 на весну не сбывается.
В декабре он остался на чай и
 уйти позабыл.
Издевается, а я прячусь, как в
 панцирь,
В обломки себя и хочу с ним
 расстаться,
размыкать союз наш нечаянный.
Я не жду ни тепла, не весны,
 жду конца Ноября,
Только он все никак не случается.

Если сердечный жар сравнить
с жаром солнца,
Можно ли человека сравнить
с галактикой
Или солнца недостаточно
и сердце
Должно пылать как Бетельгейзе.

Обещая непременно взорваться,
Разукрасив чужое далёкое небо
Невероятным, неповторимым
взрывом?

Отблеск которого
Навсегда пустит корни
В головах людей,
Каждый из которых — галактика
С сердцем жарким, как
Свежепочившая Бетельгейзе.



Александра ПОЛОВИНКИНА

*Резидент литературного
проекта «Другая среда».
Студентка филологического
факультета Оренбургского го-
сударственного педагогического
университета (кафедра журна-
листики).*

ВНУТРИ

Расплачиваясь на кассе, она
улыбалась кассирше,
Уверенно отвечала: «Нет,
шоколад будет лишним»,
А я дрожала в углу её грудной
клетки,
Мне было страшно, я хотела
с прилавка конфетки.

Она захлопнула сумку, изящно
взяла пакет,
Охранник так странно смотрел
ей вслед.
Мне снова страшно, охранник
такой взрослый,
Она споткнулась, ссутулилась,
наверно, стесняясь роста.

Я робко прижала коленки
свои к подбородку,
Она поёжилась: «Чёрт, ну и
погодка».
Спускаться по лестнице стала,
неверно шагнула,
Каблук зацепился за что-то,
прошипела: «Какая дура».

Мне стало стыдно, я чувствовала
себя виноватой,
Она пожалела, что отказалась
от шоколада.
Дошли до подъезда, у входа
толпа подростков,
Я затряслась, я родилась в
конце девяностых.

Она открыла дверь почему-то
дрожащей рукой,
— «Здравствуйте», — к ней
обратился один, высокий такой,
Я растерялась, такие большие,
с ней говорили на «вы»,
Она им кивнула: «Привет»
голосом бодрым и боевым.

Быстрее в подъезд, подняться
на наш этаж,
Закреть дверь на ключ, снять
обувь, стереть макияж,
Одеться в домашнее,
калачиком — на диван,
Я буду требовать мультиков,
она — искать детский канал.

ЛИСИЙ БОГ

Ты мой белый лисёнок, я твой
рыжий лисёнок,
Мы друг друга встречали в
виденьях и снах.
Лисы прячутся в чащах, лисы
прячутся в норах,
Лисы прячутся в рыжих моих
волосах.

Ты послушный ребенок, ты
хороший и скромный,
Ты умеешь мечтать и умеешь
юлить,
Я испуганно жму к себе хвост —
мир огромный,
Мир опасный, готовый меня
изловить.

Мы по древним тропинкам,
по лесам и болотам
Век искали друг друга, и тогда
глупый нюх
Находил нам кого-то, но
случалась охота,
И охотникам нужен был наш
лисий дух.

Мы бежали со страху, мы
бежали по снегу,
Мы летели по небу,
не чувствуя ног,
Мы почти потерялись,
разбрелись по планетам,
Нас сегодня нос к носу
столкнул лисий бог.

ИСПАНСКИЙ БОЙ

По струнам гитарным плясали
пальцы,
Алый цветок в волосах горел,

Ты был похож на сеньора-
испанца,
Я — на цыганку-смутьянку
Кармен.

По тонкой талии скользили
ладони,
Костёр обжигал поцелуями
тьму.
«Все безразлично, все тленно,
кроме
Губ этих алых, без них умру».

Проволока чёрных кудрей на
плечи,
Алое в алом не разглядеть,
Звёзды — свидетели нашей
встречи,
В жарком аду мне сулили
сгореть.

Утро по векам рассветом
багровым.
Угли дымились. Погасший
огонь.
Алый цветок стал чёрным,
бескровным.
«Донна моя, собирайтесь домой».

КРУЖКА ЧАЯ

На дне сколотой чашки
частички чайной пыли,
Это не чай, только жалкая его
имитация,
Былинки эти просто налетом
на листьях были,
Что смуглые руки срывали с
горных плантаций.
Взяли зелеными, нежно
убрали в корзины,
А дальше вспомнить бы, как
все это закрутилось,
Листья делили, мельчили до
жалких крупинок,

Слишком много месяцев или
лет
Оставляла я куклу совсем одну.

И она разучилась меня
понимать,
Только взглядом стеклянным
сверлила пол,
Я тогда ее бросила на кровать
И покинула свой одинокий дом.



**Елизавета
КУРДИКОВА**

Член литературного объединения им. С. Т. Аксакова. Автор книги «Диагональ смятений». Лауреат Всероссийской пушкинской премии «Капитанская дочка» во II номинации.

СЕРДЦЕ

Чёрною нитью вселенской боли
Вплетаюсь в судьбу твою,
Сердце моё — бескрайнее поле,
Преданное огню.
Доблесть и стыд — роковая
ноша,
Ноши прекрасней нет,
Над пепелищем метёт пороша,
Застится белый свет.

Я у тебя ничего не просила,
Лишь умоляла: «Будь!»
Ты моё сердце и ты моя сила,
Воздух в юную грудь!

Но не приемля слепую жалость,
Горя сотрёшь черты.
...Как умирало ты и рождалось,
Как полыхало ты!..

Устало солнце клонится всё
ниже,
Ты с каждым днём болишь во
мне сильней!
В пустые разговоры о Париже
Вплетается ковыльный дух
степей!

Конец июня... Господи, ужели?
Летит дорога вдаль и напрямик,
Густая сочность летней акварели,
Стрижей игривых над полями
крик.

Усталый аромат степного чая,
Горит полынь, летит по ветру
прах!..
Я с каждым днем всё больше
замечаю
Твои мотивы у себя в стихах!

Ты уходишь — я смотрю,
Пелена туманит очи
Посреди бескрайней ночи
На потеху фонарю.
Ты уходишь, стынет даль,
С места тронулся автобус.
Жизнь бежит, кружится глобус —
Бесконечная печаль.

Когда от горя я не вижу света
И безутешна в скорби и тоске,
Вручи меня Владычице

Всепетой.

Мой дом нетвёрд на огненном
песке.

Восстав от сна, в час
предрассветный, тихий
Молюсь о тех, кто был со
мною в пути.

Через века, сквозь ледяные
ветры

К Престолу наши души
возведи.

* * *

По Окаванго, вниз по Окаванго
На остроносой лодке мокоро,
Где травы дикие отплясывают
танго

И звери прячутся за грубую
кору.

По Окаванго, через злую чащу,
В непроходимые, забытые леса,
Где каждый камень создан
говорящим,
Где поит землю горькая роса.

По Окаванго вниз, желая чуда,
На остроносой лодке мокоро,
Где слышится печальный
вздых верблюда,
Где страус потерял своё перо.

ГРЕЧЕСКИЙ ГЕКСАМЕТР

Ветер осенний качает вершины
деревьев у дома.
Птицы кружатся, как в
детстве, пронзительный крик
их страшнее.

Ласточкой белой лечу в твои
тёплые страны, любимый,
Снова и снова зову тебя к
ясному тихому солнцу.

Только услышишь ли крик
мой, неведомый голос узнаешь?

Чтобы не ранить мне крылья,
не биться об острые камни,

Те, что когда-то живыми
сердцами людей назывались.

Я долечу и без чувств стану
падать на землю чужую,

Ты удивишься и примешь в
ладони усталую птицу.

Вот мы теперь и увиделись,
друг мой, и встретились даже.

Только скажи мне скорее:
конец это или начало?

* * *

Помолись, чтобы отсветы
виделись ярче

Ледяных, неизведанных,
манящих звёзд.

Будто слышится, кто-то
по-детски здесь плачет,

Кто-то звуки знакомых молитв
произнёс

На разрушенной паперти
древнего храма...

У алтарной стены, что незримо
видна,

В благовониях греческого
фимиама

Тихий ангел стоит у резного
окна.

И столетья прошли, и метели,
и годы

Откружились своей чередой
беспокойств.

Только радость небесной,
 священной свободы
 В том, кто душу свою над
 землёй превознёс.

Колокольные звоны Великой
 России,
 Сердце снова трепещет, ликуя
 в груди.
 Вижу свет бесконечно-глубокий
 и синий,
 Очертание вижу креста впереди.
 Помолись, чтобы отсветы
 виделись ярче
 Ледяных, неизведанных,
 манящих звёзд.
 Каждый день уходящий для
 нас что-то значит,
 Кто-то звуки знакомых молитв
 произнёс.

* * *

*«От Лица Твоего судьба моя
 изыдет...»
 (Псалом 16)*

Только ангелы знают небесные,
 Что мой путь от Господня
 Лица —
 Это пение, звоны воскресные
 Сердце будет хранить до конца.
 Всем святым помолюсь, Деве
 Чистой,
 Непорочной на грешной земле,
 И декабрьскою полночью
 мглистой
 Солнца свет загорится в окне.
 Как печальна земная обитель,
 Как прекрасна в своём
 торжестве,

Говорил мне мой ангел-хранитель
 В самом лучшем земном моём
 сне.

СОЛНЦЕ

Время поворачивает вспять
 Прожитые мной когда-то годы,
 И становится опять легко
 дышать,
 Улеглась на сердце непогода.
 В растворённом пасмурном
 окне
 Силуэт растерянный увижу,
 Выйдет солнце в огненном
 вине,
 На мгновение опустившись
 ближе.

И сожмётся сердце от тоски,
 От того, что слишком горька
 Вечность,
 Что шаги у смерти так легки,
 Так красива жизни
 быстротечность.

* * *

Огнём неопалимой чаши Слова
 В последнее мгновение напои...
 «Кто на земле не обретает крова,
 Со мною ныне будете в раи».
 И снова я иду к Тебе навстречу
 С двенадцатиевангельской
 свечой,
 Через века, туда, где время —
 Вечность,
 Сквозь дождь и ветер, и
 палящий зной.



**Сергей
САЛДАЕВ**

Поэт-пародист. Печатался в альманахах «Баиня», «Чаша круговая», «Большая Медведица», «Гостинный Двор». Автор нескольких книг. Член Союза российских писателей. Живёт в Оренбурге.

ЕВГЕНИЙ ЧИГРИН

...открою рот — иллюзии
плывут,
Закрою зенки — контур
Тадж-Махала,
В небесном примесь нежного
опала.
Во рту кунжут, под вывеской
верблюды.

СЕРГЕЙ САЛДАЕВ

Закрой глаза — открой рот

Глаза закрой — фантазии
 снуют:
Вот облик нежной девы из
 Непала,

Дуреха славная купила
опахало —
Изысканный восточный
атрибут.
Читатели вокруг кунжут
жуют
(Закутаюсь получше
в одеяло),
Иллюзия верблюдом
провоняла
В гостинице, где выпить
не дают.

АЛЕКСЕЙ ОСТУДИН

[illegible]

СЕРГЕЙ САЛДАЕВ

Красота – хорошо, но штык – молодец!

Нас всех удивил командир
Достоевский —
Мол, штык, он всегда молодец,
Но «дура» всегда посчитает
нарезки,
И миру приходит трындец.

Осталось ли слов на предмет
 разговора,
С цитатами всё нелады?
И как предсказал стихотворец
 суровый,
Тапереча всем до балды.

А. ПЕРМЯКОВ



Владимир ШЕМШУЧЕНКО

НО СТОИТ КРЫМСКИЙ МОСТ

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 г. в Караганде. Окончил Киевский политехнический институт, Норильский индустриальный и Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей России, Союза писателей Казахстана. Автор 13 книг стихов. Награждён медалями Ф. Тютчева, В. Шукшина. Лауреат целого ряда международных и всероссийских премий, в том числе премий журналов «Наши современник», «Москва» и др. По итогам II открытого Всероссийского конкурса поэзии в доме-музее И. Северянина назван «Королём поэтов». Главный редактор Международного литературно-художественного журнала «Всерусский соборъ» и газеты «Небесный всадник». Заместитель шеф-редактора «Литературной газеты». Живёт во Всеволожске.

Тише рыбьего дыханья,
Легче трепета ресниц —
Скорой смерти ожиданье
Сходит с блоковских страниц...
А вокруг все лица, лица
С волосами до земли,
Журавлиные синицы
И синичьи журавли,
На златом крыльце сидели —
(Здесь зачеркнуто...) Гляди
На бушлаты и шинели!
Хлеба дайте! Проходи!
Робы, блузы, платья, спины,
Маски, кепки, колпаки,
Свечи, фонари, лучины,
Проститутки, кабаки...
Кто поёт, кто матерится —
Власть издохла! Вот те на!
Тут — шампанское искрится,
Там — штыки и стремяна...
Карнавал! Гуляй, людишки!
День последний! Судный день!
Ничего теперь не слишком!
Никому сейчас не лень!
Отойти! Остановиться!
Руки разбросать! Не тронь!

Ты зря топор заносишь
 надо мной —
Я тень твоя, а солнце высоко...

Позарастала жизнь
 разрыв-травой.
Мы в простоте сказать не
 можем слова.
Ушёл, чтоб не нарушить наш
 покой,
Безвестный гений, не нашедший
 крова.

Как в ржавых механизмах
 шестерёнки,
Скрипят стихи — поэзия мертва.
Мы днём и ночью пишем
 похоронки
На без вести пропавшие слова.

Прилетел ветерок, и проснулась
 волна на лимане —
Вроде так, пустячок, ведь
 бывало такое не раз...
Но стоит Крымский мост и
 морзянит огнями в тумане,
И на этом вполне можно было
 закончить рассказ.

Но мерцает строка, за стальные
 цепляется свай,
Перебранкой машин подтверждая
 рождение своё.
Теплоходик надсадно кричит и
 как будто взлетает,
И солёную воду винтами
 железными бьёт.

Разгорается день — на вчерашний
 совсем не похожий,
Приближая друг к другу
 влюблённые в жизнь берега.
И представить нельзя —
 можно только почувствовать
 кожей,
Что уже невозможно чужим
 поклоняться богам.

Так ликуй, человече! Ты смог,
 ты дерзнул, ты — достоин!
Говори в полный голос и полную
 грудью дыши!
Если инок — молись! Матерей
 защити — если воин!
Но дострой свою песню — иному
 сего не свершить!

СТАРЫЙ КРЫМ

Синее, синее, синее —
Из невозможных глубин...
Береговая линия,
И Александр Грин.
Что-то ещё... По осени
Солнце не жжёт, как оса.
У разбитной Феодосии
Рыжий каштан в волосах.
Вечер. Погодка купальная —
Пристань, кефаль, невода...
Не акварелька астральная —
А с огоньками вода.
Что-то ещё... Ранимое...
(Слышишь, как сердце стучит!?)
Грустное... Неповторимое...
И наизусть заучить!

Петь не умеешь — вой.
Выть не умеешь — молчи.
Не прорастай травой,
Падай звездой в ночи.
Не уходи в запой.
Не проклинай страну.
Пренебрегай толпой.
Не возноси жену.
Помни, что твой кумир —
СЛОВО, но не словцо...
И удивленный мир
Плюнет тебе в лицо!

* * *

Дождь походкой гуляки
прошёлся по облаку,
А потом снизошёл до игры на
губе.
Он сейчас поцелует не город,
а родинку
На капризно приподнятой
Невской губе.
И зачем я лукавую
женщину-осень,
С разметающейся гривой
роскошных волос,
Ради музыки этой безжалостно
бросил,
Чтоб какой-то дурак подобрал
и унёс?
Я по лужам иду, как нелепая
птица,
Завернувшись в издавшее
виды пальто.
Этот сон наяву будет длиться
и длиться...
Из поэзии в жизнь не вернётся
никто!

МАРИНЕ

Растолкал облака ветерок.
В небе солнышко — мордочка
лисья.
Прилетели ко мне на порог
Опалённые инеем листья.
Сгрёб граблями — чего их
беречь —
Отгуляла пора листопада!
Я хотел эти листья поджечь,
А жена мне сказала: «Не надо...»

Лист озябший согрела в горсти
И поправила чёлку рукою,
А в глазах отразилось такое,
До чего мне вовек не дойти...

Хандрит отрывной календарь.
На стёклах раскосые знаки.
По улице ходит ноябрь
С глазами бездомной собаки:
То снежной крупой огорчит,
То хлопнет в трубе водосточной,
То в вечность стихи отстучит
Размашистой дятловой строчкой
О том, что рябину давно
Склевали залётные птицы,
Что воздух пьянит, как вино,
И нужно уже торопиться
Цыплят на досуге считать,
Счета получая в конверте,
Заваривать чай и молчать,
И верить, что звёзды ответят.

ПОЛИНА

3 апреля 2017 года был совершен террористический акт в Петербургском метрополитене

Не жар-птица в Неву уронила
перо,
Не сошла на прохожих небесная
манна —
В Петербурге у нас подорвали
метро.
Рана!

Телефон, как змея... Он ужалить
готов...
Сердце лопнет сейчас от
малейшего звука...
Позвони! Хоть дыханье услышу
без слов.
Мука!

Пальцы, как не мои...
Длинный, длинный гудок...
Вечность тянет своё
в исполнении сольном...
Никогда еще не был я так
одинок.
Больно!

Телевизор безжалостно ходит
по мне,
Тычет в душу, в глаза —
крики, слёзы и стоны.
А в ушах, как стеклом по железу,
лишь — «...вне зоны...»

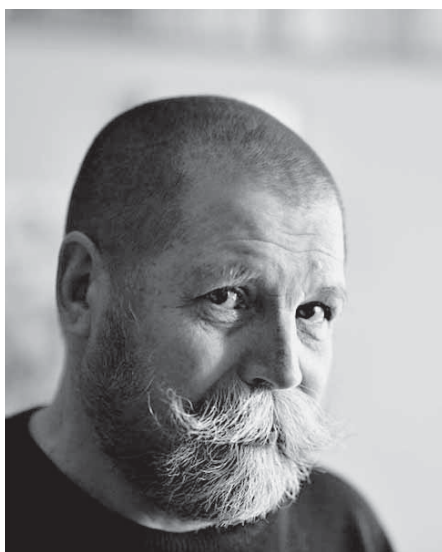
* * *

Я просыпаюсь. Мой костер
погас.
Лишь уголёк в золе едва мерцает.
Звезда, сгорая в небе,
созерцает
Меня и этот мир в последний
раз.
Трава в росе. Выходит из тумана
Осина и чуть слышно шелестит.
Повремени... Прошу... Ещё так
рано...
Ещё дорожка лунная блестит.
Ещё волна песок не разбудила,
И чайка не расправила крыло,
И тайну мне ромашка
не открыла,
И воду не тревожило весло.
Ещё чуть-чуть... Настраивают
скрипки
Кузнечики... К травиночке-струне
Прильнула нотка маленькой
улитки...
А я её не слышу в тишине.
Ещё мгновенье... И среди
ветвей
Защёлкает, раскатится, зальётся,
Вступая из-за такта, соловей,
За ним другой... И рассмеётся
солнце!
О, утро, несравненный музыкант!
Как можешь ты рождать такие
звуки!
В отчаянье заламываю руки...
Вот мне бы на секунду твой
талант!

РЕЧКА

Осязаемо, грубо, зримо,
Разбивая в щепу стволы,
Мимо скал, поселений мимо,
Завязав ручейки в узлы,
Раня пальцы о край небосвода —
(Зачерпни — обожжёшь лицо!),
Сквозь закаты и сквозь восходы,
Свозь сознание — в конце концов! —
Как с мальчишкой со мной играя —
(Вся полёт — боль её легка!),
Ускользает, смеясь, босая —
Неслучившаяся строка...





Арсен ТИТОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Главы из романа

Арсен Борисович Титов родился в 1948 году в Башкирии. Окончил исторический факультет Уральского государственного университета. Автор 13 книг прозы. Сопредседатель Союза российских писателей, сопредседатель Ассоциации писателей Урала. Лауреат Всероссийских премий им. П. П. Бажова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, литературной премии «Ясная поляна» в номинации «XXI век» за трилогию «Тень Бехистунга» (2017). Живёт в Екатеринбурге.

ГЛАВА 13

Через Буркова был сделан запрос в Нязепетровск о семье сестры Маши. Оказалось, после запрета всех земских учреждений Иван Михайлович был арестован, но до перевода в Челябинскую тюрьму находился в местной каталажке. Семья была без средств. Бурков попытался поговорить с Пашей Хохряковым.

— А что по мелководью ходишь? Давай сразу ходатайствуй за Николашку Романова! — оборвал Паша и потом, на штабном совещании, не называя Буркова, пригрозил самыми жесткими революционными карами в отношении тех, кто проявит в отношении уничтожаемого класса снисходительность и мягкотелость.

— Вы меня знаете! — объявил он. — Я разговариваю коротко! У меня просто: «В

следственную комиссию. Центральный штаб Красной гвардии препровождает к вам такого-то за то-то. Вместе с ним отсылаю свидетеля товарища такого-то». А свидетелей у меня почему-то — один Фома Гуня. Наивернейший свидетель. Так что заранее ищите себе верёвку на шею!

Таким был ответ нашего властелина, нашего Дария Ахеменида с бехистунгского барельефа, встречающего мятежников с сими верёвками вокруг шеи.

Я сказал, что сам поеду в Нязепетровск. Бурков удержал. Иначе меня как офицера, находящегося на особом учёте в «совете», обыкновенно постановили бы считать вне закона, что влекло за собой только расстрел. Поехал Иван Филиппович. Продуктов мы собрали точно по разрешённой норме. Хотя что это было для семьи и для передач Ивану Михайловичу! Но из опасения, что отберут, больше послать мы не рискнули. Деньги Иван Филиппович зашил в валенки. Вернулся он в слезах. Сестра Маша с детьми жила в одной комнатке. Остальной дом был разграблен после ареста Ивана Михайловича и заселён неизвестно кем. Но оставлять Ивана Михайловича и перебираться к нам сестра Маша не захотела. И остаться у неё Иван Филиппович не смог. Лишь он приехал, явно по доносу заявили толпой

местные боевики, как было сказано, для выяснения его личности на предмет контрреволюции. Попутно они ещё раз обшарили комнату Маши. Ивану Филипповичу были предложены два варианта на выбор — или тотчас убираться, или оставаться, но с препровождением в арестантский дом.

— Гнали меня до самой станции, что я и оглянуться боялся! — делился Иван Филиппович своей горечью. — Как оглянусь, думаю, так они меня штыками-то затычут! Свои валенки я Марии Алексеевне оставил и только-то шепнуть успел, что в подошвах николаевки зашиты. А обувь-то пришлось уж то, что Мария Алексеевна подала. Как они сказали про арестантский-то дом, да как штыками-то взлязгали, тут я перепаратился и уж думать-то осёкся! Обулся — да в двери!

Я едва не разревелся, представив сестру Машу и детей в таком положении. Чтобы сдержаться, я привязался к слову Ивана Филипповича «перепаратился», будто раньше его не слышал.

— Что, что ты сказал? Перепаратился? — спросил я.

Иван Филиппович не увидел моего афронта.

— А кто бы не перепаратился! Евон, как бердану-то навели, так я, грешный, того... — в прежней горечи сказал он.

— Да что такое, Иван Филиппович? — пристал я к старику.

— А тебе прямо при барышнях всё и скажи! — зыркнул Иван Филиппович на Анну Ивановну.

— А что Анна Ивановна! И она не знает такого слова! — не отставал я.

— Ну, как вы там меж собой, господами, величаетесь, нам где уж, а только по-нашему-то это будет, — он опять коротко взглянул на Анну Ивановну, — только это будет, что, прошу прощения, чуть в подштанники не нафурил! — как-то обреченно выпалил Иван Филиппович и, верно, полагая, что я спрашивал его с целью осудить или поднять на смех, в оскорблении задрал подбородок. — Да! истинный Бог! А о вас же, о лоярах несметных, думал! Мне бы о Марии Алексеевне с детками да об Иване Михайловиче невинном подумать! Или уж там, как ни есть, о себе подумать! А я сразу подумал: «Заберут меня, притащат в околоток и тут же телеграфом сюда, в совет, дадут, кто я и откуда. А тут глянут по бумагам. А в бумагах — хватить. В бумагах — офицер!

— Да спасибо, Иван Филиппович! Ты же у нас обыкновенно молодец! — коротко обнял я его за плечи, а горло моё дрожало из последних сил, чтобы не выдать мой голос.

Да, март был светел и чист, но безудержно наплывало, говоря иносказанием, отсутствие

трехсот городских и всероссийских золотарей, готовых смести осенние и зимние нечистоты.

После рассказа Ивана Филипповича я ночь напролёт думал, как мне вызволить сестру Машу. И ничего я иного не надумал, как ехать самому. И ещё я надумал после этого пробираться если не к атаману Дутову, то на Кубань или Терек, полагая и там, и там найти своих сослуживцев. Всю ночь короткими и смешанными воспоминаниями, то перекрывающимися одно другим, то идущими по порядку, я был с ними, своими сослуживцами, своими друзьями и всю ночь летел к ним, как из глубин неба, враз видя под собой и наш Екатеринбург, и Нязепетровск, и оренбургские степи слева, и нашу бельскую дачу справа, и размытые далью приволжские равнины, калмыцкие степи и разбегающиеся в разные стороны Терек и Кубань. Я видел и генерала Мистулова с моими батарейцами вплоть до Касьяна Романовича, видел всех кубанцев с моим Василием Даниловичем Гамалием во главе, видел улыбающиеся сквозь очки и любящие меня глаза Коли Корсуна, генерального штаба капитана. И за ними, совсем в голубой дали, за персидскими кряжами, за Бехистунгом с его символом победы над мятежом, я видел

себя и видел весенний, цветущий гранатовый сад, заросший высокой крапивой, видел Элспет с маленькой девочкой.

Ночью всё казалось выполнимым. А утром во всей очевидности встала мне вся зрящность моих грёз. Ивана Филипповича просто обругали да прогнали. Меня бы просто расстреляли где-нибудь при выгребной яме. Ехать к сестре Маше можно было только с соответствующим документом. Попыаться его взять можно было только у Миши Злоказова. После его выстрела и последующего пребывания, как выразился адъютант Крашенинников, в разобранном виде, он несколько дней не подавал о себе вестей, а потом вдруг объявился телефонным звонком в парк и плохо скрываемой под шуткой претензией на моё небрежение его обществом. Я не стал ему говорить ни о выстреле, ни о высказанной чёрной зависти ко мне, ни об оскорбительном поведении его по отношению к Анне Ивановне. Так говорить мне было стыдно — всё-таки он был другом. На мой тон он надулся. Я посчитал наши отношения законченными. Но пришёл Серёжа Фельштинский, долго мялся, а потом сказал, что у них с Мишей был непонятный разговор, и Миша его оповестил о моём сотрудничестве с Пашей Хохряковым, каким-то образом

вызвав о моём аресте и освобождении. Я увидел, как Серёжа просто жаждал опровержения. И я улыбнулся Серёже. Что-то говорить я посчитал стыдным. Серёжа в единый миг мне поверил и не смог не сказать, что Миша требовал от него прекращения дружбы со мной. А я вспомнил вспыхнувший блеск в глазах Миши при моих словах о парковых лошадях, заставивший меня отметить в Мише потомственного заводчика. Воспоминание об этом блеске высветило мне разницу в образе мышления и деятельности его класса и моего класса, прежде плотно закрытую дружбой. Я вдруг понял, что не было дружбы, а было только детство.

Но пойти к Мише мне предстояло, как это ни было подло. И я пошёл.

В его писарской он был один. Я увидел, как напряглись его глаза.

— А, да, да! Борис Алексеевич! — приветствовал он меня.

«Чёрт с тобой! Только помоги!» — сказал я в мыслях и попытался состряпать из своей рожи зефирное пирожное.

— А, да! Проходи! Как там у вас? Как Анна Ивановна? Что-то долго ты не заходил! Сейчас чаю соорудим, или, как там у вас, у военных, чаю построим! — стал скороговоркой частить невпопад Миша, ибо, какими бы ни были мы, военные, в глазах пиджаков

и шпаков, чай всё-таки мы не строили.

— Миша, мне надо из Нязепетровска взять сестру Машу! — сказал я.

— Нда! Из Нязепетровска! — будто прочищая нос, стал хмыкать Миша, оставил стол, характерно пригнувшись и подавшись вперёд, гордо подняв голову, стал ходить мимо меня, каким-то невероятным образом напоминая Понтия Пилата с картины Николая Ге, не фигурой, не позой напоминающая, а чем-то внутренним, чем-то таким, когда около фигуры, около позы осязаемо витает осознание своей власти, своей правды, упиваемость этой властью и этой правдой. — Из Нязепетровска, из Нязе-хм-Петровска! Хм! Из какого-то городишки! Кстати, как она там? — не взглядывая на меня, на миг остановился он, верно, так полагая, что эта остановка должна как-то его высветить, сказать мне о нём что-то значительное, а обо мне самом сказать что-то то самое подлое, что гнездилось во мне спокон веков, что он видел во мне, но волею судьбы и дружбы принужден был терпеть. И, верно, он думал, что он в этот миг необыкновенно величественен.

«Да уж хорошо, уж пусть будешь величественен!» — стал я говорить в мыслях и стал мерзок себе за эти мысли, ведь все-таки Миша был другом.

— Кстати, как она там? —

спросил Миша и снова пошёл мимо меня, какой-то наклоненный, прячущий глаза, но пытающийся быть значительным и пытающийся показать мне мою незначительность. — Да, да, Нязе! Нязе! Из князи да в Нязе! — и мне показалось, ему очень хотелось припомнить, вспомнить какую-нибудь обиду, нанесённую мной ему, которую я сроду не наносил. — В Нязе, в Нязе! В это безобрази! — некой рифмой сказал он и снова остановился около меня. — А ведь по всей стране безобрази! Ты заметь, не безобразие, а именно безобрази, вот так, с оборванным окончанием, как с оборванным хорошим исходом для всех нас! И кто его породил? Кому оно было нужно? И как нам теперь быть?

— Никак не быть, Миша! — в нарастающем раздражении сказал я.

— Хм, верно! Верно, господин ваше высокоблагородие! Именно никак не быть! Именно нас они приведут к этому — никак не быть! Хм, да, да! А ты — Нязе! А вот бы им по шмази! — воодушевлённо и одновременно затравленно выкрикнул он.

— Хорошо. По шмази, Миша! — поддакнул я и спросил, может ли он выхлопотать мне разрешение отбыть на несколько суток в Нязепетровск.

— Ха, ха! В Нязепетровск. Именно туда и никуда иначе! — захмыкал он, опять будто прочищая нос.

А я вспомнил его рассказы про каких-то Сабашниковых с Волошиными, про какого-то австрийского самозванного пророка, и мне представилось, что Миша там вот так же себя вёл, так же суетливо, скрыто зло и с чёрной завистью к этому Волошину и с чёрной страстью к его жене Сабашниковой. Отчего-то мелькнул давно забытый Наполеон, мелькнула серая картина наката серых морских волн на серый берег и спутанное волнами многоцветье одежд пяти тысяч расстрелянных сим властителем полумира египетских мамлюков. Надо было бы мне уйти. Но иного случая, чтобы поехать к сестре Маше, у меня не было.

— Миша! Разрешение, увольнение, мандат, предписание — какой-нибудь документ у начальника гарнизона ты можешь мне выхлопотать? — не сдержался вскрикнуть и я.

— Ха, ха, Борис Алексеевич! А не в Верхнеуральск ли, в логово Дутова, тебе надо, а? — зашептал и засверлил меня злыми и будто даже скупыми, хотя как можно было применить к глазам это определение, но какими-то скупыми глазами засверлил меня Миша.

— Так нет? Не можешь? — спросил я.

— А ты на меня не кричи, ваше высокоблагородие! Я думаю не о каком-то прощелыге Дутове, не сумевшем там чего-то. Я думаю о тебе, Боря,

и я советую тебе никуда не ездить, никаких документов не просить, ни в Нязепетровск, ни в Тьмутаракань, ни к японскому микадо! Всё! Идите служить, ваше высокоблагородие! — сел за свой стол Миша.

Я зло пошёл вон.

— Как там барышня Анна Ивановна? — услышал я уже через дверь и, совсем, как он сам, хотя и мысленно, завернул ему кукиш.

Во дворе меня встретил адъютант Крашенинников.

— От друга сердечного? — спросил он с широкой улыбкой и предложил прогуляться.

Этакое пиджаковое и шпакковое панибратство едва не заставило меня по старой доброй привычке велеть доложить по команде о несоответствующем его поведении в отношении к старшему. Но пришлось ограничиться тем же мысленным кукишем, но уже в отношении себя, в отношении своего ничтожного положения.

— У Миши неприятность! — сказал Крашенинников. — Его притягивают к лошадиному делу вашего бывшего начальника и объявляют едва не в контрреволюцию. Ваш бывший начальник что-то показал на него. Да ещё вышел декрет о национализации. У них отбирают дом под тюремное помещение. Самой тюрьмы становится мало. Миша в последнее время какой-то сам не свой, какой-то чёрный!

— Простите. Ничего этого я не знал! — не оставляя мысленного кукиша, сказал я.

— Между вами ничего не произошло? — спросил Крашенинников.

— Решительно ничего, — с неохотой сказал я, опять подавив желание поставить Крашенинникова на место.

— Да! А вы почему не отъехали вместе с Хохряковым? — спросил он.

— Что это значит, поручик? — взорвался я.

Крашенинников в недоумении взглянул на меня.

— Борис Алексеевич! — быстро сменил он недоумение на укоризну, а я от бессилия, едва не плюнул под ноги, как какой-нибудь революционный нижний чин. — Что вы, Борис Алексеевич! Так ведь и угодить кое-куда можно! — снова укорил меня Крашенинников. — И вообще, давайте начистоту. Я знаю, кто вы. Миша мне сказал. Мы с Мишей знакомы с детства. Наши отцы были в хороших отношениях. Мой отец был инженером у них на Арамильской фабрике. Я знаю, кто вы. И ещё кое-кто знает. Я не имею в виду этого вашего вятского флотского. Вы боевой штаб-офицер. И я прошу прощения за мой тон. Но вам необходимо привыкнуть. Так вот, о вас настоящем знает ещё кое-кто. Я не имею права называть. Но скажите прямо, что вас связывает с этими не

ходившими по морям кочегарами, ни разу никого не лечившими фельдшерами и зубными техниками? Я имею в виду этих Пашу, Янкеля и Шаю?

— Поручик! — снова взбесился я.

— Вы должны сказать. Для вас это вопрос жизни и смерти! — остановил меня Крашенинников. — Согласитесь, одно дело погибнуть на фронте, как герой, и другое дело быть убитым по подозрению. Я ещё раз прошу прощения! Этим вопросом я рискую попасть в руки только что названных негодяев, которые, в свою очередь, тоже...

Что там имел в виду Крашенинников, говоря о «своей», то есть «их», Паши Хохрякова, Янкеля Юровского и Шаи Голощёкина, очереди, я не дал ему сказать.

— По последней должности я инспектор артиллерии Первого Кавказского кавалерийского корпуса, — медленно и зло стал говорить я. — В сентябре прошлого года я был Временной сволочью, как мы называли Временное правительство, произведен в полковники. Но я этого производства не принял, остался в законном, данном мне законной властью чине. Я думаю, вы этого не знали. Месяц спустя, я был уволен от службы корпусным ревкомом за отказ войти в их сие преступное сообщество. Полагаю, что был уволен, а не застрелен

только потому, что со всеми без разбора чина и положения я был в ровных и честных отношениях. И подозревать меня можно только по причине нынешнего всеобщего душевного заболевания!

— Простите меня ещё раз! Признаюсь, я Мише не поверил! Но я обязан был спросить! Это было необходимым условием! — жутко покраснел Крашенинников.

— Чьим условием? — спросил я.

Крашенинников замялся.

— О каком отъезде Хохрякова вы говорили, поручик? — потребовал я.

— Об отъезде его в Тобольск. Я полагал, вы знаете! — переживая стыд за свои подозрения, робко сказал Крашенинников.

— Задача отъезда! — потребовал я дальше, а сердце уже захлебнулось беспорядочностью работы, и что-то угнетающее надавило мне на плечи. В Тобольске был государь император с семьей. И что-то должно было там произойти, чтобы Пашу Хохрякова оказалось необходимым отправить туда.

— О задаче я ничего не знаю, Борис Алексеевич! — едва не под козырек доложил Крашенинников.

— Миша из тех людей, которые ставят мне какие-то условия? — продолжил я требовать.

И далее я слушал Крашенинникова, что Миша не из тех

людей, что Крашенинников не знает, кто на самом деле Миша, что он ведет себя так, будто за ним стоит какая-то сила, — я слушал Крашенинникова, но меня мало занимало все услышанное. Меня занимал один вопрос — что надо Паше Хохрякову в Тобольске. И сама по себе всплыла какая-то прочная, будто даже заскорузлая и стыдная неприязнь к государю императору. Зачем нужны были наши жертвы на войне? Для какой высшей цели нужны были наши жертвы сейчас? Только во искупление сумасшествия прошлогодних февраля и марта? Но если некто сволочь унтер Кирпичников, как говорили, начал революцию своим выстрелом в своего батальонного командира в тыловом Питерском гарнизоне, если её начали некто Львов-не-Львов, некто Пуришкевич-не-Пуришкевич, Родзянко, начальник штаба Верховного Алексеев и прочие все командующие фронтами — да кто угодно, какое же отношение имели к этой революции мы, серая скотинка солдаты? И почему мы, именно мы должны были теперь искупать их сумасшествие?

Так вот я встал во внутренней расшараге и кое-как выбрался из неё, вспомнив, что мне надо решить вопрос о Маше.

— Поручик! — сказал я Крашенинникову. — Мне необходимо вывезти из Нязепетровска

семью сестры Маши. Можете ходатайствовать обо мне перед начальником гарнизона?

Он отрицательно мотнул головой.

— Нет, Борис Алексеевич! Из ведомства Юровского подан особый список. Вы догадываетесь, какой. Вы в этом списке. Вам из города никуда нельзя. Кстати, могу предупредить. Вы о семье, о сестре, о родственниках вообще нигде не говорите. Родственников офицеров берут на учёт на случай участия офицеров во всяких выступлениях. Родственники в таких случаях будут заложниками со всеми нынешними последствиями. Так что... — он по-шпаковски развёл руками.

— Откуда это изуверство, поручик? Откуда это изуверство азиатской деспотии? — без сил ужаснуться, спросил я, спросил как-то вычурно, как бы с желанием показать сей «восточной деспотией» свою учёность, а на самом деле я так спросил только от бессилия что-либо понять.

И в затылок сему бессильному вопросу необученным новобранцем растопырилась столь же бессильная и полная злобы мысль: «Где же эта сволочь, где она, которая, подобно Дарию, — если уж восточная деспотия, то и восточный деспот Дарий! — где эта сволочь, которая способна всё это остановить?» — и потому только сволочь, что никак не

собралась сподобиться и хотя бы воззвать.

Я, прошу прощения, пёрся я, тащился по колдобинам и начинающим вытаивать нечистотам, выбрасываемым за зиму, оказывается, прямо на улицу. Я шёл в плотном клубке разномастных голодных и грызущихся собак, начинающих свои собачьи свадьбы, и в распирающей злобе, как какой-нибудь сволочь-унтер, матом крыл свою бездарность, свою подлость, гнусность, бесхребетность, трусость, свой эгоизм, своё себялюбие, свою тупость, дурь, самонадеянность, крыл в себе все рожденные человечеством пороки — крыл всего себя, и крыл только за то, что не остался в корпусе, не застрелил ревком, не ушёл в сотню к незабвенному моему Василию Даниловичу Гамалию, не ушёл в партизаны к Лазарю Фёдоровичу Бичерахову или, на худой конец, к душе-пьянице Андрею Григорьевичу Шкуре.

Какой счастливый человек мой брат Саша, — думал я, — какой он цельный, как умно он поступил, пошедши в Персидскую казачью бригаду, а потом на Кашгар к казакам-бутаковцам, с которой сейчас, останься он жив и останься жива полусотня, он тоже бы стал партизаном, он бы привёл её сюда. И сама собой, будто из космоса и, по сути, бессильем рожденная, по сути, детская, выхватывалась картина торжества справедливости,

устанавливаемая полусотней Саши.

Что им надо? Почему им непременно это надо? — думал я о революции, о сонмище порочных людей. Я вспомнил одного механика электростанции, построенной на нашей улице, можно сказать, нашего соседа, человека не бедного, весьма симпатичного, приветливого, умного, опрятного, но оказавшегося революционером и арестованного полицией в пятом году. Что надо было ему, человеку не бедному, занимавшемуся любимым делом? Неужели он оказывался в душе порочен и ему были нужны вот этот государственный хаос и это всеобщее помрачение?

Я забыл, когда перечислял события нынешней зимы, упомянуть об одном, ставшем совершенно обыденным, случае — об убийстве молодого человека по фамилии Коровин. Обычно ни о каких убийствах новая власть не сообщала. А тут неожиданно поместила в газете некое сообщение об этом убийстве. Сообщение было смутным, таящим какую-то ложь, перекладывающую вину на какую-то контрреволюцию. По этой лжи даже похороны несчастного молодого человека могли быть использованы контрреволюцией в сведение, пересказывая дословно, своих низких политических счетов с советской властью. А убили его, оказывается, революционные матросы среди бела

дня на улице. Они ехали, как водится, на реквизированном авто. Что-то у авто случилось с мотором. Авто остановилось. Революционные матросы не нашли ничего иного, как схватить первого же прохожего, каковым и оказался несчастный молодой человек, и заставить его устранить неисправность. Только революция могла родить такую дикую фантазию. Ни Стенька Разин, ни Емельян Пугачёв, ни какой-нибудь душегуб Кудеяр не додумались бы над своей жертвой глумиться таким изощренным способом. Ведь не заставляли они свою жертву, например, достать луну и на вопрос: «Отец родной! Да как же я её тебе достану?» — не кричали: «А, сволочь, контра, ты не хочешь!» — и не принимались истязать её, как то сделали революционные матросы. Вот тот симпатичный механик с электростанции, наш сосед, хотел такого? Хотел он уничтожить ни в чём неповинного человека? Хотел он, приветливо здороваясь, зачислить меня в особый список и взять заложниками всех моих родных? Хотел он уничтожить целый класс?

Вечером я спросил Ивана Филипповича, помнит ли он этого симпатичного механика.

— Как же, как же! Как же не помнить! — вскинулся Иван Филиппович. — Да никто и не поверил тогда! Нам околоточный Иван Петрович говорит:

«Революционер! Целую типографию соорудил и прокламации против строя печатал!» — а мы никто не верим. Арестовали всю их компанию, человек, поди, с десяток. Выследили и нагрянули. Нелегальные они были. И слова-то такого не знал. А Иван Петрович говорит: «Эти-то, нелегальные, самые злодеи и есть! И сами они добром не живут, и людям не дают!» А о ком ты говоришь, о Сергее-то Александровиче Черепанове, так он на виду жил, в квартире при станции, а притворялся, то есть тоже, значит, нелегальный был. А что не жить? Квартира хорошая, казенная, работа хорошая, при жене, батюшку твоего Алексея Николаевича уважал. А вот, поди ж ты, снелегалился! Да это что! Ещё того тошнее было. Ты уже в военное училище уехал. А ещё одного нелегального арестовали. Он прямо в доме начальника жандармерии по Солдатской улице жил. Эк приспособился! А всё равно выследили! Да и это-то ещё что! Вот, кто сейчас у совета в Питере самый главный, фамилию его я не вспомню! — Иван Филиппович в азарте хлопнул себя по колену. — Самый главный из этих!

— Ленин с Троцким? — стал подсказывать я.

— Нет. Против этих он пожиже будет, но тоже главный. А может, и этих под свой обшлаг загибает, да пока помалкивает.

Да вот он ещё в пятом году здесь народ мутит! Ах, как же я забыл! ВЦИК, ВЦИК все про него пишут, ВЦИК, будто на собаку прикрикивают!

— Свердлов! — догадался я.

— Он! Так он жил у присяжного Бибикова на Златоустовской! Помнишь, дома-то у них рядом, у Бабикова и Бибикова! По народу все скалились: Бабиков да Бибиков! — дескать, как бы не перепутать. Вот твой Свердлов-то у него жил, сладко пил, сладко ел, да в благодарность-то набз!.. — Иван Филиппович завернул словечко, синоним выражения «пускать ветры». Вот так оно, с емя пароваться-то!

Ничего я не сказал об отношениях с Анной Ивановной, всё время оставляя сказать о них напоследок.

После того моего рейда до двери её комнаты, повторившего наш прошлогодний, можно сказать, щенячий рейд на соединение с британцами в Месопотамии, наши отношения, кажется, ничуть не переменились. Прошлогодний наш рейд я назвал щенячьим по той безудержной дури, с которой мы кинулись в него, дури, равной щенячьему восторгу, ничем иным не объясняемым, кроме физиологии. Что-то в нас всколыхнулось, что-то в нас, уже усталых от войны, взбрезжилось такими зовущими синими далями, обнесло нас неким, возможно, даже декадентским

дурманом, и мы пустились, не понимая ни тягот предстоящих, ни цели, ни последствий. Ведь были мы уже научены, что несть нам от британца ничего, кроме скорби, что обернутся брезжимые синие дали нам синяками на нашем рыле, с которым не соваться бы нам в калашный ряд, что никогда он, британец, не позволит нам вкусить от плодов победы, даже если при этом он упустит победу сам, что обязательно он устроит так, чтобы плоды смоквницы, сочные, мясистые, сладкие, стали нам, в лучшем случае, плодами мандрагоры, порой оборачиваемые горькою своею стороною.

Конечно, я сейчас клеветал на нас тех, прошлогодних, усталых от войны, но цельных, никакой проказой революции не охваченных, сознающих свой долг перед империей, перед Отечеством. Во всей нашей жизни, кажется, и не было ничего более яркого, блистательного, вспоминаемого с сознанием причастности к истории, чем наша война с её тяготами. И катиться бы нам батареей по сей день в месопотамской пыли за славным Девятым Сибирским казачьим полком полковника Первушина Владимира Егоровича, катиться бесконечно, чтобы только не наступил тот день, в который мы узнали слово «отречение».

Я ничего не сказал об отношениях с Анной Ивановной. После моего ночного рейда до

двери её комнаты внешне ничего у нас не переменялось. Но всё вернулось как бы в первоначальное состояние. Между нами исчезло дыхание друг друга, общий ток крови, общие невымолвленные мысли, метание самих в себе и всё иное, что мы испытывали в вечер перед моим рейдом.

Возможно, в ней пробудилось чувство ко мне. Но я мог считать, что оно пробудилось лишь из чувства благодарности, то есть она становилась зависимой от меня. Я долго думал, так ли. И каждый раз я приходил к этому выводу — да, это так, я не имею права воспользоваться её чувством благодарности, её зависимостью от меня, если даже она себя таковой не считала. Это было бы подлостью, декадентством, революцией. Она меня слышала. Я это увидел потом по её глазам. Её смутил мой поступок. И её смущение первоначально действовало на меня угнетающе. Я себя почувствовал сволочью — при нынешнем времени никаких иных характеристик, кроме характеристики революционера, на язык не приходило. Я почувствовал себя сволочью, которая не спасла Анну Ивановну, а только приготовила для себя. И хорошо было, что у нас стал жить Бурков. Я прятался за его присутствие. При этом я в своих глазах становился ещё большей сволочью. Но чёрт

бы разобрался в отношениях с женщиной. Однажды вдруг, в какой-то этаким час — у декадента Бодлера в одном из стихотворений, «когда бы ввечеру, в какой-то грустный час» — так вот однажды вдруг в какой-то особенный час я увидел, что её смущает совсем не то, что я себе надумал. Её смущало моё переживание и непонимание, почему я прячусь за Буркова. Я не на авось упомянул строчку из французского поэта из его сборника «*Les fleurs du mal*», «Цветов зла», вталдычиваемого нам на занятиях по французскому языку его апологеткой милейшей барышней-смолянкой. Только вот этот парадокс цветка и зла и мог бы объяснить природу отношений мужчины и женщины. Миленькое дельце — я казню себя за гнусный свой поступок. А этот поступок, оказывается, расценивается таковым же, но по другой причине. Он, оказывается, расценивался бы за доблесть, если бы был доведен до конца! Ну, как тут не подивиться прозорливости наших предков, давших слову «война» имя женского рода! Сродни друг другу выходили они — война и женщина! По отношению к обеим, дело, не доведённое до конца, оборачивалось самым губительным образом. Оно не оставалось в каком-нибудь притухшем, тлеющем виде, ожидающем своего завершения в будущем. Оно обязательно

должно было быть завершено или оно не должно было быть начато.

Вот что я постиг в чистых глазах Анны Ивановны.

«Нехе! — сказал я глазами ей на её родном языке. — Ведьма!» — «Keine Nehe, aber kleine Nehe! Нет, не ведьма, а ведьмовочка!» — в моём прочтении ответили её глаза.

Всё это совсем не походило на то, как в своё время вернулся с войны брат Саша. В отличие от его времени нам надо было выживать, даже зная, что мы обречены. При опрокидывании нас в бездну, мы обязаны были искать соломинку. Я не знаю, простил ли бы я за подобное Элспет. Но я был уверен — она меня прощала. Но отношение с Анной Ивановной должно было быть завершено или не начато вовсе. Оно не могло быть соломинкой.

ГЛАВА 14

В марте же наш Второй парк Четырнадцатого Сибирского дивизиона расформировали. Нам было предложено вступить в Красную социалистическую армию. Подполковник Раздорский испросил отпуск на родину. А меня спасла открывшаяся, вернее, восстановленная должность коменданта лагеря военнопленных, которую подсказал мне, а потом походатайствовал за меня

Бурков. Вообще удивительно его участие в моей судьбе. Будто заступницы мои направляли его сберечь меня. Далеко не последний чин в новой власти, он ещё в Оренбурге взялся нам с сотником Томлиным покровительствовать. И кабы не он, наверно, мы до сего дня маялись бы где-нибудь под Самарой или Кинелем, а то и валялись на обочине дороги, расстрелянные. От Оренбурга к нам, как я уже упоминал, прямой железной дороги не было. До войны она прерывалась в Челябинске. За войну её протянули до станции Брединской с нашей стороны и до Орска со стороны Оренбурга. А расстояние в двести верст между этими станциями приходилось покрывать в прежней манере на перекладных. Кому это не импонировало, мог ехать на Самару или, по крайней мере, до Кинеля и ждать пересадки на другой поезд. В Оренбург мы прибыли, когда он был ещё у атамана Дутова Александра Ивановича, а уезжали уже из Оренбурга товарищей Цвиллинга, Кобозова и кого ещё там... Ясно, что нам никто проездных документов не выписал бы, заведя в нас недобитую дутовскую контру. Он подошёл к нам, ткнул глазами в наши сибирские казачьи знаки войскового отличия, спросил:

— Ну что, казачата? Плачет по вам Сибирь-матушка?

— Плачет, — сказал сотник Томлин.

— Ладно, давайте со мной! — мотнул он головой. — Я еду на Катькин бург. Давайте вместе, если вы не последняя контра!

— И чьих же вы такие будете, если сами не последняя она же? — спросил сотник Томлин.

— Если вы и контра, всё равно уговор: до последнего держаться вместе. К вашим попадёмся, я — ваш. К нашим попадёмся, вы — наши. У меня мандат. И пока дорога наша, вам за меня надо держаться, как солдатской вше за подштанниковый обшлаг! — сказал Бурков.

— Будем держаться! — изобразил смиренность сотник Томлин.

Мандат Буркова оказался таким, что станичники провезли нас от Орска до Брединской за два дня, хотя, по их же словам, бывало преодолевали этот путь за неделю и за другую. И теперь он, зная моё отношение к новой власти, был к нему вполне терпим, только иногда говорил, что в своё время я все постигну, что хорошие люди их власти во как нужны. Его появление спасло нас от нового заселения, от инсинуаций каторжанки Новиковой, от постоянных обысков, творимых кем попало по ночам и не обязательно властью. Порой обыски под видом власти творились уголовниками. По изощрённости издевательств во время обысков, кажется, власти с уголовниками заключили сердечное соглашение. Обе стороны в этом плане

состязались, и трудно было отдать кому-либо предпочтение.

К сестре Маше взялись поехать Анна Ивановна и Серёжа Фельштинский. Я воспротивился. Я дурацким образом ещё надеялся на получение официального документа на проезд, без которого видел только вред как сестре Маше, коли она была под надзором, так и Анне Ивановне с Серёжей. Вышло именно так. Но они решились поехать тайком, поехали и уже на вокзале были задержаны и побиты охраной — и хорошо, что не были посажены в каталажку или отданы в ведомство уехавшего Паши Хохрякова в лице его подручного Фомы Гуня. Причиной их фиаско стал сам Серёжа, слишком возмущившийся порядками на дороге, о которых он по своей честной и в данном случае ненужно честной натуре решил высказать начальнику вокзала, за что и был побит.

Анне Ивановне работы не находилось. Гарнизон сокращался. Сто девяносто пятый госпиталь был передан Шведскому Красному Кресту и стал обслуживать военнопленных с их собственным медицинским персоналом. Оставшийся единственным лазарет Сто двадцать шестого полка перешёл в ведение городского Совета и тоже с сокращением штатов. То же самое было в инвалидских лазаретах, равно и в других учреждениях. В газете, приносимой Бурковым, всё чаще

стали появляться объявления о поиске работы примерно такого содержания: «Барышня с хорошими манерами ищет работу бонны». Или: «Барышня дает уроки фортепьяно»... А вот это объявление, просто крик души, продолжалось публиковаться довольно продолжительное время из номера в номер: «Приезжая убедительно просит дать ей место по письменной работе приказчицы, кассирша, может работать на пишущей машинке». Ещё один пример: такому-то требуется вполне приличная квартира на три комнаты с обедом. На фоне всех других газетных сообщений они смотрелись странно и явно безрезультатно, ибо нанять кого-то в бонны означало живо привлечь к себе внимание каторжанок Новиковых со всеми последствиями. А наличие в квартире фортепьяно говорило новой власти о наличии в квартире излишнего количества места и принадлежности квартиры состоятельным лицам. В условиях издания приказа или, как они полюбили именовать, декрета, по которому принимались «немедленные решительные меры по реквизиции квартир состоятельных лиц», думается, едва ли кто откликался на подобные объявления. И явно сидели сии барышни изо дня в день на кипятке без сухарей. Хотя бывало, что кто-то как раз публиковал иное — публиковал, например, что такому-то требуется вполне приличная квартира

на три комнаты с прислугой и обедом. Думается, судьба такого-то, если он не был представителем новой власти, пожелавший пожить шикарно, была в обозримом будущем очевидна. Правда, власть постановила уничтожить плату за обучение в школах и снабжать учащихся учебниками бесплатно, что в условиях всеобщего нашего обнищания было мерой хотя и вынужденной, но всё-таки симпатичной. К этой же симпатичной мере принадлежала и другая мера, предписывающая всем врачам и «зубоврачам» — так в объявлении — принимать «бедных больных» по одному часу в день бесплатно. И то ли власть посчитала, что «бедных больных» в условиях революции не должно быть, то ли посчитала, что в тех же условиях врачи и «зубоврачи» выучились работать с невероятной скоростью, но я не смог себе представить, чтобы за один час в день была оказана хоть какая-то минимальная польза страждущим. Не лишне заметить и такую особенность в формировании новой власти, о которой можно было бы сказать словами Грибоедова: «Ну как не порадеть родному человечку». Согласно этой особенности, некто Чуцкаев С. Е. назначался комиссаром народного просвещения Уральской области, а его супруга Чуцкаева Дина Харитоновна — заведующим отделом общественного призрения. Военнослужащий Селянин

возглавлял военный отдел, а его супруга Т. С. Селянина была введена в штат местного лазарета. Военнослужащий Селянин был человеком неплохим. Тем неприятнее стало узнать об использовании власти в личных целях. Кстати, власть, загадив особняк Поклевского, перебралась в здание Коммерческого собрания, а Паша Хохряков до своего секретного отбытия из города занял квартиру управляющего Волжско-Камским банком, выслив того куда-то, однако, слава Богу, не на «поля Елисейские» — это совершенно точно. Ну и для некоторой экзотики скажу о том, что в городе продолжали функционировать различные дипломатические миссии, как, например, консул Великобритании, пребывающий на Вознесенском проспекте, дом двадцать семь, Шведская королевская миссия на Колобовской, дом тридцать, вице-консул Швеции на Тарасовской набережной, дом два, и так далее, вплоть до определенных представителей Японии, Китая, Швейцарии, Голландии, Греции. Исполкому новой власти они внесли протест по поводу обысков в квартирах. В ответ им было указано на несовместимость их полномочий с протестом, то есть вмешательством во внутренние дела иностранного и суверенного государства. В десятых числах марта прибыл в город из столицы некто тов. Анучин, возможно, родственник генерал-губернатора Восточной

Сибири Анучина. Он прибыл с несколькими миллионами рублей на организацию новой армии. Про генерал-губернатора Анучина у меня засело с гимназической учебы. Наш географ и историк Будрин Василий Иванович давал диктант с историческим уклоном по Сибири и прочитал этого самого Анучина. Я же решил показать своё знание крестьянской жизни и написал фамилию через «о», Онучин, как то требовало наименование крестьянской портянки. Василий Иванович, ставя мне привычную оценку «отлично», тем не менее назвал меня по отчеству Олексеевичем, с явным выделением при произношении именно этой буквы «о».

Анучин прибыл в город с несколькими миллионами, а в самом городе денег практически не было. Петроград принужден был предложить городу выпуск своих собственных, областных, денег, в связи с чем он вспомнил о некогда работавшем здесь монетном дворе. Вообще восхитителен в этом отношении артистизм новой власти — изобразить простоту решения вопроса воспоминанием о монетном дворе, от которого осталось только одно предание, да ещё остался прошлогодний смех горожан, сбегавшихся смотреть на учения женского батальона смерти, временно размещенного на бывшей его территории.

С февраля в городе всё более стал давать о себе знать

тиф. Городская хроника сообщала, например, о двадцати заболевших сыпным тифом, о семидесяти девяти заболевших возвратным тифом, заодно называя число заболевших сифилисом едва ли не в сто человек. Иван Филиппович, прочитав об этом, дал такой комментарий: «Новая-то власть началась в прошлом году, так стало, что врачи кинулись лечить проститутток от дурных болезней, а они пришли к новой власти, сказав, что это против свободы, что они теперь не скотина какая-нибудь, а свободные женщины!»

Анна Ивановна было засобиралась пойти в лазарет волонтеркой. Я остановил. Наверно, это было непорядочно — не любить её и держать при себе, то есть мучить. Но, кажется, я стал кое-что понимать в жизни. По крайней мере, я себе усвоил, что в отношении с женщиной следует чаще руководствоваться не логикой и соображением высшей морали, а следует бестрепетно диктовать, ибо женщина, по моему мнению, порой, особенно будучи в чувствах, руководствуется не развитием отношений, а их статикой, затвердевшей и неизменяемой формулой, подобной, например, статьям государственного законоуложения, гласящим, что «Государство Российское едино и нераздельно» (статья первая Свода основных государственных законов), или, что «Государю

императору принадлежит почин по всем предметам законодательства» (статья восьмая того же Свода).

Может быть, я был неправ, но мне думалось, что исповедать эту формулу для женщины означало быть счастливой.

Может быть, Анна Ивановна терзалась подозрением насчет моего чувства, однако я оставил это на её характер.

С прибытием миссии Шведского Красного Креста у меня появилась надежда на установление связи с Элспет. Какое-либо сношение моё по этому поводу с британским консулом немедленно привело бы к моему аресту — потому, разумеется, я, как некогда в детстве, издали и в трепете смотрел на казармы полубатальона, размещённого в нашем городе, позволил себе пройти мимо дома консула несколько раз и тем ограничить свои мечтания.

Раньше этого, однако, было как раз побитие Серёжи и Анны Ивановны на вокзале, и они вечером предстали нам во всей красе торжества революции с той только подлинной, не революционной, справедливостью, что Анну Ивановну всё-таки по какой-то причине не тронули. Может быть, в ком-то из охраны возобладала атавистическая, дореволюционная, эстетика, по которой барышень не трогали даже разбойные люди. Конечно, было всякое и в прежней, дореволюционной, жизни. Но повсеместный обычай бить,

истязать и даже убивать женщину, особенно опрятно одетую, бить, истязать сестру милосердия, только что ухаживавшую за раненым солдатом, то есть мужиком в шинели, — это стало эстетикой революции. Непостижимой для меня оказывалось в мужике сочетание слепого разгула с наивной верой в безнаказанность и даже праведность этого разгула, будто никогда он, мужик, не крестил лба, не верил в неизбежное представление перед Богом и перед своими жертвами.

Мне много раз приходили воспоминания о наших мужиках, о мужиках нашей бельской деревни. И мне казалось, что они были не такими, как все. Разве мог быть способен на злодеяние, например, тот мужик, пришедший с военной службы и просивший мою матушку отпустить меня с ним пройти осенней рямой, осенними надбельскими лугами, посидеть на песчаном берегу возле костра. А наш же деревенский мужик Тимофей по прозвищу Журавль, называемый мной Тифомеем, приносящий нам в лубяном коробе свежих стерлядок, подбрасывающий меня едва не в облака, а потом, откусав матушкиной наливки, мне рассказывающий свою жизнь, всю прошедшую на реке. «Эх, сыночек, река-то мне — матушка и батюшка!» — говорил он.

— Матушка и батюшка она мне! Где батюшка меня батожком угостит, там матушка меня

волной приласкает! Я при парходах молодость-то провёл, пока здоровый был. Шибко, на всю жизнь я их полюбил. Какая красота в них заложена, красота неизъяснимой силы! Такой красоты уж нам, крестьянству, не заложить, хоть всем миром позаймуйся! Неизъяснимо это, будто какое тихое и радостное знамение послышится сначала. А это он из далей о себе знать подаёт. Его надолго ещё не видно. А он уже о себе гул подаёт, вперёд себя его пускает: «Ох-ох-ох!» — поршнем охает, и по воде издалека этот «ох» стелется. Стелется «ох» чистый, ровный, будто и духмяный, как тебе от хорошего горячего пирога. Да нет! Что там пирог! Силищу немереную этот «ох» выдаёт. Куда там лошади! Лошадей там целые табуны в этот «ох» загнаны. А потом он выплывает из-за поворота, ещё сначала точка, маковое зёрнышко, соринка в глазу. Но он выплывает и о себе знать подаёт, уже гудком оповещает: «Я иду! У-у! У-у! Иду!» Ах, как красиво, будто в книжке в твоей написано, сыночек! А я остаюлюсь сено грести, мне удержу нет. Я бы так с покоса-то удрал его смотреть. И удрал потом. Подрол и удрал. Я длиненький был, росленький. Мне моих годов не давали. И взяли меня вот для какой работы — глубь на косах проверять. Хоть по всей реке и были дамбы поставлены, и глубины были по фарватеру подходящие, а всё

равно в ином месте, глядишь, нанесёт косу. И капитан знает про эту косу. Без знания на парход — ни-ни. Он знать знает, а все равно проверять проверяет. Подходит парход к такому месту. Вчера мимо можно было пройти. А сегодня она, может, уже стервявая, прости меня, Господи, а ты не слушай! Может, она, ехидна, намылась более, чем вчера. Парход: «Машина! Малый ход!» — и на ощупь, вот так, чух, чух, чух, ч-ч-ч-ух-х-х, тише-потихе, всё прислушливее к косе подходит. А ещё надо науку знать. Если вверх по реке идёшь, то грузу больше на нос положишь, чтобы силу течения сбавить. И нос, значит, поглубже в воде зарыт. И вот парход слушает, слушает и вдруг — хват! Песок! Машине в этот же секунд: стоп, машина! — и нам: а ну, робя, ребята, то есть маячь! — это значит нам прыгать за борт и указывать глубину, где по брюхо, где побольше.

Вот такие, примерно, воспоминания приходили мне о наших мужиках. И хотя приходили ещё иные, например, о мужике, который от своей дури как-то тяпнул лошадь по шее топором, все равно я считал наших мужиков против городских несравненно душевнее, человечнее. И никак у меня не вязалось, что и они могли впасть в революционный разгул.

Вот так вечером мы с Бурковым пришли со службы, и нам

во всей красе разбитого лица Серёжи и возбуждения Анны Ивановны предстали наши поборники вокзальных порядков.

— Вот ведь как врать научились! — прежде них встретил нас в справедливом гневе Иван Филиппович. — Стыд совсем потеряли! Сказались на предмет работы пойти. Записочку тебе, Борис Алексеевич, подсунули, а сами — дырка свисть, на вокзал! Ехать в Нязепетровск они удумали!

Разумеется, Серёжа остался у нас. Они с Анной Ивановной, стараясь со смехом, рассказали все подробности их мероприятия. А я, едва не более Ивана Филипповича, возмутился. Меня стал колотить запоздалый и уже бесполезный, то есть уже ненужный страх от представления совсем другого конца их мероприятия. Серёжа сверкал узкими щелками заплывших глаз, едва двигал челюстью, едва шевелил губами, морщился, но одновременно в восторге рассказывал.

— Я же всё продумал! — рассказывал он. — Я же подобным образом избавился от госпиталя! Это же чёрт знает что — лежать в госпитале! Всех моих соседей гонят вон, а мне предписывают лежать! А я чувствую, что лысею. Я говорю доктору, выписать меня и отправить обратно к Александру Ильичу Дутову в дивизион. А он отвечает, что потому и не выписывает, что якобы я лысею. Я, говорит, ещё тебя

другому доктору покажу, который в таких случаях дока. То есть он хотел меня упрятать в чеховскую шестую палату. Ах, в шестую палату, ах, другому доктору, подумал я, ну, так потом не говорите, что я просился выписать меня! В один прекрасный день доктор на экипаже подъезжает к госпиталю, а я в окошко ему выставляю свою тощую и окопными прыщами усыпанную рожу! Анна Ивановна, не эту рожу, которая сейчас похожа на большую шаньгу, а другую, которая...

Пока-то Анна Ивановна брала в толк наличие у Серёжи какой-то другой рожи, Иван Филиппович успел за неё оскорбиться.

— Ах, ты, нечистый дух! Кого же ты, оллояр несметный, при барышне такое-то! — вскричал он и, кроме гнева, в голосе его было какое-то превосходство перед Серёжей, верно так такое, что сам Иван Филиппович съездил и всё сделал, как надо, даже под угрозой красных винтовок, а Серёжа и в поезд-то не смог сесть.

— Да что же! Я и понять не успела того, что они сказали! — сконфузилась Анна Ивановна.

А глаза её, всё ещё возбуждённые событием, горели на Серёжу каким-то хорошим огнём, даже более чем просто хорошим огнём. Она явно была Серёжей восхищена, и ей явно было за Серёжу страшно. И ещё я увидел, как Анне Ивановне хотелось, чтобы её взгляд на

Серёжу я увидел и принял его за чувство к нему. Серёжа был достоин такого чувства. Но я видел, что у Анны Ивановны не было к нему чувства. Я решил ей подыграть. «Ах! — стал я говорить ей глазами. — Так вот вы какова! Да вы истинно — ведьма! Sie sind eine wahre Hexe!» Понимала она мои взгляды в смысле моей игры или не понимала, я не знаю. Но, кажется, она ясно различала в них отсутствие того, что ей было надо. Она не находила в них ревности, любовной тревоги, сердечного метания. Ей, наверно, было от этого больно. Но она терпела и отвечала мне той же игрой. Она отвечала: «Нет, не ведьма, а ведьмочка! Nein! Keine Hexe, aber kleine Hexe!» — «Hexe, Hexe!» — говорил я. «Kleine Hexe!» — отвечала она.

— Ну ладно! Показал ты, и что доктор? — спросил Бурков у Серёжи.

— Ну так выписал он меня к тому доктору, к которому грозился выписать! А тот вместо того, чтобы меня, как дурака, отправить на фронт, обратно к их высокоблагородию полковнику Дутову Александру Ильичу отправил меня в Екатеринбург на попечение родителей! — в гневе сказал Серёжа.

— А ты просился выписать тебя на фронт? — спросил Бурков.

— А куда же ещё? Мне очень там понравилось. Я там был на

своём месте. Я у Александра Ильича был лучшим писарем! У меня там ни одна бумажка не пропала, ни одна запятая в приказе со своего места не сошла. Трахнет их чемодан, затрещит наш блиндаж, а я сразу стол с бумагами шинелью накрою — и у меня все чисто! Даже в чернильницу земли не попадало! — в гордости ответил Серёжа.

— Ну а на вокзале что? — спросил Бурков.

— Ах, Серёжа, не надо! Ведь стыдно! — попросила Анна Ивановна.

— На вокзале я пошёл к начальнику показать эту справку! — совсем не слушая Анну Ивановну, сказал Серёжа. — Там сплошь толпа. И все выражаются в рамках языка, не входящего в известный словарь Владимира Ивановича Даля. Я вынул справку и закричал, что страдаю бешенством на почве неудачно перенесённой бубонной чумы!

— Как это — неудачно? С того света, что ли? — спросил Бурков.

Серёжа внимательно и, кажется, в неудовольствии посмотрел на Буркова.

— А что же вы хотите, чтобы я закричал «удачно перенесённой»? Меня посчитали бы за психа, и слова мои приняли бы за издевательство. Ах, сказали бы, да он удачно перенес, так бей его! Именно должно было сработать слово «неудачно»! — сказал Серёжа.

— Да, резонно! — согласился Бурков.

— Но всё равно меня никто не понял! — в смещении негодования и удивления сказал Серёжа. — Никто! Вы представляете! Им, видите ли, бубонная чума да и бешенство не внушили никакого страха! Черт знает что! Ещё год назад меня бы скрутили и отвели куда-нибудь в катаверную и облили бы гашёной известью, или чем там с чумой борются, креозотом каким-нибудь облили бы! А нынче!..

— А тут разве не скрутили? — спросил Бурков.

— Ну, так именно скрутили! Но прежде чем скрутили, я вынужден был кричать про холеру, оспу, проказу, а потом про эту чертову новую власть! — в той же смеси возмущения и удивления сказал Серёжа.

— Вот, вот! А я вот тихо-тихо, а до места-то доехал! — не стерпел показать своё превосходство Иван Филиппович.

— Иван Филиппович! Ну так вы бы ещё вспомнили, сколько вам лет! Трогать стариков — это удел последних варваров! — сказал Серёжа.

— Жизнь прожил, всякого навидался! — сказал Иван Филиппович и оборвал себя, не сказал нелестного эпитета в сторону нынешнего времени и только хмуро черкнул взглядом по Буркову.

— Ну а дальше что? — спросил Бурков у Серёжи.

— Меня потащили в каталажку, а может, где-нибудь за пакгаузом штыком приколоть, но Анна Ивановна сумела убедить, что я псих настоящий, со справкой. Меня побили, а на неё только замахнулись! — завершил своё повествование Серёжа.

После чая он и Бурков взялись за дискуссию о революции вообще и нашей революции в частности и что-то стали спорить о Дутове Александре Ильиче. Вечер был тёпел, и я вышел на крыльцо, сел на ступеньки и стал смотреть на темнеющее небо, на место сваленных лип, на оголившуюся без лип стену соседнего кирпичного дома в два этажа, в котором ещё с поры моей гимназии снимал квартиру железнодорожный слесарь с семьёй. «Какого чёрта им всем надо!» — безысходно и зло подумал я обо всех враз, кто затеял нынешнее время, включая туда, конечно, и тех, кто скрывался на электростанции, жил в хорошей квартире, имел хорошую работу, хорошее жалованье, а всё равно гадил. И мне снова пришли мои Коля Корсун, Василий Данилович Гамалий, — все-все вплоть до вахмистра Касьяна Романовича, урядника Тетерева, покойного Павла Георгиевича Чухлова, погибших бутаковцев, конечно, Ксенички Ивановны, оставленной в тифе — вообще все единым портретом из сотен и даже

тысяч и тысяч лиц, увиденных мной за войну. Даже конь мой Локай, как живой, встал в моих глазах. Он почуял, что его уведут. Он в непонимании того, почему он должен куда-то пойти без меня, взржал, вскинулся, думая оборвать повод, попытался повернуться ко мне. Он так и остался у меня в глазах, непонимающий и в отчаянной попытке освободиться от повода.

Когда я вернулся в дом, все уже разошлись спать, только Анна Ивановна сидела в столовой у окна. Я подошёл к ней. Ничего в окно не было видно. Меня удивило, что она в него смотрела. Я остановился подле. Мы помолчали. Она начала разговор первой.

— Я бесконечно благодарна вам, Борис Алексеевич. Но у меня нет больше сил жить за ваш счет! — сказала она.

Я услышал в этом другое. Но показать, что я услышал другое, я не захотел. У меня не было права показывать, что я услышал другое. Потому я сказал, что она несёт вздор.

— Вздор, госпожа Тонн! — сказал я.

— Уже и госпожа! — горько усмехнулась она.

— Потому что вы несёте вздор! — сказал я.

— Что же мне нести остаётся, если я больше ничего не приношу! — с той же горечью сказала она.

И я понял — она сказала мне

попрёк, она упрекнула меня в отсутствии у меня чувства к ней. Но я снова не стал показывать, что я понял.

— Иной раз уже то хорошо, что никто никому ничего не приносит! — сказал я и увидел, что сказал бестактно.

— Да, конечно. Вы правы. Иной раз именно это хорошо! — сдерживая голос, сказала она.

Мне в пору было припасть к её коленям. Но я снова сказал резко.

— Вот как хорошо, что и вы это понимаете! — сказал я.

— Мне ничего иного не остаётся, как только каждый день напоминать об этом себе! — сказала она.

Я взял её за плечи и даже через шаль почувствовал их хуждбу и трепет.

— Анна Ивановна! — не зная, что сказать дальше, сказал я.

— Борис Алексеевич! — с укором сказала она.

Играть дальше я не мог.

— Вы же знаете! Я вам говорил о жене и ребёнке! — сказал я.

— Борис Алексеевич! — повернулась она и взяла меня за руки. Её руки были горячи. — Борис Алексеевич, я всё это помню. И я не претендую. Они пока вам недоступны. И они долго будут вам недоступны. А мы здесь. И каждую минуту нас могут убить или... — с жаром сказала она и оборвалась на полуслове.

Я на миг увидел давешнее пустое без лип место и глухую стену соседнего дома, увидел, будто и у меня было так — вместо Элспет и моего ребенка была только глухая непроходимая стена.

— Вы не заболели? — отвлекаясь от стены, спросил я о жаре её рук.

— Это не имеет значения! Это всё — ничто! Вы не можете себе представить моего положения! Вы спасли меня. И я вам по гроб благодарна. Вы не знаете, каково это — не есть, не брать ни кусочка хлеба, ни крошки, а только пользоваться кипятком и знать, что и в кипятке откажут! Да что я говорю! Вы прошли фронт. Вы всё это знаете. Но вы знаете это по-другому. Вам не было знать, что всё равно придётся сдаться, что всё равно придётся пойти на промысел, на этот промысел и только ради того, чтобы поесть и заплатить хозяйке! Ведь я пошла. И если бы был кто-то другой, не вы, я бы была вынуждена! Вы понимаете! Не первый, которому хватило бы сил, хватило бы стыда отказать, как я кинулась прочь от вас, если не первый, так второй — всё равно бы! А вы меня спасли!

— Да будет вам! Это Бог так расположил, что был я! — сказал я, отказываясь от приписываемого мне доброго дела.

— В этом-то всё и кроется! Это чудо, как хорошо всё обустроилось! И я по гроб должна быть благодарна хозяйке, что она меня погнала! Иначе бы было всё скверно! Но кто бы устоял на моем месте! Кто бы не полюбил вас! — едва не выкрикнула Анна Ивановна.

— Анна Ивановна, мы все вас любим. И не надо вам стыдиться своего положения! Нам очень хорошо от того, что вы с нами! — сказал я.

Я не знал, что иного сказать. Я совершил свой рейд к её комнате. И мне было стыдно за этот рейд.

— Подарите мне это время, пока нет вашей жены! — крепко сжала она горячие свои ладони. — Подарите! Я не прошу у вас любви! Я ни на что не претендую! Я исчезну тотчас, как только... — она опять смолкла на полуслове, но было понятно, в какой миг она обещала исчезнуть.

У меня не было сил удержаться, как некогда мы удержались на Асад-Аббаде. Но поступить так, как просила Анна Ивановна, было подло.

— Вы заболели, Анечка! — сказал я. — Вы заболели. Давайте, я вас провожу в постель и попрошу Ивана Филипповича заварить сушеной малины. У него наверняка есть.

Она прижалась ко мне лицом, отстранилась, сказала «спасибо» и пошла к себе в комнату.

ГЛАВА 15

По соображениям революционной свободы и заключению мира должность коменданта лагеря военнопленных была упразднена, и военнопленным было предоставлено самоуправление. Порядок в лагере, и без того донельзя шаткий, исчез тотчас же, и самоуправление было признано не соответствующим революционным свободам.

К должности мне было определено право на оружие. Я пошёл к старинному (конечно, в кавычках) своему приятелю — заведующему оружейной комнатой военного отдела Камдацкому Григорию Семёновичу, взял запомнившийся мне «Штайер» и потом в арсенале, перенесённом в Оровайские казармы, нашёл к нему патроны, пистолет пристрелял и остался доволен. За отпуск Гриши Камдацкого в его первобытное состояние, то есть увольнение из армии, я ходатайствовал, но безуспешно. Миша отказал, а к адъютанту Крашенинникову пойти не было случая. При отказе Миша характерно похмыкал в нос и сказал, несколько почернев лицом, что при пришедшей мне вдруг мысли считать военный отдел исполкома совета богадельней я глубоко ошибся. Гриша Камдацкий не взял с меня росписи в ведомости, ещё раз сказав, что «Штайер» у него не числится. Таким образом, своё двоякое

положение подполковника и прапорщика, человека, не лояльного к революции и имеющего справку о заслугах перед ней, я усугубил наличием у меня оружия, которого у меня по документам не было. Гришу я придумал взять к себе кем-то вроде порученца с тем, что сумею отправить его домой сам. Он, услышав моё предложение, расплакался — так ему, видно, было не вмоготу служить и так, видно, ему было горько за свой бесталанный день рождения, не вписавшийся в приказ.

— По дому-то вся моя душа изорвалась! Спасибо, хороший человек! Век теперь вам служить буду! — сквозь слёзы, брызнувшие по девичьи, сказал он.

— Век служить, а как же домой? — пошутил я.

— Какое домой-то, коли вы ко мне с таким добром! Вы меня только на Пасху Святую отпустите, а потом я вам век служить буду! — преданно посмотрел он мне в глаза.

Я вспомнил своего вестового Семёнова, свалившегося в лазарет накануне моего отбытия из корпуса. Он верно служил мне два года и просил взять его с собой, куда бы я ни отбыл.

— Хорошо. На Святую Пасху отпущу! — пообещал я.

Заведовал в совете всеми делами о военнопленных товарищ Семашко. Я поступил в его непосредственное распоряжение, испросил себе один день на ознакомление с бумагами. В ответ

клинышек его бородки вострепетал недовольством.

— Что бумаги, товарищ Норин! Что бумаги! В гущу надо идти, в бучу, прямо в лагерь! Там надо вживаться в работу! Бумаги — это буржуазные предрассудки! — заклеил он мой метод руководства.

Я понял, что в бумагах, как некогда у брата Саши, командира отдельной казачьей пограничной полусотни, сам чёрт ногу сломит, что товарищ Семашко боится мне их показать. Я подумал взять на разборку бумаг Сережу, а товарищу Семашко, явному представителю буржуазии по происхождению, в некоторой насмешливой готовности подчиниться откозырлял. Но, кажется, товарищ Семашко принял мой жест не за насмешливость, а за издёвку.

— Мы с вас спросим всю серьёзность вопроса! — по-революционному косноязыко сказал он, а клинышек его бородки указал мне на дверь.

Серьёзность же вопроса была поистине серьёзной. Лагерь был обыкновенным скопищем развращённых бездельем и вседозволенностью, забывших не только воинскую дисциплину, но, кажется, сами человеческие заповеди оборванцев. Собственно, в условиях революции ожидать иного было бы верхом дурачьи.

Ворота лагеря были расхлабыстаны настежь и искобочь. Охрана лагеря, какие-то парняги, как оказалось, из верхисетской

рабочей дружины, революционно и остервенело резалась в карты и строила оборонительный вал из семечной шелухи. Я спросил начальника охраны.

— А ушёл! — не отрываясь от карт, сказали они.

Ничуть не отличалась картина и в канцелярии. Грязь соперничала с грязью в особняке Поклевского и венчалась плакатом на немецком языке: «Наша революция — ваша революция!» — что, вероятнее всего, не особо настраивало обитателей лагеря на оптимистический лад. Писарский стол был окружён толпой военнопленных, что-то отчаянно и зло втолковывающих писарю. Я услышал только слова: «Каждый пять!» — и ответ писаря, ломающего язык под пленных: «Каждый десять!»

Описывать состояние лагеря значило бы снова описывать всю революционную Россию, которую лагерь представлял в миниатюре: грязь, вши, голод, тиф, разгул, всеобщая ненависть, к которым прибавлялась специфика жизни пленных, выражающаяся в жгучем желании скорей возвратиться на родину. Я инкогнито обошёл весь лагерь, сначала пытаюсь наметить первоочередные мероприятия и работы, а потом понял, что второочередных не будет. Всё выходило самым насущным.

И всё же самым первым был мой приказ о вечернем построении, приказ, вероятно, за всё революционное время вышедший

в первый раз. Он обитателями лагеря был принят за неслышанный. Ко мне явились выборные старшие казарм с выговором, что в России революция и они её восприняли по совести, проявили свою солидарность, отчего приказ о построении был расценен в качестве акта насилия. Я терпеливо всех выслушал, дал минуту остыть и сказал:

— Дисциплина — самый короткий путь домой, господа военнопленные!

— Но ваша революция — это... — хотел сказать один из выборных старших, однако не успел.

Его резко и зло, если не сказать, с ненавистью, перебил старший офицерской казармы.

— Die schlechte Sauerteig verdirbt das ganze Teig nicht! (Худая закваска не заквасит всей опары!) — сказал он по-словницей, и тем показывая, что революция их не касается.

— Но, как ни странно, сотрудничать со мной, то есть выводить лагерь на сносную с поправкой на время жизнь, стали не офицеры, а нижние чины. И это при том обстоятельстве, что офицерский состав лагеря, кроме посылок с продуктами и в обычное время незаметными, но в наших обстоятельствах становящимися просто роскошью предметами, получал ещё и ежемесячное денежное пособие.

На вечернее построение явилась лишь половина лагеря.

Офицеры не вышли вовсе. Я спросил старших, где пребывают их сотоварищи. Оказалось, кроме сказавшихся больными, большое количество их болталось по городу. И я каждый день видел их, болтающихся военнопленных, но сам не умеющий праздно болтаться, я не отдавал себе отчета, что они пребывают в городе не по какой-то надобности, а просто болтаются. Разумеется, я счёл такое положение, когда военнопленные болтаются по городу, невозможным. Я доложил об этом товарищу Семашко и получил выговор, будто именно я привёл лагерь в описываемое состояние. Я уже стал понимать, что революция — это то, когда все хотят приказывать, но никто не хочет взять на себя ответственность за исполнение. «Все, кроме Паши и Яши!» — уточнил я, присовокупляя к ним ещё и Ленина с Троцким. Я даже стал испытывать к ним некое странное уважение.

Далее наши служебные отношения с товарищем Семашко складывались по вполне просчитываемой схеме. Он находил обязанным ставить мне немислимые задачи, а меня находил обязанным их немислимым образом исполнять.

— Товарищ Норин! — выставлял он вперёд клинышек и тем как бы определял непреодолимое между нами расстояние. — Есть жалоба на худые крыши. Смею уверить себя,

что вы их почините не позднее третьего дня! — и следом клинышек вещал: — Товарищ Норин! Есть жалобы на уменьшение дачи хлеба. Смею уверить себя, что вы изыщите возможность её восстановить в прежней норме!.. Товарищ Норин! Есть жалобы на отсутствие у ваших подопечных литературы на их родных языках! Смею себя уверить, что... Товарищ Норин! Есть жалобы на то, что вы не предоставляете подопечным возможности заработка. Смею себя уверить, что... Товарищ Норин! Есть жалобы на недостаточное обеспечение лагеря мылом и карболкой, отчего ухудшается санитарное состояние вверенных вам граждан европейских стран. Вы представляете некоторые международные последствия? — и далее следовала некая попытка разноса, отчего-то прерываемая в самом начале. И опять следовали «жалобы» на то, что насыпные опилками стены казарм изъедены мышами, что в лагере не ведётся работа по воспитанию интернационализма, не ведётся запись в социалистическую Красную армию, снова «жалобы» на то, что худые крыши не чинятся, соответствующая литература не предоставляется, мыло с карболкой отсутствует, заработка нет.

Он ставил мне задачи, которые, будучи в обыкновенное время, решались бы без труда, а в наше революционное время

выходили по-настоящему невыносимыми. Негде было взять жести на крыши. Негде было взять стальной проволоки на изготовление мышеловок. Негде было взять лишней корочки, чтобы положить её в мышеловку. Негде было взять мыла и карболки. Негде было найти возможности заработка. И всего негде было взять.

— Не знаю, не знаю! А хоть разберите соседние обывательские крыши!.. А хоть переводите литературу на соответствующий язык сами!.. А хоть свяжитесь с эсерами, и они вам экспроприруют!.. А хоть наймите своим подопечным бонн с их манерами!.. А хоть выпишите из заграницы!.. Вы поставлены служить, так служите! — отвечал мне клинышек и завершал глубокие по революционности свои ответы новой попыткой нотации за неревolutionную постановку вопроса решения задач с некоторыми намеками на опасное отсутствие во мне революционности в целом.

Такое отношение ко мне не изменилось даже в том случае, когда мне кое-что удалось сделать. Вернее, удалось сделать не только мне, не мне одному, а нам, так как у нас тотчас же сложилась небольшая рабочая команда: я пригласил Серёжу и Анну Ивановну, и к нам присоединились некоторые из военнопленных. Прежде всего я ввёл строевую подготовку. Она неизбежно переменила

внешний облик обитателей лагеря. Со строевой подготовкой я ввёл гимнастику и вечернюю молитву. Серёжа взялся за разбор бумаг с таким жаром и с такой дотошностью, что быстро нашёл массу всевозможных нарушений прежней командой коменданта лагеря. Вышло даже так, что обитателей лагеря отпустил болтаться по городу писарь за определенную плату. Именно эту картину я застал в канцелярии в первый мой день. Оказывается, обитатели лагеря предлагали писарю по пять рублей за разрешение выйти в город, а он требовал по десять рублей. И сей предприниматель настолько насобачился в изыскании себе дохода, что придумал под любым предлогом и без предлога издавать приказ об аресте кого-либо из военнопленных и потом брать с них ту же плату за освобождение.

Выдача денежных пособий офицерам, врачам и санитарам лазарета часто прерывалась, и было неизвестно, куда они уходили. Куда-то девались и отпускаемые на нужды лагеря средства от совета. Численность обитателей лагеря по бумагам не совпала с настоящей их численностью. Некоторое количество их оказывалось, говоря старым языком, в «нетях», то есть, попросту говоря, была в бегах. Именно с целью побега некоторые военнопленные записывались в воинские формирования, например, в эскадрон

связи, получали необходимые документы и исчезали. Бывало, что исчезали с оружием. Те же мыло с карболкой по бумагам отпускались в лагерь. Но его обитатели единодушно отвечали, что ничего подобного не видели и покупали мыло за свой счет. Не всё ладно было с обеспечением хлебом и другими продуктами. Так что о корочке в мышеловку говорить не приходилось.

Дотошность Серёжи была определённо нежелательной. Меня спросили: «На каком основании?» — и проверили на счёт финансовой и штатной дисциплины. Благо я определил и Серёже, и Анне Ивановне статус волонтеров, а Гришу Камдацкого вообще отпустил на некоторое время домой.

Анна Ивановна взялась за организацию в лагере библиотеки. Её тоже заподозрили в своекорыстии. Она пошла в совет, в некий союз молодёжи, возглавляемый дочерью Яши, и те не только взяли её под защиту, что меня несказанно удивило, но и насобирали некоторое количество немецких, французских и английских книг разной тематики. Счастью Анны Ивановны не было предела. Его не умалило даже ревнивое замечание Ивана Филипповича, что «с советом-то надо бы не особо, а то вам-то сейчас Ерёмка, а нам-то потом Еремей Калиныч!» Сие следовало расшифровывать как предстоящий спрос, когда вернётся прежняя власть. А что

она вернётся, Иван Филиппович верил свято.

И, конечно, прежде всего я ввёл в лагере строевую подготовку, гимнастику и вечернюю молитву. Неизбежным следствием их стала перемена во внешнем облике моих подопечных. Они почистились, починились, подобрались. Даже офицеры позволили себе взглянуть на меня как-то благосклоннее — верно, так подумали, что я готовлю их к походу против своего Отечества. Далее я попытался найти возможность моим подопечным работы. На моё административное счастье вдруг выпала работа по ремонту казарм на Отрясихинской улице, куда я смог направить более сорока человек. По поводу остальных мы подали в совет просьбу о создании какого-либо кустарно-промышленного предприятия, не конкурирующего в производстве с местным населением. Я подумал даже о работе по приборке города, на какую город выделил приличную сумму, но всё равно не находил нужного количества работников. Отклика на предложение среди моих подопечных не нашлось.

Около меня сложилась группа помощников — венгр, несколько немцев, австрийцев и босниец. Я указал их национальные принадлежности потому, что были в лагере ещё и поляки, румыны и турки. Турок я, разумеется, спросил о месте и

времени их пленения. Ни одного не оказалось из мест моих боёв. Их, наверно, по традиции, отправляли в Самару, где некогда пребывал distinguished памяти Вехиб-мелик, квартирный старшина аула Хракере в бытность мою комендантом этого аула. Он утверждал, что самарцы относились к пленным туркам очень плохо, постоянно говоря при встрече: «Турка, домой!» — однако при этом щедро им подавая.

Особенно стал испытывать ко мне симпатию венгр, рядовой австрийской армии, пленённый ещё в четырнадцатом году, по имени Шандор. В лагерь он попал незадолго до моего прихода, а до того был в работах у крестьянина в деревеньке под Нязепетровским заводом, на жительство, по его словам, совершенно привольном. Наше правительство в семье, из которых кто-либо был призван в армию, стало направлять военнопленных в качестве замены рабочих рук. Стало оно это делать после того, как германское правительство нарушило международные договорённости о запрещении использования труда военнопленных. Шандор рассказал, что ему было в работах очень хорошо, но в их же деревне некоторые хозяева относились к его сотоварищам плохо, считая их виноватыми в том, что сыновья этих хозяев были на фронте.

— Мой хозяин очень был недоволен такими своими соседями. Он говорил: «А если и ваш сын сейчас где-то в плену, и к нему относятся так же, как относитесь вы!» — но это мало помогало. А я очень старался помогать моему хозяину. И я бы не ушёл от него, если бы не революция, не заключение мира и не приказ новой власти всех вернуть в лагеря! — сказал Шандор.

Я придумал создать в лагере школу русского языка. Совпало так, или было сделано намеренно, но мне тотчас пришлось предписание организовать митинг под лозунгом «Долой братоубийственную войну!» и «Да здравствует Интернационал!», а затем открыть курсы социалистов-интернационалистов, то есть начать обучать моих подопечных этому самому интернационалу. Хотя ожидать можно было чего угодно, но меня это предписание поставило в положение того незадачливого персонажа поговорки, который поехал за шерстью, а вернулся стриженным. Не хватало мне, как говорится, пригреть на своей груди гидру мировой революции! Конечно, я сказал об этом дома и сказал, что подам рапорт об оставлении должности. Иван Филиппович горячо одобрил меня. Он боялся, что при возвращении старой власти с меня сурово спросят. Анна Ивановна в своём служебном счастье стала меня уговаривать. В её намерении я увидел не

только желание оградить меня от возможных последствий рапорта, но и потаённое желание возбудить во мне к ней чувство. Она говорила о том, что в открытии курсов нет ничего предосудительного, что в отношении их я не иду против совести, а глаза говорили о счастье её работать со мной, видаться со мной по поводу и без повода всякую секунду. Бурков молча и тяжело вздохнул. Вздох сказал о непреходящей моей спеси.

— Ты можешь понять, что я не могу! — сказал я.

— А если бы этого от тебя потребовало Отечество? — спросил он.

— Чего потребовало бы Отечество? — не понял я.

— Быть тайным агентом со всеми этими штучками, которые предусматривает положение агента, в том числе и идти против себя? — подсказал Бурков.

— Я строевой офицер! — выпятил я нижнюю губу.

— Не убудет с тебя, ваше высокоблагородие! А без тебя эти курсы всё равно откроют. И чего ты добьёшься? — сказал Бурков.

— А того он добьётся, — вступился за меня Иван Филиппович, — что и так много себе позволил, чего не следовало позволять. Мыслимое ли дело к советам, к этим висельникам, на службу пойти. Как перед Богом-то потом встать!

— А мы как встанем? — спросил, скрывая усмешку, Бурков.

— Про вас, оллояров несметных, не знаю. А про него знаю. Отечеству-то послужили! И нечего его вместо рогатого испытывать! — обрезал Иван Филиппович.

— А вместо рогатого будет безноса с косой! — буркнул себе под нос Бурков.

За ужином все долго молчали. Я заговорил первым. Я спросил Буркова о делах с Дутовым Александром Ильичём. Оренбургская степь оттаивала. Бои между его частями и сводными отрядами красных шли широким фронтом от Еманжелинской станицы до Верхнеуральска и катились к Троицку. Бурков молча погонял по тарелке селедочью голову, оставляя как лакомство на потом, и сказал:

— Приказ: казачьи станицы, которые пошли за Дутовым, будут расстреливаться артиллерией!

Я вспомнил октябрь четырнадцатого года, высадку турецкого десанта под городом Хоп, пятидневный бой, представление меня к ордену Святого Георгия и приказ расстрелять из орудий восставшие в нашем тылу аджарские селения.

— Не ново! — сказал я.

— Но это же варварство! — вспыхнула Анна Ивановна.

— Три месяца назад варварством казачество посчитало расстрел в Троицке нашими несколькими казачьих офицеров. Теперь расстрел станиц — уже не варварство. Война начинается, какой не видывали! — прижал

селёдочью голову к краю тарелки Бурков. — А у нас, — помолчав, сказал он ещё: — У нас, я думаю, контра просто наглеет. Вон расформировали Первый кавалерийский эскадрон Ардашева.

— Родственника тому Ардашеву, которого в январе застрелили якобы при попытке к бегству? — спросил я.

— Возможно. Я не интересовался, — сказал Бурков. — И что характерно, — продолжил он дальше. — Эскадрон расформировали, а Ардашеву поручили формировать новый. Я на заседании говорю: «Как же так? Он допустил разложение эскадрона. Его люди пьют, гуляют, в пьяном виде носятся верхом на лошадях по городу, людей давят, занялись грабежом и квартирными обысками, а командиру все сходит с рук!» — а мне: «Товарищ Бурков! Что за непонимание момента, что за политическая близорукость! Анархисты вон этим занимаются с самого начала революции. Так что, нам их арестовывать? А кто же революцию будет защищать?» — Я: «Но в Москве и Питере их ликвидировали с боем!» — Мне: «Москва нам не указ! Тем более что Ассоциация анархистов объявила, что не отвечает за дела отдельных членов!»

— А убийство семинариста Коровина матросами расследовано? — перебил я.

— Думать все забыли, — усмехнулся Бурков.

— Вот, а ты такой власти служишь не за страх, а за совесть! — не стерпел Иван Филиппович.

— А ты вот, Иван Филиппович, веришь в Бога, а я верю в светлое будущее — коммунизм. Ему и служу! — сказал Бурков.

— В союзе молодежи у Юровской тоже об этом светлом будущем говорят и готовы поехать на Дутовский фронт! — сказала Анна Ивановна.

— И ещё что. Дыбенко арестовали, этого главного по морским делам, главного матросика! — сказал Бурков. — Так же, как этот Ардашев, распустил свою матросню! Его арестовали. А этого поставили формировать новую часть. Наглеет контра! — Бурков наконец занялся селедочной головой.

Вечером перед сном я опять сел на крыльце против глухой стены соседнего дома. «Были липы — не было стены. Сгубили липы — стала стена! — думал я, ругал себя за спесь, за что-то ещё такое, что не дало мне ума наплевать на все решения корпусного ревкома и остаться в сотне у Василия Даниловича Гамалия, в отряде у Лазаря Фёдоровича Бичерахова или, на худой конец, в отряде у душки-пьяницы Андрея Григорьевича Шкуры. — Теперь пялся на эту стену и служи агентом, то есть сволочью!» — сказал я и ничего иного не смог придумать, как только пустить всё своим чередом. Деваться мне было некуда. Я был один в этом мире.

Курсы открылись. Пришёл работать на них старый работник социалистического интернационала товарищ Грюн. Первое же занятие моими подопечными было проигнорировано. Явился на него, кажется, только мой знакомый венгр Шандор.

— Я хотел узнать, как дела у нас дома. А он мне стал говорить какое-то учение! — поделился он со мной своим недоумением.

— Вот, — сказал Бурков. — Считай, что ты саботируешь его работу. Тебе зачтётся, — он посмотрел, нет ли рядом Ивана Филипповича, — зачтётся, когда придёт твоя мифическая старая власть!

Но всё было не так невинно. Вдруг выявилась в лагере довольно внушительная группа различного толка политических воззрений и принадлежности к различным партиям, часть из которой была готовой не только понести революцию к себе домой, но и защищать революцию в России. Какого чёрта не приперлись они на курсы, я не стал разбираться. Но на факт игноранции курсов власть отреагировала присылкой комиссии, которая предписываемых лозунгов о конце братоубийственной войны и пожелания здоровья интернационалу не обнаружила. Прибыл в лагерь сам Яша, то есть Янкель-Яков Юровский. Прибыл он на роскошном авто с открытым верхом, возможно, открытым нарочно,

чтобы обыватель по дороге видел, кто едет.

Я знал его со слов Буркова, знал, что он болел и очень сильно чахоткой и ревматизмом, что в пятом году организовывал беспорядки в Томске, стрелял в публику. В Екатеринбурге он владел фотографией на Покровском, недалеко от угла с магазинами Агафуровых, дальновидно сохранил негативы и данные всех пользовавшихся его услугами со всеми вытекающими по нынешнему времени последствиями. Бурков говорил, что он хладнокровен, беспощаден и мстителен — кажется, мстил за своё нищенское детство, что он тип более обыкновенного бандита, чем революционера.

Он приехал в тот момент, когда я разбирался с изобличенным в поборах с пленных писарем. Охрана, уже построенная мной в соответствии с уставом караульной службы, кляла меня последними словами, грозила мне изошрёнными карами, но службу держала. Из-за роскошного авто она приняла Яшу за представителя Красного Креста или за кого-то из дипломатических миссий, проще говоря, за буржуя и в полном соответствии с пролетарской неприязнью ворот раскрывать не подумала. Яше выйти из авто и пройти через караульное помещение показалось ниже всякого достоинства — не для того он-де строил революцию, наживал

хворости и даже продавал свою фотографию. Да и просто показать документы — тоже было выше его правил. Он схватился за оружие. Не знаю, уж какие пролетарии были передо мной на Мельковском мосту в день моего приезда в Екатеринбург, что я, безоружный, разоружил двух вооруженных, но в охране лагеря были пролетарии, так сказать, иного калибра.

— А вяжи его, буржуя такого-то! А тащи его к нашему сатрапу! — скомандовал начальник охраны, под сатрапом имея в виду меня.

— Я Юровский! — запоздало закричал Яша.

— А мы верх-исетские! — дала ему тычка охрана.

Так он предстал передо мной не совсем в надлежащем виде и с порога закричал, что он весь лагерь, эту воровскую малину и рассадник бандитизма в городе, сотрёт с лица земли, а меня как ответственное за творящиеся безобразия лицо расстреляет лично и почему-то за курятником — странная воля для еврея, не имеющего никаких отношений с сельским хозяйством.

Я, конечно, узнал его — каким-то чутьём догадался, что это именно Яша. Но быть расстрелянным не перед строем войск мне показалось обидным. И надо знать, что крик и угрозы действуют на меня не совсем в той степени, в какой предполагается. Меня давние мои рубцы потянули влево. Я, чтобы выровняться, наклонился вправо. Легкие мои

на миг пресеклись. И вместо желаемого для успокоения Яши хорошего лекаря я успел сказать только слово «арестовать».

Сделано это было с восхитительной пролетарской расторопностью оторваться на буржуе.

Дальнейшие события были бы вполне прочитываемы, кабы Анна Ивановна не сообразила побежать к Буркову. Бурков прибыл в лагерь вместе с председателем совета Белобородовым, комиссаром Шаей Голощёкиным, ещё несколькими представителями власти и, по сути, закопёрщиками Яши. Общими усилиями решили делу не давать ход. Но Бурков сказал, что Яша явно уже вынес мне приговор. Меня уговорили сказаться больным и на некоторое время на службу не выходить. По моему положению прапорщика я не мог показать моих документов о ранениях, контузии и обмороженных легких. Но обошлось без них. Меня обследовали врачи лагерного лазарета Герценберг и Бендерский, признали необходимым лечение и отдых, причём лечение не где-нибудь, а на водах или, как они выразились, «хорошо бы на Капри в Италии, где пребывал некто литератор Пешков, пишущий под псевдонимом Горький. Но, — посожалели они, — вы не деятель культуры, а всего лишь

офицер старой армии». Сказали они это искренне и отпустили мне на лечение три месяца. Я вдруг потерялся и сказал, что в пятнадцатом году меня в Горьком госпитале уже рекомендовали на лечение в Крым.

— Позвольте, но!.. — настояжились мои врачи, однако тотчас себя осекли своей задачей лечить, а не искать несоответствий в биографиях пациентов.

Заключение мне давал главный врач гарнизонного госпиталя Белогородский. Он не преминул вспомнить, что в бытность товарища Юровского госпитальным фельдшером был к нему весьма лоялен.

— Да, да! Замечательный человек! — сказал я, открывая в себе возможности актёра.

— Но вы поступили с ним таким необычным образом! — пожурил меня врач Белогородский.

— Служба обязывала! — отказался я от дальнейшего разговора.

И как было сладко натолкнуться на мысль о водах на Кавказе, о генерале Эльмурзе Мистулове, к которому у меня были рекомендации от нашего Эрнста Фердинандовича Раддаца, в пору моего отбытия со службы замещающего командира корпуса генерала Баратова. Как сладко было представить себя в кругу моих друзей и соратников...



Марина ГАХ

ПОНИМАЮ — РАНО УМИРАТЬ

Стихи

Марина Владимировна Гах родилась в Ялте, окончила Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности архитектор, Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Ю. Кузнецова), кандидат филологических наук, член Союза писателей России. Публиковалась в журналах «Наши современники», «Возрождение» и др. Победитель конкурсов «Золотое перо», «Патриот России», им. Р. Рождественского, им. К. Симонова и др. Многодетная мама. Живёт в Москве.

Ю. П. Кузнецову

ЗАСАДНЫЙ ПОЛК

В горечи дубового листа
Времени настоящего сок.
Наклонившись к серебру
креста,
Ветку дуба зацепил Боброк.

Над шеломом сквозь победный
крик
Лист дубовый звонко трепетал.
Почему я помню этот миг,
Лишь его — и в памяти провал.

Нас теснит невидимая рать,
И потерей подводя итог,
Понимаю — рано умирать,
Мы остались, как засадный
полк.

Лишь молитва, воля и расчёт,
К нам судьба безжалостно
строга.

И весь день, до золотой зари
С длинной ветки дзенькает
 синица.

Пилит звуком тонким тишину,
И вокруг как будто потеплело.
Вот синичка первую струну
В ледяном безмолвье отогрела.

Будет небо в песенном огне,
Семечко прольётся соком
 винным,
Прежде чем той солнечной
 струне
Лопнуть в небе стоном
 журавлиным.

САПОГ

Егору Алексеевичу Овечкину

Не хватает старику бутылки.
Затянуло синий взгляд слезой.
Видит в ряд торчащие ботинки,
А тела присыпаны землёй.

Догонял свой полк от переправы,
И среди на смерть обутых ног
Разглядел свой несчастливый,
правый,
Кое-как залатанный сапог.

Видно, в спешке с другом
поменялись.
Так и есть: два разных сапога!
И шальная накатила радость —
Средь убитых не его нога.

Он теперь один воюет с горькой,
И глядит: по лугу за окном
Друг идёт с разбитою винтовкой
И его чинёным сапогом.

КОЛЫБЕЛЬ

Я сплету тебе люльку из
ивовых прутьев,
Разукрашу корою берёзы
плакучей,
Чтоб не сбили с пути вековые
распутья,
Горизонт не закрыли ненастные
тучи.

Видишь: ветки берёзы
 протянуты к дому,
Слышишь: гнётся лоза и
 ломаться не хочет,
Постелю я на дно золотую
 солому,
Чтоб тепло не забрали
 холодные ночи.
Просмолю коноплю и на месяцц
 закину,
Пусть качается люлька
 по звёздному кругу,
И пускай переходит от дочери
 к сыну,
И от старшего внука
 к младшему внуку.

И поднимется род ради
 праведной цели —
Переселить беду, сохранить
 свои корни,
Чтобы помнить — мы все из
 одной колыбели,
Чтобы помнить...

ПУПОВИНА

Когда ребёнок ещё плод,
Во мне играет и растёт,
Он видит мир из глубины —
Светлы младенческие сны.
Он слышит мир издалика:
Звенит капель, поёт река.
И всё он чувствует со мной,
Но зрит ещё и мир иной.

Когда я сплю, порой не спит,
И, словно с кем-то говорит
На непонятном языке,
Я слышу звуки вдалеке.
То вдруг, забыв про мой живот,
Летит, я чувствую полёт.

Когда ему подходит срок,
Я слышу времени поток.
Сгибают мощные леса
Живых и мёртвых голоса.
И все народы, все века
В меня втекают, как река.

И давит тяжесть древних вод,
И опускается живот,
С водою мной прожитых лет
Дитя рождается на свет.
И пуповиной завязать
Должна всю память рода мать.

КРЫМСКАЯ СОСНА

Кто ведаёт, какой ценою
На скалах достаётся жизнь?
Упрямой крымскою сосною
Обжита гибельная высь.

По склонам и отлогам горным
Она взбирается наверх.
Внизу лесов зелёных волны,
Где почва и вода для всех.

Одной ей ничего не надо,
Лишь этот голубой простор,
И за терпение награда —
Суровая поддержка гор.

И я смиряюсь понемногу,
От пёстрой прелести земной
Душою устремляюсь к Богу
Вослед за Крымскою сосной.

По мере сил даётся испытанье,
Но русская судьба всегда
страданье.
За всех в ответе мы и перед
всеми,
Иные здесь пространство,
память, время.
Иной удел: не сытость и
богатство,
Духовный подвиг и земное
братство.

И мы с тобой съедаем свой
пуд соли,
Чтоб стать достойными обычной
русской доли.

БАБЬЯ ЖАЛОСТЬ

Из щедрот земных досталась
Мне в наследство только
жалость.
Бабья жалость вековая,
Неизбывная, слепая.

Я несу её и плачу,
Что я в этом мире значу,
Ничего я не умею,
Лишь по-бабьи всех жалею.

А навстречу мне с дитятей
Выходила Божья Матерь.
«Не печалуйся! – велела,
Это я весь мир жалела,

От меня тебе досталась
И любовь, и бабья жалость».

Никольский скит на острове
Крестовом,
И Ладоги распахнутая ширь.
Как много в этом образе суровом
Для русской притягательно
души.

Как будто сердцу муки
не хватает,
Чтоб выстрадать последнюю
любовь,
Средь валунов зелёный лёд
не тает,
И ветер щёки обдирает в кровь.
Между землёй и небом одиноко
Бредёт на остров русский
человек,
Ему нужна опасная дорога,
И резкий ветер, и колючий
снег.

Он так с души своей взыскует
строго,
Что и во тьме кромешной
видит путь.
Он добредёт и встанет у порога:
«Впусти, Никола, дай мне
отдохнуть».





Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ

А ПОТОМ ПРИШЛО ОДИНОЧЕСТВО

Рассказ

Виктор Васильевич Брюховецкий родился в 1945 году в Алейске Алтайского края. Около 50 лет проработал на опытном заводе государственного института прикладной химии, служил в рядах Советской армии. Заочно окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по профессии инженер-электромеханик. Поэт, прозаик, член Союза писателей России, автор 14 поэтических книг, более 100 публикаций в отечественных журналах. Лауреат всероссийских литературных премий им. А. Прокофьева, им. А. Невского, Пушкинской (Нью-Йорк), журналов «Москва», «Наши современники», «Нева» и др. Живёт в пос. Кузьмолровский Всеволожского района Ленинградской области.

1. Старик и Сеттер

Сеттер — это кличка и порода одновременно. Уж так получилось. Жил Сеттер в старой саманной хате, что ютилась на самом краю деревни. Вместе с Сеттером жил и Старик. Старик был одинокий, и Сеттер был одинокий. Бабку свою Старик схоронил давно, так давно, что если на пальцах считать, сколько лет минуло, то пальцев на руках, пожалуй, не хватит. Сеттер никого не хоронил, а был одиноким потому, что не было во всей деревне ни одной собаки такой породы. Дворняги были, а вот сеттеров не было. Выйдет Сеттер, бывало, на улицу, по всей деревне пройдёт — снуют дворняги по дворам да по свалкам, тявкают друг на друга; много дворняг, а поговорить не с кем... И было это не от того, что Сеттер

гордый был, нет. Разговор когда получается? Разговор тогда получается, когда понимают друг друга. Дворняги Сеттера не понимали.

Вот и вчера. Ведь с открытой душой подошёл он к соседской Жульке. Плохого не таил. Подошёл, правда, по-сеттерски — хвост на отлёте, голова поднята. Ну, так иначе он и не мог. Сеттер всё-таки, понимать же должна. Подошёл и спросил:

— Что ты в этой помойке хорошего нашла? Грустно же, наверно, вот так целыми днями гнильё всякое нюхать. Пойдём лучше со мной к озеру.

— Куда, куда? К озеру! — И захохотала. Вот дура. Не красиво смеялась, нехорошо. Лапы кривые расшеперила, глазами жёлтыми вращает и пальцем в Сеттера тычет. — К озеру... Индюк красномордый! — так прямо и сказала «индюк» и снова захохотала.

— Сама ты... — Сеттер хотел сказать что-нибудь едкое, но не сказал. Что зря брехать. Сеттер есть Сеттер — каждое слово на вес золота.

Старик знал о такой его одинокости и обходился с Сеттером всегда уважительно, с лаской. О дружбе этой я и хочу рассказать.

Достался Сеттер Старiku, можно сказать, неожиданно-негаданно. Лет шесть, а может, семь назад — Старик счёт годам не

вел — в один из дождливых октябрьских вечеров кто-то осторожно постучал к Старiku в кухонное окно. Ткнулся хозяин к стеклу, видит — человек в темени обозначен, по обличью, вроде, чужой. Стоит и рукой в сторону двери показывает, пусти, мол. Старик людям верил и дверь открыл сразу.

«Чужой» оказался и вправду чужим. Молодой, лет двадцати пяти. Обут был в бродни, одет в куртку брезентовую, за спиной рюкзачок тощий, а на плече чехол с ружьем. Из-под куртки патронташ выпячивался.

Охотник, видать, приبلудный, подумал Старик, но расспрашивать гостя ни о чём не стал. Дровишек в печь подбросил, пламя оживил и чайник на середину плиты подвинул. Гость поздний, стало быть, на всю ночь, а коли так, то его и покормить нужно. Картошка в духовке ещё горячая, а вот чай приостыл.

За столом разговорились. Гость водку и консервы из рюкзака достал. Водки — маленькая, консервы — рыбные. Назвался Владимиром.

Оказалось, что сам он из города, до Карасёвки добирался автобусом, а с остановки до деревни все шесть километров шёл пешком. Приехал поохотиться, наслышан об этих местах, но раньше никогда здесь не бывал и вообще в этих краях никого не знает. Всю деревню

насквозь прошел, всё думал кого увидеть, но, видно, уже поздно, улица пуста, к тому же накрапывало, и, когда деревня кончилась, он и постучал в крайнюю хату. К Старику, значит.

Старик гостя слушал молча и вот о чём соображал: а не сходить ли и самому с гостем на охоту. И не куда-нибудь сходить, а на Ключи. С прошлого года там не был, как под самую зиму отохотился, так больше и не был ни разу. Утка уже северная должна пойти, острохвостая. Никто там дичь от весны не пугал. Охотников на всю деревню — он да Пахом. Пахом, конечно же, на Ключах не был. Молод, но ленив, всё поблизости промышляет.

Уставший с дороги, разморенный теплом и стопочкой водки, гость уснул быстро.

Старик уснул не скоро, долго лежал и всё думал. Заснул он только тогда, когда окончательно решил, что гостя он на охоту сводит. И гостя сводит, и сам разок-другой пальнет. Старик даже спланировал, в каком месте он гостя на перелете поставит, а где станет сам. Гостю он место отдал самое хорошее, самый мысок отдал: там и берег потверже будет, и камышом прикрыто, и утка как раз на снижение идёт.

Спал гость долго. Проснулся, заволновался. Старик его успокоил.

— Не горься. Вот поедим,

соберёмся и пойдём не спеша. В полдень выйдем — к заре будем. Справлю я тебе охоту... — Владимир чем-то глянулся Старику. Вроде чужой, ехал бы, катился, как говорится, ан нет, поманил Старика к себе.

Старик гостю охоту справил.

На перелёт стали засветло. Старик в углу, а Владимир на мыске, как и планировалось. Утка действительно шла уже северная, острохвостая. Не успел Старик обтоптаться в своём углу, а Владимир уже отдуплетил.

Утки было много. Моталась она небольшими табунками, к холодам готовилась, жир набирала. Старик долго не стрелял, на птицу смотрел. Он знал, что стрельнуть нужно один раз. Двух-трёх он на дуплет возьмёт, а больше ему по такой теплой погоде и не нужно, худовата ещё, не выходилась. Уже смеркаться стало, когда он вскинул к плечу свою двустволку. Выпали из табунка три утки на сухое, Старик их подобрал, а ружьё перезаряжать не стал.

Владимир душу отвёл. Стрелял много, но, как потом выяснилось, толку от этой пальбы было мало.

Домой вернулись ночью.

Утром Владимир ушёл. Довольный ушёл. Семь уток в город повёз, пять, что сам убил, а двух Старик подарил. Владимир обещал быть ещё.

Обещал, но не приехал. Не приехал, не приехал — так и не приехал.

Может, времени не было, может, чего другое, но, как потом оказалось, о Старике он помнил.

Через зиму, в самом конце мая, председатель колхоза к Старiku на газике подрулил. В хату вошёл, портфель пузатый расстегнул и щенка из него вынул. Щенок на пол встал и лужу сотворил тут же, то ли в дороге приморился, то ли пол понравился. Сам красный, нос черный, а уши, что лопухи, до полу свисают. Смотрел на это Старик и ничего не понимал. А председатель ещё и книжку из портфеля достал.

— Это, дед, тебе подарок от какого-то Володи. А в книжке всё про этого цуцика написано. Охотничья, что ли. Сеттером кличут. — И ушёл.

Слово такое — сеттер — Старик и раньше слыхивал, и то, что это порода собачью означает, тоже знал. Но если собаке кличка дана, то переименовывать это Старик не стал. Сеттер так Сеттер. Даже красиво.

Так и поселился Сеттер в стариковой хате.

Словно в туман канула городская квартира, здесь всё было проще — лавка да стол, печь да кровать. А ещё около самой двери сундук стоял. Был он большой, в зелёное крашеный и металлом блестящим

окованный. Приглянулся он Сеттеру сразу и вот чем: Старик из этого сундука одеяло красное достал и около печки расстелил. Место, стало быть, для Сеттера приготовил. А когда одеяло расстелил, то и сам около него на колени пристроился и Сеттера к себе поманил. И сундук хороший, и одеяло красивое, и Старик, наверно, тоже хороший. Сеттер на стариковский манок откликнулся сразу, задаваться не стал и просто так, без всяких ужимок, к Старiku подошёл. А когда Старик его на руки взял и к себе прижал, то Сеттер запах новый учуял, и запах этот ему очень понравился. От Старика волей пахло, воздухом свежим, росами. Запахи эти Сеттер чуял первый раз, но он же был — сеттер! Откликнулась кровь его на эти запахи, пронзила сладкая боль всё его крохотное тело и вон ушла. Ушла, да не вся! Остался осколочек боли этой где-то под сердцем. Крохотный такой, незаметный, почти неощутимый. И остался он там на всю сеттерову жизнь.

Старик держал Сеттера на руках, ощущал его тепло и ещё не понимал, как щедро отблагодарил его Владимир. Не мог он и предположить, какая дружба у него получится с этой собакой, сколько радости доставит ему Сеттер на старости лет.

Дальнейшая жизнь Сеттера началась с того, что он хорошо поел и крепко уснул на красном

одеяле, прижавшись спинкой к тёплым побеленным кирпичам уже остывающей печки. Сам красный, одеяло красное, печка теплая — хорошо-то как, Господи! Проснулся он перед заходом солнца. Старика в хате не было, а двери оказались плотно прикрыты. Он поскулил минуты две у порога, а когда устал скулить, то пошёл в угол и сделал свои дела. Он понимал, что не хорошо делает, но терпеть больше не мог.

Когда Старик вернулся в хату, то Сеттер уже ознакомился со всем домашним имуществом. Сундук он уже знал, там раньше лежало красное одеяло, стол был похож на тот, что остался в городской квартире, больше всего его заинтересовала кровать. И не то чтобы сама кровать, а блестящие шары, что торчали на ней по углам. Он даже пробовал на них лаять, но лай не получился, и он это дело оставил.

— Сеттер! — позвал Старик, и Сеттер, покачивая своей вислоухой головой, подошёл к Старiku.

— Ишь ты, понимает. Стало быть, и впрямь сеттер.

В тот вечер Старик сколотил из досок небольшое корыто и насыпал в него песок. Установил он это корыто в тот самый дальний угол, где уже побывал Сеттер со всеми своими делами. Сеттер всё это внимательно обнюхал и понял, что это сделано для него. Так

была решена проблема плотно закрытых дверей.

Каждое утро Старик куда-то уходил, и Сеттер оставался в хате один. Он на это не обижался, он понимал, что так нужно, и вёл себя спокойно.

По вечерам они играли. Игры Старик придумывал простые, но каждая из них была со своим смыслом. Сеттер никогда бы не догадался, что Старик эти игры вычитывал из той самой книжки, что это были простые элементы дрессировок.

Так к концу лета Сеттер хорошо усвоил слова — «ползи», «тубо», «пиль». Вообще-то он уже много слов знал, но все они обозначали, что он — Сеттер — и умница, и молодец, и хороший. А эти слова были особые. Каждое из них призывало к действию. К слову «ползи» Сеттер относился равнодушно. Эка невидаль — проползти, но он любил Старика, и когда тот говорил «ползи», то Сеттер полз.

Слово «тубо» он не любил. Нехорошее было это слово. Оно означало запрет. Нальёт Старик супу в миску, скажет слово «тубо» и хоть будь суп того вкусней, как бы Сеттеру есть ни хотелось, он знал, что на суп наложен запрет, что суп есть нельзя.

Самым весёлым было слово «пиль!». «Пиль!» — и суп можно есть. «Пиль!» — и можно хватать мячик зубами. «Пиль!» — и со стола можно взять конфету. «Пиль!» — это не просто можно, это даже нужно.

Всё чаще и чаще разрешал ему Старик выходить из хаты, в магазин с собой брал, а магазин — это далеко, это на другом конце деревни. Правда, в магазин Старик его не пускал, ну и пусть. Зато Сеттер знал теперь всю деревню, и если что — легко мог найти свою хату.

А когда с деревьев стали осыпаться листья, а на лугу порыжела трава, Старик впервые повёл Сеттера к озеру. Озеро это находилось рядом с деревней, но Сеттер ни разу на нем не был. Шуршит под легким осенним ветром побуревший камыш, тянет из камыша прохладой, а воды не видно. Чует Сеттер, что рядом она, и так ему в воду хочется! А камыш густой — носа не воткнуть, и шуршит уж очень тревожно. Мечется Сеттер по берегу, мнет низкорослую осоку, на лапы передние припадает и так на Старика смотрит: ну, что, мол, ты меня мучаешь? А Старик на Сеттера глядит и улыбается:

— Молодец, ах, какой молодец! Может, и будет из тебя тот самый толк, но погоди. Зелёный ты ещё, хоть и красный.

В первый раз Старик воду ему не показал — пусть потомится, потом слаще будет.

Дня через два солнышко угадалось, и опять Старик повёл его к озеру. Только на этот раз подошли они к озеру с другой стороны. Берег здесь

был чистый, камышом не поросший. Увидел Сеттер воду и замер. Так вот ты какая большая! Только так подумал, тут же под сердцем осколочек шевельнулся. Тот самый... Молчал Старик, глядя на озеро. Старику прошлое мерещилось. Ох и длинна ты, жизнь человеческая!.. Озеро это Старик помнил, как ещё маленьким был. Выпала из памяти жизнь, осталось только начало да миг вот этот. Озеро, почитай, раза в два уменьлось. Да где там в два!.. Как же раньше не замечал? Вон плес какой крохотный остался, да и тот уже в коих местах резунот проткнутый. Лет ещё пять, ну, десять, и совсем похерится озеро, умрёт. Останется от воды бочажина гнилая. Озеро уже умирает, а Старик всё живёт. Вот как долго живёт!

Сеттер тоже молчал. Он прижался к ногам Старика и мелко вздрагивал. В чёрных глазах его притаилась тревога, а когда посреди озера рыбина сыграла, Сеттер совсем растерялся.

— Ну чего ты, дурачок, трусишься? — старик ласково погладил его по голове. — Это просто вода, и ничего в ней страшного нет, смотри, — и, отвернув бродни, Старик медленно пошёл в воду.

Заметался Сеттер по берегу, заскулил, и, когда вода дошла Старику до верха сапог, он не выдержал, разбежался и как-то

боком, неуклюже прыгнул за Стариком. Страшного в прямь ничего не было. Было жутко и радостно.

Потом уже Сеттер ходил в воду без Старика.

В тот вечер Старик придумал новую игру. Называлась она «Принеси поноску». Поноска — это старая рукавица, меховая внутри и снаружи обшита брезентом. Когда уже стемнело за окном, Старик сел рядом с одеялом, позвал Сеттера и осторожно провёл рукавицей по его носу. Сеттеру это не понравилось, и он отвернулся. Старик снова провёл рукавицей по его носу. Сеттер снова отвернулся. На четвертый раз Сеттер схватил рукавицу зубами.

— Умница, Сеттер, умница, — приговаривал Старик, а сам гладил его по голове и осторожно отнимал рукавицу.

Потом Сеттер хватал рукавицу зубами сразу, как только Старик подносил её к его носу. И каждый раз Старик хвалил его и гладил по голове. И вдруг Старик скомандовал:

— Принеси! — и бросил рукавицу к порогу. Сеттер ещё и сообразить не успел ничего, как тут же услышал — «пиль!» Ого! И он с подстилки прыжком кинулся за рукавицей.

На другой день Старик заменил рукавицу утиным крылом.

А скоро выпал снег.

Игра в «поноску» с каждым

днём становилась всё сложнее. Теперь Старик крыло не бросал, а прятал его от Сеттера где-нибудь за сундуком или под кроватью, и к известному теперь слову «принеси» добавилось еще одно «ищи!». Сеттер крыло находил, оно хорошо пахло, и приносил его Старiku. Иногда Старик давал ему за это конфету, мягкую такую подушечку. Так не назойливо, постепенно Сеттер превращался в хорошую охотничью собаку.

Зима ему не понравилась. Сеттеры вообще плохо переносят холода, а сибирские зимы, не в пример другим, люты и очень буранны. На улицу Сеттер ходил редко, выйдет, покрутится на сугробе и назад скорей, к печке тёплой, к Старiku.

По вечерам Старик вязал сети. Он и днём их вязал, но вечера Сеттеру полюбились больше всего. Когда мечутся за окнами больные снега, когда от печки струится тепло, когда старенькая десятилинейная лампа мерцает красным своим керосиновым пламенем, а в трубе подвывает, было любо Сеттеру лежать на зелёном сундуке и смотреть, как Старик, приладив на нос очки, вяжет и вяжет квадратики из тонкой фильдекосовой нитки. Старик вяжет сеть, вяжет, а потом отложит челнок и к Сеттеру повернётся:

— Ну как тебе, голубчик, со мной не скучно ли?

— Нет, — скажет Сеттер, — совсем не скучно. Хорошо мне с тобой.

— Ну коли тебе хорошо, то и мне хорошо.

К весне Сеттер заматерел. В полный рост вошёл и силу набрал.

Когда по первым проталинам Старик взял его с собой в магазин, то Пахом, увидев Сеттера, аж руками всплеснул:

— Вот это кобелина!

— Тьфу тебе в глаза! Ты, Пахом, что дурак! Чо ахнешь-то, собак не видел? — Старик суеверным не был, но в глаз дурной верил.

— Да я ж не по злобе, — смутился Пахом.

— Не по злобе, — передразнил Старик. — Сковырнётся псина, потом, поди, разберись, — и в тот же вечер сводил Сеттера к бабке Ленчихе, чтобы та собаку от глаза дурного оборонила. Ленчиха в умение своё противосатанинское крепко верила и под первую весеннюю рыбку, что посулил Старик, собаку от лихого глаза водой сбрызнула.

После Пасхи Сеттер получил боевое крещение. Старик приводил в порядок плетень, когда на самую верхушку тополя с гомоном уселись две вороны. Всякую птицу Старик уважал, а вот ворону с детства не любил. Нелюбовь к этой птице ему ещё отец привил.

— Скверная птица, не от

Бога. Ворону убьёшь — всё одно, что семь грехов отмолишь.

В том, что ворона — птица пакостная, Старик убеждался не раз, и если подходил случай, то заряда для неё не жалел. Тихо, несуетно — ворона хитра, спешку людскую не любит — Старик вошёл в хату, снял со стены ружьё и вложил в патронник патрон. Сеттер гулял по двору, когда из сеней его негромко позвали. Старик волновался: как-то собака на выстреле себя поведёт, не испугается ли? А Сеттер словно почуял что, к ноге стариковой прижался и напружинился весь. Вороны беды не ждали, сидели на тополе широко и перекаркивались. Выстрела Сеттер не испугался, он только присел глубже и, услышав короткое «пиль!», понял, что от него требуется. Крылья вороны очень напоминали то крыло, которое всю зиму от него прятал Старик. Когда Сеттер принёс ворону и положил её к ногам Старика, то Старик понял, что он плачет, и ещё Старик понял, что без Сеттера ему теперь никак нельзя.

Работу свою Сеттер любил крепко. Старик за ружьё — Сеттер на порог. Старик в лодку — и Сеттер в лодку. Челноком ходил, ни на шаг в сторону. Дивился Старик собачьей такой привязанности и платил за это Сеттеру лаской.

Всё лето прожили они на озерах, рыбу промышляли, а осень

надвинулась и остыли ночи — перебрались в хату свою саманную. Рыба ещё не кончилась, а охота уже началась. Теперь с Сеттером все чаще и чаще брал Старик свою двустволку и уходил на местные озёра. Ключи далековато были и ходить туда за двумя-тремя утками не резон. Ключи — это когда морозы приступят. Озёрные россыпи эти безрыбные были, кроме гальяна — ничего, но зато дичью богаты. Расположены выгоднее других озёр, гривами укрытые, мелководные, ряской да камышом обильные, — а что ещё для выводков надо? — и постоянно билась там утка, летом и в сентябре своя, местная, а глубже к зиме шла на Ключи северная.

Если сказать, что Старик только тем и занят был, что уток стрелял, то это неправдой будет. Прикинет, что ему нынче три утки нужны, трёх и стрельнет. Куда их больше-то, портится дичь в тёплую погоду, а присоленную он не уважал. Много дичи он стрелял перед самым ледоставом. Мудр от жизни долгой был, в приметы верил, птицу хорошо знал, а потому морозы крепкие нутром своим дня за два чуял. Как только пойдет утка над озёрами ходом, значит, скоро и морозам быть, значит, утку нужно стрелять, много стрелять, чтобы на всю зиму хватило. Готовил он их впрок очень просто — щипал, не палил, потрошил и

выносил на холод. Два-три дня дичь, тем более жирная, на холоду пролежит, а там и морозы придут. А морозы придут, окатит Старик тушки утиные водой колодезной, наслоит на них ледку немного и к жердям подвесит. Такая дичь до самой весны хорошо хранится, не ржавеет.

До Сеттера Старик утку стрелял выборочно, с расчётом, чтобы на сухое падали, да чтоб подранков не было. Теперь у Старика был хороший помощник, и в ту осень отстрелялся он на Ключах за две зари.

Вот так они и стали жить: от весны до осени на воле, от осени до весны в хате своей саманной.

В ту осень Сеттеру шёл не то шестой, не то седьмой год. Сентябрь отстоял тёплый, золотой. В начале октября дожди пошли. Недели полторы лили, не переставая, а потом прекратились. Небо вычистилось, по утрам заморозки крепкие начались. Старик, как и прежде, ходил с Сеттером на ближние озера и готовился к последнему перелету. Давно уже пролетели журавли, отгоготало небо гусиными косяками. Местная утка сбилась в табуны и тоже, своими тропами прошелестела к югу. Безветрие сменилось северным ветром, и однажды утром, как и в прошлые года, Старик сказал:

— Всё, Сеттер, пора на Ключи собираться.

На вечерней заре Сеттер только три раза ходил в воду, остальную птицу Старик выбил на сухое. Ночь у костра перебедовали, а утром за каких-то полчаса была потрачена половина оставшихся зарядов. Табуны острохвостых впере-мешку с гоголями шли один за другим. На предельной скорости, продуваемые северным ветром, они по каким-то своим тайным законам теряли высоту перед самыми Ключами, на мгновение прижимались к воде с тем, чтобы потом снова набрать высоту и лететь дальше. Стрелял их Старик на выходе из Ключей. Сеттер был в том азарте, когда ему не нужно было подавать команду, он только смотрел в небо, дробил ногами и слушал выстрелы.

Скоро Старик отложил ружьё...

Домой шли медленно. Старик уже давно заметил, что с каждым годом тяжелей и тяжелей становится ноша. Вроде и стрелял немного, а плечи давит. Уже вечереть стало, когда они вышли к Гнилому Займищу...

— Вот скоро и придём.

Сеттер и сам знал, что скоро покажется саманная хата. И ещё он знал, что работа его закончилась и теперь всю зиму будет он коротать дни вместе со Стариком в хате.

У Займища решили передохнуть. Скинул Старик ношу свою, сломил несколько кистей тростника, приладил на кочку

и присел. Сеттер рядом пристроился. Займище это Старик не любил, оно впрямь какой-то гнилью пахивало. Давно когда-то сбил он касатую над этим болотом, и, хоть птица мёртво упала в осоку, найти Старик её не смог. Вымок весь, сам с собой изругался и с тем зарекся стрелять здесь. Осока в рост, воды по пояс, кочки, тростник, а на самой середине плес с ладошку... Северный ветер гнал тучи над самой землёй, того и гляди снег к ночи пойдёт. На таком ветру сидя, да еще из-под ноши, и простыть недолго. Только Старик об этом подумал, только вставать начал, как рядом, в пяти шагах, тяжело шурша осокой и испуганно шавкая, поднялся касатый селезень-последыш. Не выдержала птица человеческого присутствия. Зашумели крылья, вскочил Сеттер, зачастил ногами, закрутил головой, то на птицу, то на Старика посмотрит, словно просит: стрельни его, стрельни, видишь, какой вылинявший, аж бусый!

А селезень-дурак, и высоты не набрав, потянул мимо Старика. Пошёл Старик на поводу у Сеттера, потрафить хотел собаке, да поспешил. Сухощелкнул на ветру выстрел, обломилось у селезня правое крыло, отвисли предсмертно красные лапы, и птица, пружиня левым крылом и загребая воздух обломком правого, пошла к середине Займища, где и упала в осоку.

Уже стемнело, уже колючий ветер вырвал из туч первые снежинки, а Сеттера всё не было. Старик волновался, ходил по берегу и звал собаку охрипшим голосом. Поначалу вроде бы слышал он, что плещется Сеттер у самого плеса, а потом все стихло. Дважды обошел Старик Займище, из ружья палил, голосом звал, но Сеттер не приходил. Уже ночь давно выросла над землёй, а Старик всё ждал. Зло и тревожно шуршала пожухлая осока, молчало Гнилое Займище. К середине ночи ветер стих, в разрывах туч показались звёзды. К морозу, подумал Старик, и зарядил ружьё последним патроном. Он всё ещё верил, что Сеттер вернётся, и только когда забрезжил рассвет, когда он спалил последний патрон и увидел в прогалах осоки, что вода туго затянута льдом, он понял, что Сеттер не вернется.

Не входя в хату, Старик свалил битую дичь в угол сеней и заплакал. Горько ему было входить в пустое холодное жилище.

Потом он топил печь и сидел у окна. Оно выходило на луг, как раз в ту сторону, откуда он пришёл. Но чуда не произошло...

Спал Старик не раздеваясь. Да и не спал он, а маялся всю долгую ночь между сном и явью. Ещё рассвет не пришёл,

когда он с полным патронташем и брошенным на плечо ружьём, покинул хату. Снега ещё не было, но зима уже стояла.

Старик подошёл к Гнилому Займищу, когда рассвело. Лёд был крепкий, и Сеттера он нашёл сразу. Вернее, это был не Сеттер, это было тело Сеттера. Сеттер затонул около самого плеса, у чахлого ивового куста. Затонул он не полностью, а наполовину и лежал теперь на боку, мертво впаянный в лёд. Старик не плакал. Он долго сидел на корточках около и тонкими сухими пальцами перебирал заледеневшую шерсть. Потом он стрелял. В мелкую крошку рвался лёд под косыми выстрелами, и в патронташе не осталось ни одного патрона, когда Старик, доламывая лёд прикладом, освободил тело собаки. Только теперь он понял, почему Сеттер погиб. Сеттер удавился. Каждую зиму ставил Пахом на Займище петли на зайцев. В самом ивняке ставил. Стальную проволоку на петли пускал. В одну из таких петель, не снятых Пахомом по весне, Сеттер и угодил.

Схоронил его Старик в огороде, как раз в том месте, где бабка покойная грядки капустные творила. Холмик над могилой нарыл, а крест ставить не стал. Он просто рассудил, что человеку крест, может, и нужен, а что до Сеттера, так ему он без надобности.

2. Мильтон

Рассказ «Старик и Сеттер» выдуман мною от начала до конца. Дело в том, что во времена моего самого раннего детства у нас был сеттер. Красный, с отвисшими ушами, он казался мне таким красивым, а я был такой маленький, что мне без этой собаки было просто никак. Звали собаку Мильтон. Кличка вроде нехорошая, с милицией связана, но отец сказал, что в его детстве у них в семье был такой же сеттер и звали его Мильтон. А это случилось до революции, и милиции тогда ещё не было. Значит, слово «милтон» ведёт свои корни не от милиции. Так отец мне рассказывал, и слово это притёрлось ко мне и прижилось. Даже больше, я это слово полюбил, это же не просто слово, это же мой Мильтон. Я его помню от маленького щенка до взрослой собаки. До сих пор словно живу, как он плывет через старицу за сбитой уткой. Папа выстрелил, утка упала на воду, почти под тем берегом, и Мильтон без всякой команды прыгнул в воду. Вернулся и положил птицу к папиным ногам. Я был потрясён. По весне, когда отец приезжал с охоты и привозил битую дичь, я перво-наперво брал молоток, рельсовый обрубок, усаживался около саманной стены на солнышко, а Мильтон устраивался рядом и ложил свою голову мне на

колени. На ушах и на шее у него было обязательно десятка полтора-два всосавшихся и уже разбухших клещей. Он же всё носом по траве шарил, по камышам — уток подстреленных выискивал, ну и набирал себе на длинные уши этих паразитов. Я сидел, перебирал шерсть, находил разбухшие горошины и, обрывая им бошки, выдирал кровососов из кожи. Потом я ложил их на рельс и со словами «а не соси чужую кровь» бил молотком. Головы клещей оставались в собаке, в коже, эти места начинали болеть, чесались и мне опять была работа — чесать Милтону шею и уши. Я чесал ему болячки, а он смирно лежал на моих коленях, и я видел, что ему это приятно.

Мильтон был отдан в другие руки за два пуда муки-сеянки. Представляете, как мы жили? Охотничью собаку, кормилцу, отдать за два пуда муки! С ума сойти... Но дело было. Из жизни не выкинешь. Приехал дядька на красивом коне, запряжённом в кошёвку. Кошёвка — это легкий плетёный кузовок без крыши, установленный на лёгких же санях. Коню такое везти в радость, ездоку катиться — тем более. Возок набит свежим сеном, сидеть на котором тепло, не тряско и душисто. Дядька был председателем соседнего колхоза. В тяжёлой дохе, в белых бурках и в шапке с кожаным

верхом, он подмигивал и прихотывал. Он говорил:

— Красная цена, Васюха! Красная цена...

Я ничего не понимал. Мне было неясно: чему цена и почему она красная. Дядька внёс в нашу самануху небольшой мешок муки, поставил его на пол около грубы и вынул из кармана ошейник. Когда этот ошейник надели на Мильтона, я всё понял. Я не заплакал, не закричал, я просто спрятался за печку. Мне было больно. Не так больно, когда стукнусь обо что-то, а по другому. У меня вдруг заболело всё тело, начиная с пальцев рук. И больно было, и стыдно. Перед Мильтоном.

С тех пор всегда, когда я вижу что-то шибко неудобное, в смысле неправильное, у меня начинает болеть всё тело: плечи, спина и особенно кончики пальцев на руках. Самые подушечки.

Много позднее, часто вспоминая об этом, я однажды не выдержал, сел и написал рассказ. Назвал его «Старик и Сеттер». Писать было легко, я что-то в этой жизни видел и кое-что запомнил. Меня упрекали: «под Хэма косишь...» Нет, я косил не под Хэма, я косил под Мильтона. Должен же я у него и за себя и за папу попросить прощения. Хотя бы с опозданием, хотя бы так...

Но только думаю, что он нас не простит и не простил бы.

Может, и не простит, может, и не простил бы, но вот память о нём, пусть и самая маленькая, останется.

Если ты, дорогой читатель, знаком с сюжетом рассказа «С. и С.», то теперь, прочитав мою памятку о Мильтоне, поймёшь, почему я с Сеттером так поступил. Ошейник ведь от петли не отличается ничем.

История одного рассказа

Судьба свела нас на халтуре, вернее, на заработках. Халтура — это когда как попало, мы же приехали за полторы тысячи верст работать, и слово это к нам никак не подходило. Это была работа.

Нас шестеро, мы из Ленинграда, нам нужны деньги, а деньги платят за работу, и мы работали. Предварительно списались с председателем колхоза и теперь строили коровник. Жуткое это дело, особенно фундамент.

После первого дня я отказался от ужина и заснул не разуваясь. Инженерик. Пришёл в себя только к концу первой недели, и то, если по правде, не совсем. Так, наполовину, но уже соображал. Рабочий день не по часам — по свету, от зари до зари. А ещё через неделю ездовой из местных в баню нас пригласил. Он работал водовозом, возил на бричке воду в кадке — для фермы.

Сам на козлах, а бочка на пассажирском сиденье прилажена. Иногда он возле нашей фермы останавливался на работу нашу поглазеть да покалякать, а потом и пригласил.

С баньки этой всё и началось.

Банька была славная, топлена хорошо, с дымком. Хозяин её, водовоз, лет уже был преклонных, но на вид крепкий. Фамилию носил красивую, казачью — Есаулов. Сперва он веником нас отхлестал, а уж потом себя начал. Ухнул воды на каменку, крякнул и пошёл жварить в две руки, мы только переглядывались. Поинтересовались, сколько же годков папаше.

— К семидесяти, сынки, к семидесяти...

— Хорошее здоровье, отец.

— Да-а... Бог миловал. Батя за сто прожил и мне наказывал...

Ну и дед, ну и водовоз!

Ещё в предбаннике, когда раздевались, я обратил внимание на правое его плечо, на шрам. Глубина его и форма в виде воронки подсказывали — Есаулов воевал. Я таких шрамов в детстве в банях насмотрелся — на всю жизнь хватит. Пулевые, осколочные, ножевые — всех сортов. Это была осколочная, глубокая и с вывертом. Судя же по тому, как он нас хлестал, кости у деда в плече не были ломаны, либо срослись хорошо.

Потом мы пили чай у него дома. Есаулов жил один. Чай пили с брусничным вареньем. А ещё после пили водку, по чуть-чуть, по стопочке, под свежие папашины огурцы. Для знакомства. Водка была наша, ещё в Ленинграде купленная на всякий случай. К водке мы и палтуса прихватили, копчёного, целую штуку. Папаша от рыбки сомлел, а нам приятно.

— Вашего брата, халтурщиков, кажин год здесь бывает, так я всех в бане мою... Да-а. То хранилище строили, там, за Тополями, — Михаил Ерофеевич (так, кстати, звали Есаулова) махнул рукой в сторону окна, как бы указывая, где они, эти Тополя, — то хранилище, теперь вот коровник...

Две бутылки водки на семь человек — не очень густо, но папаша спьянел. Не так чтобы, но покривел..

Во-первых, в годах мужик, не нам чета, а во-вторых, стопки мы ему наливали поплней, по-русски, уважительно. А дед пил. Крякал, как в бане на полке, и пил.

Разговор покружил немного вокруг кровника, около наших заработков и перешёл на Сталина.

Есаулов был за вождя. А мы не спорили, старшой было попытался, но дед возвысил голос и скомандовал:

— Всё, что пишут в газетах, — брехня!.. Читать противно,

да-а... Сталин был за мужиков...

Ну охренел, похоже.

— Да за каких мужиков? Он их на канале да в колхозах перегноил, а потом ещё и в войну угробил.

— Э-э! Нет! Ты молод, — это он мне, — ты молод, парень, про войну-то... Сталин сына своего не пожалел? Не пожалел... Вот! Сына не пожалел, а?

Сшибало, что Есаулов споры такие водил не однажды и Якова, как туза козырного, спорщикам показывал сразу, нате, мол, смотрите, это вам ни в жисть не перешибить.

Ну как ему было все объяснить, да и стоило ли?

А Михаил Ерофеевич тогда разоткровенничался. То ли от водки, то ли от нутра своего природного. А может, палтус сработал.

— Я до самого Берлина дошёл. Всю войну... Всяко повидал, да-а... Вот вы мне, вот вы, скажите, сколько немцев одной пулей можно прострелить?

Мы переглянулись.

— Это как — одной пулей?

— А просто... Поставить в колонну и ба-бах!

— Ну, отец, у тебя и вопросы.

— О, молодые, значитца. Не знаете. А прострелить можно только двоих, ну и ещё половинку. Не берёт наш автомат трёх... не берёт, да-а...

Показалось, что он сожалеет

о том, что автомат такой слабый.

Мы умолкли.

Есаулов сидел во главе стола, лысый, смуглый, с крючковатым носом, как уставшая хищная птица, и я осознал своими чуть-чуть алкогольными мозгами, что дед этот не только верит в Сталина...

— Вы что, Михаил Ерофеевич, видели это со стороны или сами...

— Сам! Нешто со стороны... Повёл пленных в штаб, полдороги провёл и убил. Поставил в колонну и убил. С одного выстрела...

— А зачем?

— Убил — и всё... Пленные ведь...

— Один?

— Что — один?

— Вы были один?

— Нет, с напарником. — Он замолчал. И тут же, словно спохватился. — А что это ты про напарника?

— Да так, интересно... — Я смотрел на него, и мне показалось, что дед вроде как протрезвел. Ну это только вроде, а там как узнаешь?

В ту ночь я не заснул. Алкоголь прошёл, да его и было не густо, в голове прояснилось. Об этих штучках армейских я слышал не однажды, но всё с чужих слов, а тут сам исполнитель. Может, врёт? А что напарник? Я ворочался, искружил себе все бока. Чёртов дед! Однако делать было нечего, нужно было вставать и брать перо.

Около пяти утра я встал, взял ручку, бумагу и перешёл в другой класс. Жили мы в сельской школе. Старенькая такая деревянная одноэтажка. Сюжет рассказа, который предстояло писать, уже сформировался. Начинало зариться, я пристроился к окну и написал первые слова. Я написал: «Пуля пробивает двоих и застревает в третьем. Ей не хватает силы. Убойной...»

Перечитал — нормально. Пожалуй, так и будет...

Наш старшой, Олег Тарунин, нашёл меня в половине седьмого.

— Ты чего, Сергей?

Я взмолился:

— Олег, пишется... Дай отгул.

— Обурел? Какой, к чёрту, отгул? На заводе, что ли? Брусья нужно заводить...

Он посмотрел на исписанные мной листы и ушёл. Вернулся минут через пять.

— Ну ты даешь! Ладно, пиши... Условие такое: вечером читать будешь, понравится ребятам — отгул, не понравится — прогул, — и руками развёл. — Ребята решили, я ни при чём.

— Годится, Олег... Годится. — Я знаю, что это с его подачи. Жучара!

В конце концов пусть будет прогул, если пишется, то нужно писать, отложишь на потом — и всё. Потом это уже не придёт, если и придёт, то совсем

не так — и звук не тот, и вкус. С другой стороны, прогул мне совсем ни к чему. Это если на круг, рублей на сорок потянет. Заводской аванс!..

Вечером, после ужина, я читал ребятам свой рассказ. Жюри расселось за парты и замерло. Рассказ был сырой, перебелить бы его, но некогда.

Волнуясь и хрипя, я начал:

«В степи. Рассказ. — Сделал паузу. — Пуля пробивает двоих и застревает в третьем. Ей не хватает силы. Убойной...»

Через минуту примерно окинул глазами ребят и понял: слушают. Голос мой окреп, хрипота прошла, и корявости некоторых фраз я правил уже на лету. Потом вспомню, если что.

Рассказ был короткий, и прочитал я его быстро. Когда закончил, то заговорили все. Когда все — это хорошо.

— Ну, давайте первое — отгул или прогул? — это Олег.

Посоветались, поспорили и присудили (с натяжкой!) — отгул.

А потом началось — почему так, почему не эдак!

— А откуда ласточка в степи? Если ласточка, то и вода должна быть, если уж не река, то хотя бы озеро...

С водой справились тут же сообща, — вот там, где дорога изгибается, пусть она и подойдёт к речушке. А что? Вполне убедительно. Если дорога крюк

делает, то всегда к воде.

— И всё-таки что-то здесь не так. — Это опять Олег. Он у нас не только по должности старший, но и по возрасту. К его советам я прислушиваюсь.

— Не так здесь что-то, Серёга. Хотя, конечно, похоже на правду... Слушай, есть идея: отдай рассказ почитать водовозу!

— А что?! — почти хором подхватили ребята.

— Не, мужики. У меня почерк, — я скривил губы, показывая, какой у меня почерк, — сам путаюсь. Пахан не осилит, это не веником.

Олег взял листы, повертел в руках.

— Оно, конечно... А жаль.

На том и спать пошли.

Ребята уснули, а я опять без сна. Олегова идея гнала меня к столу, но я не пошёл. Не пошёл и всё. И уснул. И правильно сделал. На завтра отгула не было.

Рассказ я белил три вечера подряд. Писал почти печатными буквами, для водовоза старался. Так увлёкся, что и про речку забыл. Потом уже вспомнил, но приписывать не стал: дед, поди, не поймет. Подумаешь, ласточка...

Есаулов к моим листкам отнесся подозрительно, но взял.

— Я здесь, Михаил Ерофеевич, случай тот описал... Ну что вы говорили... Ну про то, как одной пулей...

— Нешто интересно? — дед сощурил глаза. — А?

— Да так, — я уклонился от ответа. Наверно, вот так он и на напарника смотрел. Там, в степи. Колюче, с прищуром. А, может, не так.

— Писака, значитца. Пушкин, што ль?

— Да пробую... Написал вот и сомневаюсь: сшибает на правду или нет? Вы, Михаил Ерофеевич, похожее пережили, может, что и подскажите?

— Ну как же... подскажите. Прицелился — и вся подсказка...

Ох и дед!..

Подходя к школе, я оглянулся: у водовоза в горнице горел свет. Читает, нет? Может, бросил мои листки куда-нибудь в угол и забыл тут же. Мне очень уж хотелось, чтобы он их прочитал, и я представил, как он будет это делать. Разложит, поди, на столе листки, очки наладит — они у него, наверно, с резиночкой через затылок, чтоб не сваливались, — и, шевеля по-стариковски губами, станет читать:

Пуля пробивает двоих и застревает в третьем. Ей не хватает силы. Убойной...

Широкими обезумевшими глазами напарник Есаулова смотрит на рухнувших пленных, судорожно передёргивает кадык, восторгается:

— Ишь ты... В бою бы так...

— Это он с перепугу.

— В бою так не бывает...

Помоги-ка!

Автоматчики волокут тела

в канаву. Солнце палит немилосердно. Один из расстрелянных, третий, в котором застряла обессилевшая пуля, жив, и Есаулов, не целясь, навскидку проводит короткой очередью по его, тронутым смертью, выпуклым зрачкам. Затем, так же молча, он ступает на дорогу и направляется в сторону, откуда только пришёл. Напарник идёт за ним. Стоит июль.

Где-то высоко над головой, в самой слепящей синеве, куда и глядеть больно, полощется жаворонок, такой неуместный в этот час, и трель его сыплется прямо на дорогу под кирзовые стоптанные сапоги двух солдат, неспешно идущих в сторону глухо ворчащего фронта. Обочь, над степным бездорожьем, параллельно просёлку движутся три души. Они только что стали бездомными, вышли из убитых и теперь следуют за автоматчиками. Зачем они за ними идут?

Есаулов коренаст, невысокого роста, рябой. Оспины не глубокие, светлыми пятнышками. На вид ему лет двадцать семь. Сбитые сапоги и выцветшая гимнастерка, ладно обтягивающая плечи, выдают в нём вояку. Руки длинные, сильные, нос горбатый, скулы прожаренные солнцем, буры — крупными красными пятнами, а по ним оспины. Хмельной русский чуб вылез из-под пилотки и свалился на правую бровь. Жарко.

Напарник Есаулова совсем

пацан. У него голубые глаза и чёрные волосы. Волосы жёсткие и короткие, торчат из-под пилотки, как проволока. Сапоги на нем тоже старые и гимнастерка выгоревшая, но во всей его фигуре, такой долговязой и ломкой, даже неопытный глаз и тот определит молодого. Шiku есауловского нету. Он из пополнения, из учебки. Вообще-то он сибиряк, из охотников. Ну, это к слову...

На смену безумию всегда приходит раскаяние. А поступок Есаулова воистину безумен. Что двигало им, когда он, ни слова не говоря напарнику по конвою, поставил пленную тройку в плотную колонну, отступил со спины на пять шагов и одиночным из автомата повалил их прямо на дорогу? Проверил убойность автомата? Вот, проверил... Что теперь? А что — что теперь? А теперь ничего, теперь совесть собственная, три бездомных души, напарник и долгая дорога назад...

Стоптанные подошвы солдатских сапог наступают на осколки рассыпающейся жаворонковой трели, дробят их ещё на более мелкие хрусталики, а птица всё сыплет сверху и сыплет, и кажется, что это не кончится.

Степь. Голая. Никого! Жаворонок, два автоматчика да эти души, что движутся, почти касаясь запыленных листьев лопухов и поникших от жары колючих головок татарника.

Доколе им идти? Тела остались в канаве, а души — вот они, протяни руку и достанешь. Есаулов с напарником их не видят. Так устроено. И те, и другие молчат. Души говорить не могут, а автоматчикам говорить пока не о чем.

Если говорить, то о чём?

Есаулов облизывает пересохшие губы, перекидывает автомат с плеча на другое, криво усмехается:

— В бою так не бывает... да...

У жаворонка что-то ломается, должно быть, струна лопаётся. Смолкает трель, и сразу начинают отчётливо работать в траве кузнечики — то часто: цык-цык-цык, то протяжно: цы-ик, цы-ик...

Солнце переваливает за полдень, самое пекло, а двое идут и идут, и кажется, что конца их пути не будет. Фронт рокошет, глухо ворочается и медленно перемещается влево. Это так кажется. На самом деле это дорога уходит вправо, к речушке забирает, а фронт всё там же.

Да... Фронт там же. И там же, в той же землянке, сидит, наверно, сейчас Шаповалов, командир шестой роты, капитан. Утром говорил:

— Ты, Есаулов, — говорил, — там, в штабе так и скажи: не сопротивлялись, мол, сами сдались. Пусть допросют, а там уж как порешат. Сам вертайся, к вечеру обернёшься. Должон...

Пленных было трое, привели ночью из поиска. Разведка в поиск, а они навстречу с поднятыми руками. Бывает же... Двое грубых, заматеревших, а третий — сосунок. Глаза светлые и выпуклые, как у коровы. Напарника в сопровождение Есаулов выбирал сам, из пополнения. Молчун попался, ну да бес с ним, Есаулов и сам-то не больно разговорчив. Полдороги молча прошли, теперь вот назад развернулись. И опять молчком. Сопроводительная бумага, что утром на скорую руку написал капитан, лежит у Есаулова в нагрудном кармане рядом с аккуратно свёрнутой для раскурки газеткой. Есаулов о той бумаге забыл, лезет за газеткой в карман и машинально вынимает записку. Разворачивает, смотрит и, сминая её в кулаке, косится на молодого. Молодой о записке знает, присутствовал, когда Шаповалов её передавал. Глаза их встречаются.

О чем может сказать один взгляд, даже если он быстр, как молния? О, один взгляд может сказать многое...

Есаулов (думает): «Зачем я его взял с собой? Чертова кочерга... (Так он в мыслях называет напарника.) Один бы справился...»

Кстати, ещё утром он и не думал убивать пленных. Он думал отвести их в штаб и сдать. Мысль одной пулей убить троих пришла ему в голову дорогой. Хотя ведь как сказать —

дорогой. Вообще-то эта мысль в его мозгу, как ржавый гвоздь в горбыле, сидела с самого начала войны, с первого расстрела пленных. А что? Если пленных расстреливать одной пулей нескольких, то что в этом плохого? Они наших очередями, а мы бы ихних одиночными... Хорошо бы, конечно. Но тут вопрос сколько ставить на выстрел: троих, четверых? А может, пуля и пятерых пройдёт? Попробовать бы, а тут и случай как раз — что надо, пленные — вот они, рядом! Зашевелился ржавый гвоздь в горбыле, неведомому Есаулову стало...

Теперь Есаулов знает: с пяти шагов пуля пробивает двоих. Слабые пули, однако...

Напарник (думает): «Зачем он меня взял с собой? Зачем он вообще это сделал? А быстро-то как, так он и меня убьёт... Запросто. Станный тип, убил и молчит. Старлей в учебке про такие вещи не говорил, старлей говорил, что наши солдаты самые гуманные, без суда ни-ни, а вот фашисты — это звери. Что же получается-то?»

Есаулов: «Перед Шаповалом выкрутиться можно будет. Можно сказать, что расписку в штабе не дали — забыл спросить или еще что, можно чего-нибудь придумать — про побег там, про налёт... А что Кочерга? Болтанёт — и крышка, кокнул как самосудчика».

Он сворачивает сигарку и раскуривает её.

«Вот чертова незадача. Напрасно, пожалуй, я их стрелянул, да уж больно случай хороший. Их ведь всё равно шлепнули бы, как и тех. «Тех» тоже из поиска притащили, двоих, правда. Головня вон поболтал на ихнем минут двадцать и руками развел — рядовые, бестолковые, ни хрена не знают. Талдычут одно — Гитлер капут, капитулирен. Ну и что? Свели их утром на зорьке в рощу березовую и «капитулировали». Тайно и быстро, чтоб особисты не пронюхали. Жаль, Головню убили, он бы и с этими поговорил, тоже небось ни черта не знают, не из генералов. А вообще-то их ведь все равно шлепнули бы. Ну не на дороге, так за штабом, в кустах каких-нибудь, в логу. Подумаешь, суд, трибунал, они вон наших без трибуналов чикают, а мы что, хуже?»

Есаулов успокаивает себя, но успокоение не приходит. Помнит — тот случай перед наступлением был, а тут передышка, и команда была ясная — доставить в штаб.

«А если они убежать хотели? Ну, если побежали! Тогда убить их самое правильное. Может, они разведчики, может, на это и рассчитано. Раз бегут, значит, враги... Это — если бы кадыкастого рядом не было. Расскажет ведь, сука. Вон, глазами стреляет, смотрит себе под ноги, в пыль дорожную, да думку думает. А думка, поди, одна,

как Есаулова заложить. Нет уж, хрен тебе, на Есаулове в рай не въедешь».

Снова звенит жаворонок. Тот же. Отремонтировали кузнечики ему струну, и вот спешит он опробовать её, взвился в синеву и захлёбывается оттуда переливчатой трелью, всю округу обсыпал. А тут и ласточка откуда ни возьмись — шасть через дорогу! Напарник замедляет шаг, вскидывает голову к небу — где ты, серая птичка, чему радуешься?

Тень от него, постоянно маячившая перед Есауловым, вдруг исчезает. Есаулов вздрагивает и оборачивается. Кочерга идёт медленными мелкими шагами, загребает кирзухами пыль и смотрит в небо. «Жаворонка смотрит, от дурак!»

Напарник и впрямь высматривает жаворонка, но ещё вполглаза следит за Есауловым. Он видит, как тот вздрагивает, как быстро и зло оборачивается. Такой, стало быть, вопрос.

И тут молодой отмечает, что не помнит, дослан ли у него патрон в патронник. Он оставляет жаворонка — пусть себе, — смотрит в пристальные глаза Есаулова. Кажется, дослан... «Чему учил старлей в учебке? А старлей учил — вставил диск, дошли патрон и на предохранитель. Предохранитель — святая святых!» Он незаметно ощупывает левой рукой планку, автомат на предохранителе.

Значит, патрон в патроннике. Конечно же, в патроннике!» И тут высвечивается в памяти: и как проснулся, и как его Есаулов нашёл, и как он автомат готовил. Легче стало. Вроде. «Есаулов что-то совсем захмурил, о чём думает, интересно?»

А Есаулов идёт и пасьянс раскладывает. Может, он и слова-то этого не знает, но раскладку делает. А раскладка не получается, мешает кадыкастый, сбивает всё, и хоть ты што!

«Расписки штабной нету, а должна быть. Шаповалов — жох, накидает вопросов, и всё проявится.

— А кому, — спросит, — пленных передали, а в каком звании, а росту какого, а масти?

И пошло, и поехало, штабников-то Шаповал всех почти знает.

Конечно, эти вопросы можно продумать, не первый год замужем, штабников-то и Есаул знает, да только Кочерга врать не станет, зачем ему врать-то. А может, его и не спросят, а — спросят? Скажет все как было, и крышка тебе, Есаул... Поставят к осине, и одиночным, чтобы экономно, Есаул, экономно! В затылок... А вот когда череп лопается, слышит это человек или нет? Когда оглоблей звезданут, то слышит, а когда пулей?.. Ну и мысли!»

Он цыкает сквозь зубы на дорогу — слюна густая, цыкается плохо — и смотрит на придорожные, сизые от пыли лопухи. Ему чудится, что над лопухами тень проходит. Странно, в небе ни облачка.

Тень эту и кадыкастый замечает. А может, это мерещится обоим, и нет ничего на самом деле, может, это ветром листы шевельнуло. Может, и ветром, а может, и тень.

Души расстрелянных совершенно невидимы, прозрачны. Это если сквозь каждую душу смотреть в отдельности. Если же их совместить в колонну и посмотреть сквозь, то прозрачность нарушится. Солнечные лучи в них увязнут. Тогда и появится легкая тень, как от ласточкина крыла, — шась только... Может, это она и была, тень-то, может, её и заметили автоматчики? Может, и её.

Наконец кадыкастый нарушает молчание.

— Как звать-то тебя? Всё молчишь и молчишь...

— Меня-то? — Есаулов останавливается. Останавливается и кадыкастый. — Меня-то? А Петром зови... Петром Тимофеевичем.

— А меня Андреем, фамилия — Сохань. Андрей Сохань, — напарник фамилию свою назвал твердо и ударение подчеркнул — на «о».

— Вот и познакомились, — Есаулов хочет улыбнуться. Получается плохо, натянуто. Он

пытается завязать разговор. — А ты молчун, однако, в сутки десятков слов — по норме, штоль?

— Из тайги я. Не привык к словам.

— А-а... Не привык, так не привык, — разговор не вяжется.

Они стоят друг против друга как раз посреди всего — посреди степи, посреди дня, посреди войны и в конце концов посреди России. А между ними лежит полоска пыльной травы, той самой непокорной травы-муравы, которую испокон веков бьют на проселках копытами крестьянские кони, никак не выбьют.

— Не жалко мужиков-то? — это Андрей.

— Не жалко, — Есаулов проводит ладонью по подбородку, по высохшим и от того побелевшим губам. — Чёрт, утром брился, а борода уже как наждак... Не жалко. Нашёл тоже мужиков. Это мы с тобой мужики, а они — фрицы. У немцев не бывает мужиков. — Он прикусывает нижними зубами верхнюю губу, мгновение молчит и добавляет. — Всё равно им труба...

— Всё равно — не всё равно, а без суда нельзя, — Сохань передергивает кадыком, как затвором, и упирается глазами в Есаулова. Он волнуется. Есаулов это замечает, в нём крепнет мысль: «Расскажет салага. Вот незадача».

«Ну что ты, Есаул, разве это новость для тебя? Знаешь ты об этой незадаче, знаешь! Не её ли решаешь битый час, да только не раскладывается пасьянс. И не разложится».

Так думает Есаулов номер один, а Есаулов номер два знает, что всё разложится. Второй Есаулов давно уже не сомневается в этом, решение само придёт — до фронта далеко, идти ещё и идти, мало ли что дорогой случится.

И всё-таки:

— А мы с тобой — это разве не суд? Вот решим сейчас, что убили их при попытке к бегству, и кто нас проверит?

— Они не убегали, они сами в плен сдались, зачем им бежать? — Сохань не понимает намёка или делает вид, что не понимает. Если последнее, то очень искусно.

— Да ты дурак, парень! Ну не бежали, а ведь могли и бежать.

— Могли, да не бежали.

— Ха! Я ему про Фому... Ты знаешь, что мне за это будет?

Сохань молчит.

— А за самосуд мне будет вот что, — Есаулов проводит большим пальцем правой руки по горлу и вверх. — Пинчикрекс называется.

— Значит, теперь ты должен убить меня.

Он говорит эти слова так спокойно, что Есаулов вздрагивает.

Жаворонок звенит, как

взбесился. Солнце. Пахнет тёплыми полынями. Степь совершенно голая, никого. Стоят на просёлке друг против друга два русских солдата, утром ещё не знакомые, а в два часа полудни уже враги, и разделяет их узенькая полоска травы, той самой... Стоят два солдата, сжимают ладонями ремни автоматов, смотрят в глаза друг другу и, как разойтись, не знают. Затебли пружины в автоматах...

— Почему это — убить? — у Есаулова голос вдруг охрип, будто в горле пересохло. Теперь он кадыком передёргивает. Сохань это замечает.

— Потому что они не бежали... Потому что кровь их безвинная, а такую кровь только другой кровью смыть можно — либо чужой, либо своей. Свою тебе жалко. Вот.

— Ну, раздул кадило... Брось эти мысли и пошли давай, нам ещё топать и топать, — Есаулов улыбается и чувствует — улыбка получилась. Это хорошо.

Затем он коротко машет рукой, как бы приглашая в путь, резко поворачивается на девяносто градусов, почти по уставному, и твёрдой походкой идёт в прежнем направлении. Он идёт и жадно слушает. Во время разговора заметил Есаулов, что автомат у напарника стоит на предохранителе. «Будет щелчок, нет?» Щелчка нету.

Нету и нету... «Проклятые нервы! Голос-то как просел, как у молодого петуха. Заметил ли? Наверно, заметил. Вот тебе и молчун, вот тебе и из учебки... Ах ты, Кочерга! Нехорошо, что впереди иду, кстати, и шагов что-то не слышно». Ухо Есаулова жадное, проявись желанный звук — тут же отметит, но звука нет, даже шагов не слышно — стихли. Он идёт и идёт. Он знает — дорога у них одна. И всё же не выдерживает, оглядывается.

Сохань далеко. Он уходит в сторону фронта прямо через степь, почти перпендикулярно дороге. Дорога потом свернёт, наткнется на речку и свернёт, они ещё утром обратили внимание на этот крюк, но это будет не скоро, к тому времени Сохань намного опередит Есаулова. Как плохо получилось! А может, и не плохо, а? Думай, Есаул! Быстро думай!

Есаулов прокидывает глазом расстояние и передвигает ползунок прицельной планки. Расстояние пулевое! То, что нужно, Есаулов не сомневается в себе. Сохань шагает не оглядываясь, мосласто размахивая правой рукой. «Кочерга! Как утром надел автомат на левое плечо, так и не сменил ни разу». Длинная фигура его четко обозначена. Хорошо видна пилотка, небрежно сдвинутая на затылок. Старики так пилотки не носят. Взгляд Есаулова остр.

Он становится на правое колено и привычно совмещает в прорези мушку и спину уходящего. Очередь должна быть короткой, в два патрона, как в тире. Уже указательный палец плавно ведёт спусковой крючок, уже привычно замирает всё в груди, когда три души, те самые, выстраиваются в колонну между стрелком и целью. Есаулов вдруг замечает, что он не видит мишени. Вместо четкого силуэта обозначилось серое размазанное пятно. Зрение его никогда не подводило. Есаулов протирает глаза, сдвигается интуитивно вправо и целится снова. Контур уходящего человека опять четок. За какую-то долю секунды до выстрела цель снова размазывается, снова превращается в серое пятно, но очередь уже не остановить.

— Ту-тук, — две пули, одна за другой, прошивают бездомные души и улетают за четвертой.

Есаулов видит, как Сохань останавливается, тянет с плеча автомат, разворачивается лицом к стрелявшему и падает на спину. Все это так мед-лен-но! Не слышно, как он грохается длинной своей спиной о земной шар, и тем более не слышно, как щёлкает планка предохранителя.

Стрелок встаёт. Отряхивает с колена пыль. У самых ног его ласточка — шашь, почти сапог касается.

Убийце всегда хочется посмотреть на свою жертву.

Сохань лежит на спине, широко раскинув ноги. Голова запрокинута, кадык торчит, правая рука под себя подвернута, левая отброшена, сжимает автомат. Внимание Есаулова задерживается на подошвах сапог: изношенные, они светятся жёлтыми шляпками гвоздей и кажутся такими ветхими, такими неземными. «Вот и всё, Кочерга! Какой день поганый выдался... Ишь ты, автомат-то как зажал, аж пальцы с...»

Есаулов не успевает додумать, договорить. Он вдруг всё понимает, он стонет от досады, рвёт с плеча автомат, но поздно. Очереди нет, звучит одиночный выстрел — тук! Пуля бьёт Есаулова в правое плечо и разворачивает его. Чуть-чуть. Он роняет автомат, сгибается от боли и левой ладонью зажимает мокрое. Кровь стучит сквозь пальцы, рукав гимнастёрки быстро темнеет.

— Я же говорил, что тебе свою жалко.

Сохань стрелял с левой руки, как из пистолета. Старлей учил такой стрельбе. Хороший старлей. Сохань — левша. Есаулов об этом не знал, да разве в этом дело.

Потом Сохань разорвёт нижнюю свою сорочку и перевяжет Есаулову рану. А ещё потом с места последнего события в разные стороны уйдут: в сторону фронта — два русских

солдата, а в сторону расстрелянных пленных — три души...

Июль, село Кухновское

Есаулов разбудил нас в шесть утра, как раз перед побудкой. Слышу голос:

— Мне писаку вашего!

Это он с нашим дежурным. Встаю быстренько, похоже, прочитал, иначе чего бы так рано припёрся. Кстати, Есаулов уже мне не нравился.

— Серега! Иди, водовоз твой пришел, — это дежурный. Есаулов после читки моего рассказа и ребятам не нравится.

Я умылся, вышел на крыльцо. Заря вполнеба. На детском буме, низеньком и сильно подгнившем, спиной к школе сидит Есаулов. Трава в росе. Прохладно.

— Здравствуйте, Михаил Ерофеевич, — мне очень уж хочется, чтобы рассказ походил на правду.

— Брехня все это, Пушкин! — лицо у водовоза помятое и злое. Он потряс листьями, аккуратно свёрнутыми в трубку, и встал. Встал, но тут же сел.

— Да я не говорю, что правда. Хоть похоже?

— Похожа, похожа... Свинья на ёжа, да щетинка не та. Слыхал?... Напарник первый в меня пальнул, первый! А ты что пишешь, да ещё — в спину. Это раз, — он встал, выпрямил указательный палец. — Потом, вот... э-э, — он раскрыл листы

и, отыскав нужное место, прочитал: — «... идет и пасьянс раскладывает». Это что за хреновина?

— Это игра такая в карты, пасьянс называется.

— Во-во, я так и подумал. Я в эти карты ни в жисть не играл, кроме как в дурачка. А ты што!.. И не в степи это было. Потом души какие-то, ты богомольный, што ль?

— Ну, могло бы и в степи, — я на души не отвлекаюсь. Что ему души?

— Могло... Как же! В степи всё видно, в степи своего стрелять — это тебе не в лесу, где сумрак... Убил-то я пленных в Литве, а там леса кругом. Потом мы на хутор зашли, там и разругались. Посля, когда уже от хутора с километр отошли, он в меня и пальнул... Первый!

— А вы, Михаил Ерофеевич, а вы?

— Отстань... — Есаулов умолк и нахохлился.

Вот тебе и водовоз! Кокнул, значит, напарника. Выходило, что так, а как иначе, если пальба пошла, если узел смертно завязан?

Он опять сел на бум, уже солнце из-за кустов вылезло, уже ребята с крыльца два раза махали — айда завтракать, а он всё сидел и сидел, нахохлившись, как серая тяжелая птица...

Наконец я спросил:

— А Шаповалов?

— Это кто? — Есаулов очнулся.

— Ну, капитан ваш, ротный.

— А-а, Рябинин-то... Откуда ты на мою голову свалился? Писака чёртот!

— Как откуда, Михаил Ерофеевич? Это ж вы меня заставили писать. Поубивали пленных, напарника вот... Я-то здесь при чем? Просто захотел с вами посоветоваться, может, чего и подскажете. Про сумрак я как-то не догадался, мне казалось, что все на свету должно бы быть, чтоб все это видели — и жаворонок, и ласточка — и чтобы вы обязательно промахнулись, а напарник бы вас — чик, и живого в роту привёл... Ну как в рассказе.

— Ох, шустрый какой... В роту! А кто бы тебе тогда про это рассказал?

— Да уж... Но всё-таки Шаповалов догадался или нет?

— Рябинин!

— Пусть Рябинин, Михаил Ерофеевич, пусть. Догадался или нет?

— Без догадок узнал, когда связь со штабом наладили. Звонил...

— Ну?

— Баранки гну! — Есаулов матерно выругался. — Ишь чего захотел. Погиб он, погиб. — И отдельно. — В бо-ю!..

— Ну, дед! Ты же преступник, дед! Как живёшь?

Есаулов молчал.

— Давай сюда рассказ! Ещё сто лет жить собрался!

— Рассказ? А вот не хочешь, — он сунул в мою сторону кукиш. Ноготь на большом пальце жёлтый, грубый, в крючок загнут. — А вот тебе, вот, — он вскочил и, развернув трубку, разодрал всю пачку на четыре части (а я-то старался!). Разодрал и обрывки в карман сунул. Сунул в карман и медленными тяжёлыми шагами пошёл со школьного двора. Около ворот остановился.

— Не было этого, слышишь, не было! Все выдумки!.. Соба-чьи!..

Когда я вернулся к ребятам, каша уже остыла.

— Ну что дед? — Олег правил оселком топор.

— Говорит, что брехня это. Говорит, нельзя в степи убивать. Видно, говорит. Считает, что лучше это делать в лесу, там сумрак...

— Ну и дед!

— Ага... дед... напарника кокнул, признался. Где-то в Литве, говорит. И ротного, похоже...

— Вот! — Олег хлопнул себя по колену и отложил топор. — Вот! Я же говорил, что

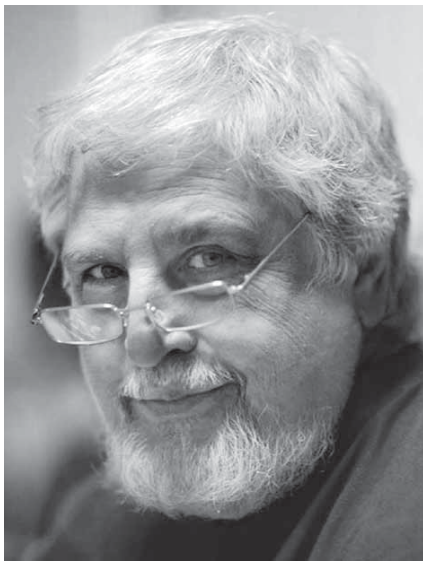
что-то в твоём рассказе не то. Понимаешь, матерый вояка, с гвоздем в башке и... промахнулся. Нельзя ему промахиваться...

— И пусть нельзя. — Я отхлебнул холодного чаю. — Андрея убивать не буду. Понимаешь, убью Андрея, значит, надо и Шаповалова убивать... Цепочка-то связана. А там ещё-прицепится кто-нибудь. Пусть уж лучше Есаулова растреляют.

— Конечно, пусть. — Олег усмехнулся. — В баньку пригласил, убивец. Веничком! Бр-р... Подъем, бригада! Три венца заведём и за стропила возьмёмся...

Коровник близился к финалу, завели венцы, вывесили стропила. Водовоз мимо нас больше не ездил. Рассказ я перебелил ещё раз, менять ничего не стал. Про речку не забыл. Там же, где дорога крюк делает, и прочертил её. Речушка... Узенькая такая. Ну и ладно, пусть узенькая, главное, чтобы ласточка напиться могла.

А рассказ мой тогда не напечатали. Я его в «Звезду» носил. Сначала приняли, похвалили, а потом отказали. Нетипично, мол...



ЯН БРУШТЕЙН

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ БЕЛЫЙ СВЕТ...

Восьмистишия

Ян Бруштейн родился после войны в Ленинграде, 45 лет живёт в Иванове. Кандидат искусствоведения. Работал в областных газетах, преподавал в вузах, руководил независимыми телеканалами. Публиковался в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Дети Ра», «День и Ночь», «Крещатик», «Зинзивер» и во многих других изданиях в России и за рубежом. Автор семи поэтических книг, его стихи переведены на украинский, белорусский, польский и английский языки. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Серебряный лауреат конкурса им. Н. Гумилёва, дипломант Международного конкурса им. М. Волошина. Лауреат премии «Поэт года» за 2013 год.

* * *

Кто-то помер, кто-то сгинул,
Мир сужается до точки,
Остаются только строчки,
Заморочки да клочки.
Но держу прямую спину,
Я — истрачен, обесточен,
Пусть не вечен, всё же прочен,
И не сточены клыки!

* * *

Беззлобных не бывает,
И это врут, когда
Прощёным называют
Заклятого врага.
Обнимут по науке,
Похлопав по спине,
И долго моют руки,
И каются во сне.

* * *

Как же мне хотелось в море —
Лёгким, злым и молодым.
Этот берег нам prospirit,
Растворится, словно дым.
Мне подальше бы от фальши,
От елея и тоски.
Чтобы жил весёлый мальчик,
Поседевшие виски.

* * *

Запечных дел мастер
Заботливый мой сверчок,
Откроет ли дверь настежь
Туда, где стоит свечой
Горячий дым банный,
И где на изломе лет
Ты вынырнешь из тумана
Ко мне на своей метле...

* * *

Я закопал свою судьбу
В российской вязкой глубине,
И даже вспомнить не могу,
Что в юности мечталось мне.
Язык здесь груб, и разум
слеп,
Душа во сне, и в глотках
пиво...
Но на полях неторопливо
Среди бурьяна зреет хлеб.

* * *

Волшебное слово «кура»
останется на века,
и бабушкина фигура,
похожая на облака.
Из маленькой синей птицы
могла она сотворить
такое, что будет сниться,
пока не прервётся нить.

* * *

Вальсок уходящего мая
В невольные слёзы вотру.
Прижмёмся покрепче, родная,
Полегче вдвоём на ветру.
А прошлое холодом дунет,
И травы запахнут, как мёд...
Но двадцать второе июня
Неюное сердце сожмёт.

* * *

Мы живы, значит —
одержимы.
От нетерпения дрожа,
Опять наматываем жилы
На бесконечных виражах.
И свято верим, свято верим
В самозабвении пустом...
А счёт победам и потерям
Мы будем подводить потом.

* * *

Мне хотелось так отчаянно
Плыть в каюте на корме.
Корабли давно отчалили,
Предназначенные мне.
Мы привыкли, и поверили,
Что стоим на берегу...
Если пустят, то по берегу
Вслед за ними убегу.

* * *

нет света кроме света,
нет боли кроме боли,
когда приносит ветром
играть чужие роли.
присмотришься: старик он,
закончился задира...
пришёл когда-то с криком,
теперь уходит с миром.

* * *

Я клеймён был ещё до рожденья
Шестикрылой суровой звездой,
И стояли несметные тени
Долгой ночью, вовеки седой.
Я на этой земле доживаю
Пограничный, изломанный век...
Проступает звезда кочевая
На потёртом моём рукаве.

* * *

из дома замкнутого как дот
из дома выветренного как мол
любовь безжалостно уведёт
туда куда я и раньше шёл
и будет жизнь ещё хороша
и будет в горле комок дрожать
и будет праздничная душа
стихи мальчишеские рожать

* * *

Вскипели яблони и вишни,
И белой пеной изошли,
Как будто на рассвете вышли
Из обезумевшей земли.
Так вырвались они из мрака,
В тот час, когда прощенья нет.
И ошавевшая собака
Вдыхает этот Божий свет!

* * *

А музыка была вначале!
Она звучала в том саду.
Её порой не замечали,
Как ветер, сон или звезду.
Она была и змей, и древо,
Катился яблоком мотив...
Его протягивала Ева,
Неосторожно надкусив.

* * *

От моей судьбы цветастой
Не осталось даже дыма.
Как по миру ты ни шастай,
Но пора прибиться к дому,
Чтобы тлела у забора
Бузина неопалима,
Чтобы пели птицы хором
Непонятное другому...

* * *

Жизнь мучительна и прекрасна...
Потому ль на закате лет
Восхищённо и разнообразно
Я люблю этот белый свет?
Здесь пометки, помарки, знаки
И потешной судьбы места.
Здесь по небу бегут собаки...
Значит, всё это неспроста!





Римма ЛЮТАЯ

НУНУТИ

Рассказ

Римма Викторовна Лютая родилась в Воронеже. Окончила Воронежское музыкальное училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор стихов, поэтических и прозаических переводов с английского, критических эссе, аналитических статей по проблемам культуры и искусства, либретто к ряду музыкальных спектаклей. Член Союза журналистов и Союза композиторов России. Работает исполнительным директором филиала Всероссийского хорового общества. Ответственный секретарь и выпускающий редактор православного культурно-информационного издания «Вестник Антониевского храма». Живёт в Воронеже.

Почему люди так глухи друг к другу? Болью измучат, словом изобьют — а потом, страдая, безрадостно пьют горькую в одиночестве или делят рюмку с первым встречным. «Ну-ну, ти, маленькая... ну-ну, ти, рыженькая... ну-ну, ти, Римулька моя, Господь с тобою!.. не плачь, не печалься, детонька, всё пройдёт...» — звучит тихий голос в моей памяти. Тёплые руки, уютные колени, мягкое родное объятие, свет, льющийся из добрых глаз... Это бабушка.

Я любила у неё бывать, поскольку росла вольной птицей и притом с малолетства чувствовала себя в ответе за всё вокруг происходящее. В куклы и в привычные многим девочкам «дочки-матери» в детстве практически не играла. Кукла — мёртвая натура; гладкий холод пластика или резины вкупе с искусственно создаваемым,

притворным существованием человекообразной игрушки мне всегда претили: «Вот, ты, кукла Юля, теперь как будто завтракаешь... а теперь как будто идём с тобою в парк, а теперь давай-ка спать!..» — и в этот момент бездушному лупоглазому телу надо было ноги передвигать, руки поднимать-опускать, или усаживать его, или укладывать. И всё оно, это действие — ненастоящее, «понарошку»... И потому — зачем оно? То ли дело — всё живое, неуловимо меняющееся, требующее личной причастности, неперенного присутствия, действия и осмысления. Вот это влекло детскую душу: мне нравилось петь и читать, задачки по физике и математике решать, сочинять истории, рисовать, цветы сажать, играть в футбол и извлекать волшебные звуки из клавиш фортепиано, по крышам-заборам лазить, птиц кормить, щенков приваживать, смотреть, как восходит луна, как звёзды проявляются острыми лучиками в меркнувшем небе...

Мы с родителями жили в центре города в коммуналке, где на небо редко поднимают взоры, а живая земля закрыта, закатана асфальтом. А бабушка обитала совсем в другом мире: одна в домике на окраине, притулившемся среди цветущих трав и заманчиво благоухающих соседских садов, в

окружении славных — живых и настоящих — ребячьих друзей: весёлых или грустных бродячих собак, ленивых и игривых кошек, важных петушков и хлопотливых кур, да мало ли чего ещё!.. Там, на заросшей муравой и лопухами, почти непроезжей улице иногда раздавался возглас: «Точу ножи-ножницы!.. полужу посуду, заберу ненужные вещи!..» — это бородатый дядька — старёвщик, точильщик и лудильщик в одном лице — со своей гружёной тележкой проезжал мимо. Он дарил ребятам в обмен на какую-нибудь не подлежащую починке домашнюю вещьцу маленький красный надувной шарик с пронзительным свистком или вручал приторного леденцового петушка на палочке, или раскрашенную бумажную маску...

В бурной детской жизни моей не обходилось без синяков, ссадин и первых обид, и если уж совсем бывало невмogu, я прибегала, поскуливая, к бабушке. И тогда она, как в моём младенчестве, прижимала меня к себе и пела-приговаривала: «Ну-ну, ти, маленькая... ну-ну, ти, золотая моя... ну-ну, ти, Римушенька, Господь с тобою, не плачь, не печалься, деточка, всё пройдёт...» И проходило. Так и осталось: бабушка Маруся, Нунути.

Её называли Мария — так же, как и её мать, искусную рукодельницу-белошвейку. Марюшка явилась на свет в начале прошлого века последним, двенадцатым ребёнком в семье моего прадеда-музыканта, а через полгода не окрепшая после родов прабабушка умерла в возрасте сорока шести лет в эпидемию гриппа, от которого погибло тогда людей больше, чем в Первую мировую войну. В те времена эту страшную болезнь именовали «испанкой».

Детство, юность и молодость Марии прились на пору социальных катастроф и распада Российской Империи: Мировая война, две революции, Гражданская война, голод 1930-х годов... Зрелость совпала с лихолетьем Великой Отечественной и трудными послевоенными годами. Но удивительная красота бабушки — сияющие серо-синие глаза, белоснежная кожа, соболиные брови и чёрные, как вороново крыло, вьющиеся волосы — не угасала долго. Помня о ней, я и до сей поры люблю синеглазых, светлокожих и черноволосых людей — они как родня мне... Спортсменка, оптимистка, прекрасная чертёжница, перед войной Мария Васильевна работала на Воронежском механическом шестнадцатом заводе, дома умудрялась отлично готовить даже из скудного набора продуктов — на печке и керосинке, как многие русские

женщины в те дни. Шила-вышивала, особенно любила лоскутное шитьё и аппликацию из ткани, ныне именуемые модным словом «пэчворк», да и вообще никакого труда не чуралась. В войну оказалась с дочкой Томочкой, моей мамой, в оккупации. В пересыльном концлагере на Западной Украине подорвала здоровье: в голоде и холоде носила мешки чуть не в центнер весом, чтобы покормить раненое болящее дитя. И всю оставшуюся свою недолгую послевоенную жизнь страдала сердечной астмой, гипертонией и другими недугами, о которых мне ведомо не было: бабушка, потеряв мужа на войне, так и осталась вдовой и жила отдельно в своём крошечном домике на улице Ухтомского. Теперь уж ни улицы этой у Курского вокзала нет, ни самого домика...

Умерла Мария Васильевна мгновенно, весной, едва расправившей крылья и растопившей серые снега — от разрыва сердца, во сне, в санатории имени Горького, куда её направили на лечение после жестокого приступа стенокардии. И было ей всего пятьдесят восемь лет.

В моей жизни это была первая смерть, которая запомнилась детально и была глубоко осознана детским разумом. Я, тогда девятилетняя девчонка, болела — тоже гриппом, лежала с высокой температурой в постели, и дома не было никого

из взрослых. В середине дня в дверь позвонил и вошёл, оставившись в полутёмном коридоре, невысокий, слегка сутулый усталый мужчина — кто-то из знакомых бабушки. Принёс тяжкое известие о её смерти, вздохнул, сказал «сочувствую...» и оставил траурную бумажку — сообщение то ли от врача, то ли от администрации санатория — вместе с большим букетом кустовых хризантем, почему-то в банке.

Бело-жёлтые цветочные головки на длинных стеблях как-то хищно торчали из баночного горлышка, являя собой торжествующий символ свершившейся смерти, и пахли так сильно, так навязчиво и тревожно... Я заплакала, но утешения не было — посетитель торопился и, машинально погладив меня по голове, ушёл. Без сил я опустилась на кровать. Температура всё жарила, мысли мои путались, сердце колотилось, и голубые стены комнаты, казалось, придвигались ближе и ближе, готовые навалиться и задавить меня, а принесённые цветы таращились из угла своими белыми и жёлтыми глазами, ничуть не «сочувствуя» свершившейся беде... Сжавшись в углу кровати, я думала о том, как мама вернётся с работы и как мне придётся отдать ей это страшное послание, и, наверное, она заплачет. И боялась думать о том непонятном, что будет потом...

Тогда случился мой первый приступ астмы. Голова загудела, в глазах поплыли бело-жёлтые круги, дыхание прервалось, и, казалось, мне больше никогда не вздохнуть. С трудом поднялась я с постели, приоткрыла окно на пятом этаже и, держась за раму, шёпотом позвала: «Баушка, Маруся моя, Нунути!.. где ты? откликнись!..» Силы вдруг вернулись, спазм ушёл, лёгкие словно расправились — и я смогла вдохнуть холодный весенний воздух. Сначала неглубоко, осторожно, потом всё глубже и спокойнее дышала и смотрела на прозрачное безоблачное небо, где витала душа моей дорогой Нунути...

Похоронили Марию Васильевну на Коминтерновском кладбище. Шёл Великий Пост, день был пасмурный, а свежая могила, помню, была усыпана всё такими же безразличными к человеческому горю белыми и жёлтыми кустистыми хризантемами (сезон на них, что ли, был тогда, кто знает?). И в их мертвенное тяжёлое благоухание вплеталась моя боль от внезапной потери близкой души — они пахли смертью. Дрожащая от слабости и утраты, я молила тогда: «Прости меня, моя Нунути! Знаю, ты сказала бы: и это пройдёт, рыженькая, Господь с тобою... И с тобою, родная моя, пусть будет Господь, пусть будет Он всегда с тобою...»

С тех пор друзья не дарят мне этих цветов.

Ропщет Любка: «Планов
 не угадать Твоих:
дал сперва двоих, потом
 отобрал двоих.
Один — смирный, смурной.
Другой — шальной, заводной,
лют бывал после водки,
но со мной — теплел.
Все эти цацки, шмотки —
к чему теперь?»

И гуськом плетутся, охая,
 бормоча.
Слева и справа густо цветёт
 бахча,
перекликаясь пчёлами.
 У развилки
озадаченно тормозят.
Одной — к тюрьме. Другой —
 прямоком — к могилке.
А третья хлебнет из
 пластиковой бутылки —
и назад, назад.

«Не бросай меня, —
прижимается, — будь со мной.
Будь моей опорой, крышей,
 моей стеной...»
Он кривится: «Боже,
поменял бы Ты назойливый
 звукоряд!
Столько баб на белом свете,
 а говорят
всё одно и то же».

Тьма слетает в сад бесшумно,
 как нетопырь.

Отсыревший воздух, резкий,
 как нашатырь,
заползает в окна,
и зрачками волка
две звезды горят, насаженные
 на штырь.

Он снимает её ладонь со своей
 груди.
Ну давай: обличай, долдонь,
 городи, гунди —
всё равно уеду
из югов твоих — горели б они
 огнём!
Под кроватью — сумка, паспорт
 на дне, а в нём —
мой билет на среду.

«Ха! — глумится она, — твой
 паспорт и впрямь на дне.
Тащит краб его в зубчатой,
 кривой клешне,
а билет мурена,
не икнув, сглотнула. Спи,
 болтовнёй не мучь.
На крючке — халат. В кармане
 халата — ключ.
Дверь снесёшь? А хрена!»

Так полвека они, уставившись
 в потолок,
продолжают в ночи
 мучительный диалог,
губ не разжимая.
И когда она вдруг смолкает
 часу в шестом,
он толкает её, спеша убедиться
 в том, что она — живая.

ЛЮБОВЬ

И она лопочет, не поднимая
глаз,
к мусорному ковыляя баку:
«Не посылай мне, Господи,
в этот раз
ни кота, ни собаку,
ни мужика: всё спать бы ему
да есть.
Дай управиться с тем, что есть».
Огибает лужу с голубем
по кривой
И видит его.
Он ворчит, к помойке яростно
волоча
сдохшую батарею:
«Запахло платить врачам этим
сволочам.
К яме бы поскорее
без приبلудных тварей
и сердобольных баб
самому доползти хотя б!»
Отдышавшись, в бак
закидывает старье.
И видит её.
— Нет, не может быть, чтоб это
была она —
в заскорузлой шапке, в тапках,
дугой спина!
И ползёт зигзагом, словно
с утра под мухой.
К слову, я частенько ей наливал
вина
в угловом раю на улице Веснина,
ну, когда она ещё не была
старухой.
А она, забыв про свой
сколиоз, артрит,
по двору плывёт, точней
говоря, парит
(подбородок вздёрнут, плечи —
назад), срывая

с голубых кудряшек вязаную
фигню,
потому что может, ясно же и
коню,
не узнать её, как позавчера в
трамвае.

АРБУЗ

Прижимает к арбузу ухо,
вслушиваясь: трещит?
То подбросит его, как мяч,
то к сердцу прижмёт, как щит.
Простукивает бока:
не сорвался бы кайф с крючка.
Иначе зачем — подшит —
лихо стольник стянул с лотка?
Подгребает, спеша, к пивной
базарная шантрапа.
У татар перерыв дневной:
бурлит в казане шурпа.
— Нож дадите? Галдят: уйди!
Разбивает арбуз о камень.
Лучший берёт кусок.
Грязноватыми ручейками
липкий стекает сок
по его расписной груди.
Обогнув лежаков ряды, где
дремлет народ, сопя,
или режется в дурака, —
он врывается в твердь воды,
впускает её в себя:
Он хочет — наверняка.
Пролетая, монетка света
вдруг подмигнет, слепя,
и замрет в глубине зрачка.
Никаких уже либо-либо.
В логове бытия
он лежит у придонной глыбы,
чистенький, как дитя,
ловит время открытым ртом.
А над ним проплывает рыба
с розовым животом,
влажно семечками блестя.

ПОДРУГИ

...а Людмила теперь — улитка.
Во тьме ночной
по бетонке ведёт узор
 слюдяной слюной,
вычисляя дневное сальдо,
на бескостной спине качая
 свой сундучок:
вдруг какой-никакой
 приклеится слизнячок,
невзыскательный бомжик сада?

...а Марго — не жена ни разу,
 а стрекоза.
У, зараза! Опять с утра залила
 глаза:
на шиповник садится косо.
Проползают по стеблю
 глянцевые жуки.
Но зачем ей сиюминутные
 мужики,
их щипки, если есть «колеса»?

...а Настюха мухой носится
 по двору,
прибирая к лапкам вкусное,
подобру-поздорову
 слинять не хочет.
Увернувшись от настигающего
 шлепка
мухобойки, под холку лающего
 щенка
занырнув, — дребезжит,
 щекочет.

...а вдоль крыши горизонтальные
 кружева
растянув, из дыры выходит
 чернеть вдова
(мол, арахна я, ну и ладно!),
и тринадцать пунцовых клякс
 предъявляет на
опустевшем брюшке, не ведая,
 что она —
урожденная Ариадна.

Все четыре привычно день
 обживают врозь.
Но как только последний луч
 попадает в гроздь,
в тын, что жимолостью исколот,
тени женских фигур
 к некрашенному столу —
волоска не сронив, следов
 на сыром полу
не оставив — текут из комнат.

«Где Людмила? — бурчит
Марго. — Эта шлендра где?»
Черепками закат горит
 в дождевой воде.
Ариадна бесстрастно вяжет,
языкатой Настюхе делая знак:
 молчи!
Точно зная, кем хрустнул
 мокрый башмак в ночи.
Но, сглотнув, ничего скажет.



Яна САФРОНОВА

НАЙТИ ВЫХОД

Яна Владимировна Сафронова родилась в 1997 году в Смоленске. Учится на четвёртом курсе Московского государственного института культуры, специальность «Литературное творчество». Критические статьи печатались в журналах «Наши современники», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Невский альманах», «Litteratura» и т. д. Ведёт авторскую рубрику «Заглянуть в лицо» на сайте «Российский писатель». Лауреат премии им. А. Г. Кузьмина журнала «Наши современники», ежегодной премии сайта «Российский писатель». Член Союза писателей России. Живёт в Долгопрудном.

Прозаическая призовая тройка первого сезона премии для молодых писателей «Лицей» была не безынтересна. Победительница Кристина Гептинг с повестью «Плюс жизнь» про подростка, больного СПИДом, представляла остросоциальную прозу. Второе место, Евгения Некрасова, экспериментировала с фольклорными и библейскими мотивами в рамках реалистического повествования в сборнике рассказов «Несчастливая Москва». А Андрей Грачёв сосредоточился на глубоко психологическом осмыслении своих внешне антонимичных героев — жены и мужа в цикле рассказов «Немного о семье». Создавалось впечатление размаха, была сделана наглядная попытка показать разные направления развития молодой прозы второго десятилетия двадцать первого века. Победители этого премиального сезона продолжили «славную»

традицию и распределились на пьедестале схожим образом. Это является первым, но не главным поводом для исследования. Каким образом достигается разноплановость текстов, названных лучшими: свойство ли это шорт-листа или искусственно созданный диапазон? Но этот вопрос относится в первую очередь к литературному процессу, а потому не является корневым. Гораздо интереснее было бы выявить закономерности в развитии молодой литературы, тем более что, по моему мнению, в коротком списке этого года они даже чрезмерно очевидны.

Понятно, что премия «Лицей» — лишь одна из многих площадок, однако концентрация такого количества текстов молодых писателей уже является поводом для критического размышления. Немного статистических данных. Премия в этом году увеличилась на тысячу работ, от 2 027 шагнула в отметку 3 069. Призовой фонд остался неизменным — 4,8 миллиона рублей. Что касается судейства, то тут произошли неожиданные изменения: в состав жюри вошли победители прошлого года: Кристина Гептинг (проза), Владимир Косогов (поэзия). Помимо них выбирали победителей издатель Елена Шубина, литературные критики Лев Данилкин и Юлия Подлубнова, а также поэт и переводчик Марина Бородицкая.

1. Деструкция

Беспрецедентное попадание в контекст премиального сезона прошлого года — повесть «Химио-терра» Андрея Верина. В псевдониме автора кроется мистификация, на которой, впрочем, не следует заострять особенного внимания. На объявлении шорт-листа оказалось, что Андрей Верин — это Вера Трофимова-Трофимова. Однако гендерная принадлежность в данном случае никак не может повлиять на оценку текста.

Гораздо важнее, что текст Трофимовой-Трофимовой — пёстрая картина, нарисованная разными оттенками чёрного. Будто увлекаемая успехом прошлогоднего текста про СПИД, писательница выбирает основной темой своей повести ещё одну неконтролируемую стихию двадцать первого века — рак. Но эволюционирует в формальном плане, насыщая нарратив добавочными повествовательными планами, выводя произведение за рамки реалистического текста в постмодернистское временное искажение.

Анатолий Гремин болен лейкозом — как мы узнаём на последних страницах романа, он фантастическим образом заразился раком крови от переливания по ошибке. Герой не пытается вылечиться от своей болезни, для него она в некотором смысле

спасительна. Недавно мать Гремина умерла от рака желудка, и в последние, особенно тяжёлые дни он даже желал ей смерти, за что теперь жестоко наказывает себя.

Смежные реальности, в которых происходит тройственное умирание героя, таковы: Гремин находится в НИИ онкологии, где старается помешать карьерным козням против честного врача Чуденского; размышляет о жизни на сломанной орбитальной станции, облучаемой радиацией, где его зовут Регмин, или по прозвищу — Восток; также иногда посещает деревню Новые Шепиличи под Припятью, куда «поместил» ушедших, в том числе мать. В финальной сцене повествование схлопывается: становится понятно, что все события повести имели место быть лишь в сознании Гремина, фактически же герой отходит в мир иной на полу Ховринской больницы. К «миксу» миров добавляется ещё и любимый приём Чака Паланика, мода на который, казалось бы, уже давно прошла: Гремин и его больничный друг Ершов оказываются одним и тем же человеком, который расщепился ради предсмертной агонии и художественного эффекта.

Из-за наличия сразу четырёх повествовательных планов произведение дробится. Кажется, что намеренное усложнение текста продиктовано не столько

психологическим состоянием Гремина, сколько желанием создать гиперреальность, в которой каждый читатель нашёл бы то, с чем он может сэмпатировать свой инстинктивный страх. Даже внешняя композиция работает на ощущение неотвратимости конца, цифры глав располагаются в обратном порядке, имитируя обратный отсчёт.

Показателен и выбор локации. Ховринская заброшенная больница¹, посёлок Новошепеличи в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС... Автор будто бы невзначай избирает эти места, но на самом деле очень осознанно нажимает читателю на синяки, которые образовались благодаря многолетнему накоплению человечеством трагедийного опыта.

Выбивается из общего настроения только космическая линия, которую Верин активно навязывает читателю. В «Химии-терре» всё похоже на космос, всё и все связаны с этой темой. Вот, например, описание одного из второстепенных героев «больничного» мира: «Он обладал простой, очень располагающей наружностью,

¹ Ховринская заброшенная больница — российская городская легенда, здание, которое считается одним из самых страшных недостроев в мире. Место, где неоднократно происходили убийства, самоубийства, сборища сатанистов с жертвоприношениями животных.

в ней было что-то легендарное и с букваря знакомое — улыбка первого космонавта, должно быть. Да, Вячеслав Андреевич похож был на Гагарина изрядно — молод, здоров, красив и лучезарен». В том же ракурсе даны и отношения героев: «Чуденский же невлюбчив и невпечатлителен земным, витает в вышних сферах. И Вика смотрит на него, как в космос, и роняет перед ним листы историй из дрожащих рук, и с высоты своих шпилек опускается на корточки — ему под ноги». По ходу движения текста автор становится всё более авторитарен, герои видят космос везде, где возможно и невозможно только потому, что он так захотел: «На этом поле брани Греммин разглядел отчетливее, чем под микроскопом, собственную смерть, чуму нового времени, грозившую ему кладбищенской лопатой. Но присмотревшись пристальнее, он увидел космос. Куда как красочнее, чем воображал его за окнами НИИ. Клетки-миелобласты и звёздные кластеры соседствовали там на равных». Навязывание мотива приводит к тому, что на каждом отрезке текста нам встречаются соответствующие сравнения. Это объясняет искусственность образа в частности и «сделанность» текста в целом.

И если «Химио-терра» по сути своей — созидание распада, наблюдение за физически

необратимым процессом, то ядро произведений, о которых пойдёт речь дальше, — это операции по саморазрушению, последовательная деструктуризация личности. Даже герой в них всегда тождественен по состоянию внутреннего дребезжания, он блуждает призраком по жизни и не может найти себе в ней места. Болезненно ощущает своё одиночество, но в силу различных обстоятельств ничего не может (не хочет) с этим сделать.

Несмотря на значительную драпировку китайскими элементами, Линь Наоли с её повестью «Праздник Тайфуна: Шанхайская проза» продолжает тенденцию к изживанию себя. Проза о Китае, написанная специально для русской аудитории, ожидаемо авторства нашей соотечественницы: китаеведа Дарьи Потапенко. Но культурные параллели подсказывали национальную принадлежность автора ещё до раскрытия интриги. Как бы повышая уровень болезненного напряжения, Потапенко пишет об интернет-форуме самоубийц в Китае. Перекликаясь с недавней острой ситуацией в России, связанной с интернет-«игрой» в самоубийство «Синий кит»²,

² Синий кит — российская городская легенда 2016 года, основанная на существовании некоей игры в интернете, цель которой — выполнение заданий, которые приведут участника к самоубийству.

«Праздник тайфуна» попадает в разряд ежесекундно актуальных произведений, обрабатывающие свежие гематомы, спутники нового века.

В начале повести акцентируется проблема доведения до самоубийства в интернете, одной из разновидностей кибертерроризма. Неуловимая Бэй агитирует участников форума самоубийц на окончательное решение. На этот раз в её власти оказались две девушки: Фэй (в анамнезе травля в школе из-за лишнего веса, замужем за нелюбимым человеком); и русская эмигрантка Дуняша (бывшая пианистка, ведёт переписку с Бэй скорее в шутку). С Дуняшей общается психиатр Иосиф, который изначально создал Бэй для работы со своими клиентами, а с Фэй — её муж, укравший аккаунт у Иосифа. Мужчина чувствует себя рядом с богатой женой-наследницей миллионов неполноценным и пытается таким образом компенсировать свою незавидную роль. Но только вот к концу автор, видимо, расписавшись, уделяет гораздо больше внимания частным событиям, бытовым описаниям и разъяснениям китайских традиций. Настолько, что даже забывает: муж Фэй украл аккаунт у психиатра и довёл до самоубийства уже не одного человека — в чём глобальная мотивация персонажа, если в повести подробно описаны только действия по отношению к жене?

Из-за переноса акцента возникает композиционный разрыв первой и второй части. В принципе это можно воспринимать как оздоровление текста, ведь Наоли переключается с внешнего явления на внутреннее состояние героев, однако беспокоит резкая потеря главенствующего мотива из-за центростремительных событий, которые далеко не всё объясняют. Автор игнорирует богатую проблематику повести, отделяется от читателя симулякрот решения. Фэй, например, не кончает с собой по чистой случайности — комбинация двух средств даёт обратный эффект. И это — только ситуационная развязка, физическое уничтожение не случается исключительно по воле случая. Замах «Праздника тайфуна» не соответствует конечному результату, глобальная проблема становится рудиментарной по отношению к многочисленным сюжетным линиям, которые добавляются позже. Повествование расползается, шесть историй не завязываются в один узел. А так как внутренней свободы текста не хватает на то, чтобы позволить героям проходить по ребру события, по мысли автора им обязательно нужно быть в него включёнными, то стыковки выходят надуманными и приблизительными.

В многоголосице повести удаётся выхватить пунктирные, неточно намеченные образы.

Чего стоит русская девушка с крайне необычным именем Дуняша, которая пьёт текилу в китайском кафе «Челябинск», закусывает пряником и с удовольствием наблюдает за встречами китайской мафии. Карикатурность Дуняши совершенно не согласуется с уровнем её страшного таланта: девушка обладает уникальным даром извлекать из своего инструмента смерть.

Нельзя не упомянуть, что русская писательница Дарья Потапенко отлично чувствует свою аудиторию. Вся мнимая самобытность текста в его интеркультурности. Вот, например, автор умело создаёт межязыковой конструктор: «Фэй вдруг подумала: а вот это английское *asthma*. Китайский иероглиф «удушьё» пишется двумя элементами — «рот» и «почтение к родителям». Пытаешься вдохнуть, но возникает препятствие. Это значит — ты забыл что-то сделать, и пока не вспомнишь, воздух не пройдет в лёгкие». Без этого аспекта произведение значительно потеряло бы в занимательность (учитывая структурные проблемы), и Потапенко, взяв китайский псевдоним, видимо, хорошо это понимала. Заботливый автор объясняет каждое действие своих необычных героев: «Можно я сниму туфли?» — вдруг спросила Фэй. Гао удивленно обернулся. В китайских домах не принято

снимать обувь, но ходить по японским татами следовало босиком». Исчезает натуральность материала, виден эффект фильтрации. Лупа, которую автор периодически подносит к глазам читателя, мешает увидеть целое. И, как выяснилось, создать его она мешает тоже.

Продолжая тему самоубийства как фона, поговорим о повести Игоря Савельева «Ложь Гамлета», которая заняла второе место. Короткий список этого года на удивление синонимичен и пронизан контекстными параллелями. Вот, например, главный герой Олег прогуливается по ВДНХ около корабля «Восток», по видимой аналогии с которым был назван герой Верина в одной из своих ипостасей. А вот на кладбище Олег видит памятник жертвам чернобыльской катастрофы и размышляет по этому поводу о скоротечности бытия. Ну и, конечно, к концу повести у героя подозрение на рак, а повлиявшая на его жизнь девушка кончает жизнь самоубийством. Такое впечатление, что авторы шорта действовали по принципу «от перемены мест слагаемых сумма не меняется»...

И если текст Верина был преимущественно формальным, показательно-экспериментальным, а Наоли совершила необоснованный переход от события к внутреннему миру персонажей, то у Савельева с самого нача-

ла заявлен глубокий психологический анализ типического героя. Именно личность, а не ситуация берёт на себя сюжеттообразующую функцию, повествование сконцентрировано на герое, а потому он просматривается здесь чётче, чем в других текстах короткого списка.

Олег — скандальный журналист, работает на канале «Файл» (в котором легко узнаётся НТВ) и делает фальсифицированные документальные расследования. На этот раз в его объектив попал арестованный за хищение режиссёр Коноевский (в котором легко узнаётся Кирилл Серебренников³). Новый документальный фильм Олега называется «Ложь Гамлета»: именно эту классическую пьесу Коноевский интерпретировал на новый лад. Сам Олег переживает кризисный период. В соцсети в группе Коноевского, с которой связаны слухи о массовых самоубийствах подростков, он нечаянно натывается на страницу Анны Стародубцевой по кличке Газоза, с которой когда-то имел половой контакт. В связи с этой находкой Олег начинает в подробностях при-

поминать дни, проведённые с Газозой, а автор по этому поводу впадает в унылую бессюжетницу.

Героя отчаянно штормит, бросает из рехаба в секс-клуб, всё это сопровождается рабочими неурядицами. Ключевое слово «метания» прямо звучит в тексте несколько раз: «Его метнуло тогда радикально: после сонного царства барнаульского телевидения, где «24» в названии было только ради красного словца. <...> В Тулу, на выборы мэра. В пиар-бригаду. Баксы заколачивать», «Это был просто рекордный по своему дебилизму и затратам энергии день. По бесполезным метаниям. Бессмысленным телодвижениям». Повесть состоит из череды слабых попыток забвения, ухода из реального мира, где Олег просто никчёмный журналист и морально слабый человек.

Но к чему все эти порывы? Где слом? В какой момент взрослый мужчина, который создаёт из ничего целые расследования, потерял способность моделировать собственную жизнь? Проблема у главного героя вполне себе классическая: хотел покорить Москву, да не покорила. Косвенно Игорь с горечью рассуждает о том, как мог бы выглядеть памятник покорителям Москвы: «Там бы он точно прописал на лице парящего человека наивный идиотизм телячьей радости

³ Кирилл Серебренников — российский режиссёр, художественный руководитель театра «Гоголь-центр». В 2017 году против него было возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

бытия. Первую радость от кэша. Первую иллюзию мобильности, когда махнуть туда-сюда-обратно — раз плюнуть, с пиаровскими-то серыми зарплатами. <...> Первая иллюзия всесильности — от физической, когда ты не спишь сутками и по-прежнему на бодряках, до... Что Москва сжигала без следа, понятно, но Олег всё-таки не мог принять это в буквальном смысле». Получается, что герой переоценил значение возможностей, а когда обнаружил, что без усилия и осознания пути они ни к чему не приводят, предпочёл отойти в сторону и наблюдать за тем, как его жизнь рушится, а карьера превращается в фарс. Как истинный персонаж кризиса, Олег инерционен, а бездействие в его высококонкурентоспособном мире ведёт к ликвидации.

Оригинален способ, с помощью которого Савельев раскрывает психологическое состояние героя. Часто оно выражено через физиологическое ощущение — именно так Олег осязает мир, в пределах этой области демонстрируется степень отчаяния. Анализ состояния неизменно сводится к половому действию. Констатация сонной депрессии невозможна без обязательного атрибута: «Это была какая-то зомби-форма-жизни. Тульский электричоктрэш. Отключение всех жизненных систем, не затронувшее, впрочем... Вот странно: он спал по часу в сутки, а у

него постоянно вставал и стоял, как каменный». Предметное опошление удаётся автору мастерски. Особенно запомнилась одна внушительная фантазия. Якобы Олег слышал, будто школьную форму для выпускниц теперь можно купить только в секс-шопе, и вот он уже увереннее обобщает: «...патриархальные мамы дружно идут в секс-шопы, потому что больше для дочерей взять эту форму неоткуда». Савельеву очень важно, чтобы картинка выглядела модно и стильно, для создания нужного фильтра в ход идут любые способы и средства.

В этом плане особенно показательны два момента, и я позволю себе процитировать их максимально объёмно, потому что они прямо свидетельствуют об отсутствии у автора художественного вкуса. Первый — один из способов работы Олега, его очередной изобретательный план по изобличению режиссёра: «То есть великий режиссёр обоссался — то ли от страха перед гневом народных активистов, то ли просто не вытерпел, потому что прячется там несколько часов. То есть мы показываем эту мочу и объясняем всё ровно то же, что я сейчас вам сказал». Или — перфоманс на спектакле Коновского: «Продолжая хрипеть, Грэм достал из своих мешков два больших стеклянных сосуда, молоток, торжественно тюкнул,

и по залу прокатилось: а-ах. Какие-то дамы уже пробирались к выходу. Что это у него — было почти неразлично из-за огней рампы, отсвечивающих в стекле, Олег-то, конечно, знал: час назад в студии Гремие долго, подробно и как-то со смаком демонстрировал заспиртованных младенцев». Всё это кажется плохой шуткой, странной подростковой фантазией, после этого очень сложно всерьёз сопереживать кому бы то ни было в этом тексте и адекватно воспринимать дальнейший событийный фон.

Язык произведения упрощён до преобладающего разговорного стиля. Сам автор повествует точно в тон своему герою: «Олег немножко троллил, СС смотрел на него, как учитель на школьного клоуна»; «Но тот всё равно пускался в рассуждения: «А ведь и над Иркутском, и над Барнаулом озоновая дыра, учёные выяснили», что заставляло заподозрить в нём полнейшего дегрода, прикрытого бронёй высокой должности». Речевые характеристики автора и героя практически неразличимы: мы видим одного моноперсонажа, который рассказывает нам о себе на два одинаковых голоса.

Также стоит упомянуть об актуальной теме современного театра и угнетении художника. Только вот освещена она довольно скудно, через гиперболических мёртвых младенцев

и уринотерапию. Из текста совершенно непонятно, достоин ли всех изобличений, подлогов и арестов Коноевский. Сам Игорь Савельев, судя по его интервью, считает это само очевидным, будто его личного взгляда на ситуацию достаточно, и это избавляет автора от труда создания понятного читателю образа: «В конце повести режиссёра сажают. Я с большим удивлением, когда уже повесть появилась на сайте среди финалистов, видел, что большинство не понимает, о чём речь. Кто-то из критиков написал, что режиссёр оказывается преступником (смеётся). Меня это удивило. Наверное, это потому, что некоторые критики не следят за творчеством Серебренникова»⁴.

В сухом остатке мы узнаём про сборище непрофессионалов, клоунов своего дела. Продажные журналисты, превратно трактующие классику режиссёры, неудачливые покорители Москвы, — скучающий паноптикум новой интеллигенции, развлекающийся оргиями и маленькими девочками и не имеющий сил заняться чем-нибудь, что будет приносить банальное удовлетворение. Зато сколько цинизма в интонации, сколько безразличия к жизни. Слабосилие как смертельный диагноз. Из-за явного примата мускулинности и

⁴ Писатель Игорь Савельев: «Как получу премию, закрою кредиты»

брутальности выражения такая проза обычно называется мужской. Но не стоит оправдывать её сексуальную окраску гендерной принадлежностью, ведь и вне гендера она остаётся низкопробной.

Тождественным по герою и способу восприятия мира кажется мне отрывок из романа Игоря Белододе «Подрывной». Как и предыдущее произведение, это снова история многоэпизодного карьерного разочарования: в своих способностях, их реализации и, конечно же, обстоятельствах. Важным аспектом романа является формальная сторона, ведь «Подрывной» — это в первую очередь глобальный эксперимент с формой.

Белодед применяет приём тройной рекурсии. Молодой писатель Андрей пишет роман об Иване Каляеве, который в девятнадцатом веке совершил удачное покушение на императора, взорвал его карету и был казнён. Сам Андрей, переживая сложный период после смерти матери, помыкался по рабочим местам и наконец обосновался на госслужбе. Герой становится свидетелем коррупции в министерстве, и в стремлении всё расставить по своим местам готовит теракт, на который в момент икс ему не хватает решительности. В итоге Андрей взрывает сам себя, выманив у министра признание в махинациях.

Последняя «матрёшка» этой сложной композиции — старший товарищ Андрея, писатель с тем же именем, который создаёт произведение по запискам младшего друга. Автор настолько вживается в своего героя, что даже начинает думать, будто невеста Андрея-младшего теперь делит жизненный путь с ним. «Потому что роман стал писать меня, а этого я уже не мог терпеть», — произносит он одну из важнейших фраз романа и отказывается от незаконченной книги.

Сам автор определяет своё произведение как роман-дифонию⁵. Действительно, помимо композиции-«матрёшки» Белодед использует кинематографические переключения между линиями романа, стыковки их неочевидны: «На улице очень холодно, нечего студить кота. К тому же такого славного. Мы провели с ним весёлую неделю. Жаль, что вы вернулись из Сибири так рано... «Главное, раньше времени не оказаться в Сибири», — говорю ему я. Он скалит зубы-скалы, отвечает половому по-немецки, дескать, наш император-то большой Франц. Всем Францам Франц». Перемену героя мы опознаём по смене декораций. Как и в случае с «Химио-террой» Верина, глобальный формальный эксперимент влечёт за собой серьёзные

⁵ Дифония — музыка на два голоса

внутренние проблемы произведения.

Уже знакомый нам потерявшийся персонаж разложен на трёх. И если герой Савельева был инерционным, то герои Белододе скорее рефлекслирующие. Следует упомянуть, что, несмотря на «размноженность», по речевым характеристикам и способу мышления это всё ещё один человек. В романе мало действия, гораздо больше размышлений о нелёгкой доле писателя и о судьбе народа. В подобных стенаниях проходит сто с лишним страниц: «Я держал глыбу человеческой жизни в руках и боялся сделать из этой глыбы роман, каждый раз, когда я садился за стол, я задумывался: зачем вообще нужен посредник? <...> Неужели кто-то действительно может видеть во мне не муравья, тащившего на себе камень смыслов, а великана, который снизошёл до обыкновенных людей и сидит здесь, слушая их маленькие рассуждения, и — о чудо! — даже сам будет выступать перед ними». Умственная жвачка собственных выводов, заимствованных философских сентенций и общих мест. Андрей-младший довольно холоден, безынициативен и даже вял, он сосредоточен лишь на созерцании своего потока сознания.

Потому взрыв, прозвучавший завершающим аккордом, не кажется органичным. Теракт

скорее свидетельство авторского бессилия, новая жертва форме, ведь в изначальном романе Андрея-младшего Каляев тоже взбунтовался против власти с помощью гранаты, а значит, причинно-следственные связи ведут нас к повторению истории. А вот третье кольцо гранаты почему-то не выдёргивается: Андрей-старший скромно возвращается к ненавистной жене и отказывается от своих замыслов. Таким образом вся содержательная часть романа полностью обесценивается — получается, что выхода нет ни в творческом, ни в глобально-жизненном плане.

Кризисный момент в произведении показан походя, зато дан ещё один его возможный исход: самоподрыв как итог деструкции. Будучи созвучным в формальном плане с «Химико-террой», роман Белододе имеет схожие проблемы, связанные с тем, что молодые писатели в силу ли возраста, в силу ли ограниченных творческих возможностей не могут качественно сочетать усложнённую форму и внутреннюю полноту содержания. Хотя, как мы видим, о полноценности содержательной части тоже говорить пока не приходится.

Как можно было заметить, во всех вышеперечисленных текстах в том или ином качестве нам встречалось самоубийство. Герой Верина после переливания крови по ошибке не лечит

себя, но идёт умирать в заброшенное здание Ховринской больницы; текст Линь Наоли буквально наводнён самоубийцами, будущими и бывшими; в произведении Савельева кончает с собой важная для героя девушка; а в романе Белододеа финальной точкой становится изначально запланированный как теракт самоподрыв. В двух следующих текстах, о которых пойдёт разговор, герои занимают не только лишь саморазрушением, но озабочены ещё и устранением ближних своих.

И это легко получается у героев романа «Желание исчезнуть», автором которого является Константин Куприянов, победитель второго сезона премии «Лицей», на данный момент проживающий в Сан-Диего. Снова универсальный код страха, новая гематома размером во всё тело — война на Украине.

Вернувшись с войны в родной посёлок, ветераны решают взять всю власть над ним в свои руки для того, чтобы обеспечить жителям спокойствие. И хотя вначале автор пытается убедить нас в том, что главный герой испытывает эмоциональный дискомфорт из-за того, что ему сложно заново приспособиться к жизни, из которой он был «изъят», через несколько страниц мы понимаем: внешняя потерянности ещё не означает растерянности внутренней. Кузьма не будет

ждать, когда мир примет его, он просто сделает из мира войну, а уж там он точно будет на своём месте.

Первая сцена — возвращение раненого отца семьи из военной Одессы, попытки неловкого сближения, дочь, которая дичится отца, потому что не видела его уже долгое время — всё это даёт надежду на честный рассказ о том, как человек с трудом переходит от жизни на войне к мирной жизни, как долго и больно он выстраивает отношения с собственной дочерью. К сожалению, заявленный в начале мотив в «Желании исчезнуть» прозвучит очень посредственно, а потом и вовсе забудется.

Куприянов превратно трактует посттравматический синдром. Кузьму не оставляет подсознательное желание убивать, он моментально находит себе врага в родном посёлке (им оказываются подвернувшиеся под руку кавказцы) и организует отряд для зачистки местности от тех, кто ей якобы угрожает. Новые ветераны жестоко расправляются с кавказцами, а заодно и друг с другом. Все причастные к этой войне по мысли Куприянова практически безумны: у каждого обнаруживается критический психологический перегиб (один видит свою девушку-призрака, другой впадает в религиозный фанатизм). Даже

журналистку, которая собиралась писать книгу, основанную на интервью вернувшихся с Донбасса солдат, расчётливо насилуют перед взаимным уничтожением, ведь она «хотела прикоснуться к войне». Парадоксально, что по сути своей гуманная мысль, заключающаяся в том, что война противна человеческой природе, подаётся такими антигуманными способами.

Тотальное взаимное уничтожение нового боевого отряда в развязке только утверждает читателя в мысли: все эти люди, все, кто вернулся оттуда, — неправы. И возмездие всегда настигнет. В лице ли товарища, который убьёт тебя просто потому, что ему нравится убивать, руками ли врага, который достанет и здесь, да только ты всё равно умрёшь, потому что теперь войной ты ушиблен, и везде будешь создавать войну: «Память сегодня упрямо сворачивала обратно в войну, и он не сильно противился, однако чувствовал неловкость за то, что живёт прошлым, тогда как в настоящем столько бед и забот есть у родного посёлка и у собственной семьи. Всё вокруг требовало починки, а он как будто уехал обратно на фронт».

Итак, Кузьма — лидер не только по натуре, но и фактически: долгое время он руководил отрядом в Одессе. Этот человек в одиночку выжил после осады вокзала, товарищей разорвало

буквально у него на глазах. Основная мысль, которая педантируется автором и носителем которой является Кузьма, — о нас все забыли: «Я же смотрел ящик, газеты читал. С каждым годом всё меньше и меньше новостей о нас. Приезжаешь — меня тут все знают. Все знают, где и почему я был, но, кроме названий, ничего-то они не знают, им всё равно. А я-то хожу и молчу — подписка! Да и противно навязываться, коли им дела нет!» Для сравнения, та же идея, звучащая из уст другого человека: «Нас было совсем мало, но за каждым стояло по тысяче гражданских. А теперь — кого ни спроси, они и не в курсе, что там была и есть война. Будто это на другой планете, а не по соседству! А разгадка простая: по радио и ящику передавать перестали!» Куприянов наивно полагает, что главная вещь, которая волнует людей, отдающих свои жизни на Украине, — это упоминание о них в СМИ.

Собирательный образ солдата, следуя дидактике книги, — человек жалкий, обиженный на всех вокруг: «Теперь Кузьма понял, что мужичок показался ему знакомым, потому что у всех прошедших эту войну был общий отпечаток стыда, разочарования и гнева. Особенно гнева — на огромный безмолвный народ, который они пошли защищать на самую передовую». Антитеза солдат-народ

может говорить только о том, что автор просто не понимает, о чём он пишет. Кузьма откровенно злится на своего тестя за то, что тот тоже считает себя задетым этой войной. В сознании Кузьмы всё просто: не воёвал, значит, жаловаться права не имеешь. Герой не способен на обдумывание действия, он демонстрирует типичный подростково-собственнический тип поведения. У дочери появился парень — выгнать его из зоны видимости; кавказцы купили его кафе — перебить их всех. Дома стало эмоционально некомфортно из-за скрытого конфликта с дочерью и тестем — Кузьма убегает в рыбацкий домик к друзьям и со своей компанией начинает терроризировать окрестности. Это желание показать свою силу, доминировать говорит о психологической ограниченности героя и неудовлетворённости. Казалось бы, зачем успешному военному доказывать свою силу среди тех, кто и не претендует на то, чтобы её оспорить... Куприянов ответа не даёт, возможно, потому что просто его не знает.

Примечательна и молодая журналистка Катя, которая совершенно не видела жизни, не говоря уже о смерти. Она хочет написать о Донбассе, но не до конца понимает, какую страшную тему затрагивает. Умиляют способы, которыми автор пытается создать образ.

Энтузиазм Кати доведён до абсолюта, речь её звучит комически пошло: «Это очень важная тема, вы правы! Но в Одессе лишь один из театров. Самый важный, но не единственный! О, я так хочу обо всём этом написать хороший материал! Я вообще думаю из этого сделать диссертацию. Или книгу. Или диссертацию и книгу, я ещё не решила! <...> Но я точно хотела начать с разговора с ветераном. Я, правда, сначала искала ветерана Ближнего Востока, но мне сказали, что по тамошним пока рано писать, им ещё нельзя говорить особо...» Да, Кате совершенно всё равно, каких ветеранов ей интервьюировать, главное, чтобы были ветеранами.

Все процитированные здесь поверхностные суждения напоминают уровень дискурса в интернете, и уж никак не претендуют на глубокое художественное осмысление события. Солдаты обижаются на народ и очень волнуются, что о них не пишут СМИ, а глупые журналистки не понимают различия между конфликтами на Ближнем Востоке и Украине. Нехитрое, но очень опасное спрямление.

Наивна и попытка катарсиса, который переживает Кузьма в связи с впечатлением от произведения искусства. Натворив бед, избив до полусмерти кавказца, Кузьма

стоит на перепутье: продолжать зачистку своего посёлка от врагов дальше или свернуть с намеченной дороги. Один из воинов нового отряда Кузьмы, Егор, указывает предводителю на художника Нестора, который живёт неподалёку от посёлка и рисует картины гомосексуального содержания. Кузьма откликается на сигнал, но, купив одну из картин художника, на которой изображены венчающиеся молодые люди, переживает нравственный переворот. Вот Кузьма, до этого совершенно неконтролируемый, застаёт свою дочь с её возлюбленным Максимом, которому он до этого ясно дал понять, что видеть его больше никогда не хочет: «Кузьма набрал воздуха в грудь, чтобы ответить, но потом вспомнил картину, и страшное предчувствие, похожее на кошмарный сон наяву, остановило его. Оно пронеслось за секунду и остановило его. Он понял, что теперь может разрушить всё, что имеет, если пойдёт дальше». Живительна сила искусства, но впоследствии она, конечно же, не становится сдерживающим фактором.

Первая часть романа построена исключительно на диалогах: кажется, что именно для удобства повествователя в роман введена журналистка, которая берёт у солдат интервью. Объяснив таким образом форму,

можно не обращать особенного внимания на ход сюжета, а «хитро» встроенные в интервью прямые трансляции позиций не требуют событийного обоснования. Из-за большого количества диалогов в первой части редко удаётся оценить стилистические навыки автора, но всё же иногда Куприянов вступает в роль рассказчика, и тогда голос его звучит особенно нарочито, с театральными акцентами: «Укры мучительно убивают её, но он не ускоряет её конец, просто смотрит на будущие страдания женщины, которой признавался в любви. Марина стонет, жизнь медленно утекает из неё, но человеческое тело сильно, оно выносит новую и новую секунду пытки, и смерть растягивается, поглощая город, на который падает град из пламени, пока никому нет дела». Впрочем, во второй части события вдруг начинают развиваться стремительно, словно автор пытается уравновесить изначальное обилие диалогов при полной пробуксовке сюжета.

«Желание исчезнуть» — это неумело сделанная декламационная брошюра, которую наспех скопировали из первых встреченных в сети источников. Автор брошюры заметил свой промах, и экстренно расписал её до остросюжетного триллера, но внутреннего объёма она от этого не набрала, не стала хорошо написанной,

менее крикливой и очевидной. Зато получила премию — она и не могла её не получить, потому что написана на очень болезненную тему, а когда нажимаешь на свежий синяк, кажется, что больно по-настоящему. Кроме того, символично, что именно апофеоз деструкции стал «лучшим» текстом молодёжной премии.

Тематически повесть Сергея Кубрина «Между синими и зелёным» условно совпадает с произведением Куприянова, однако повод для прозаического размышления гораздо более скромный: Костя возвращается из армии и совершенно не понимает, что ему делать дальше со своей жизнью. Его брат Денис сидит за убийство, и Костя решает пойти по стопам родственника: быстро связывается с его прошлой компанией. Герой близко знакомится с бандитом по кличке Старшой, настоящим виновником преступления, за которое осудили Дениса. Первым заданием Кости становится разукрашивание танка в цвета радуги, он успешно справляется с ним. О дальнейших подвигах молодого человека известно немного. Читатель знакомится с Костей в поезде: бывший солдат едет хоронить армейского друга Лёху по прозвищу Лётчик.

Скрепляющий эпизод — случай, пережитый молодыми людьми в армии. По воле судьбы именно Лёха и Костя с

несколькими ребятами отправляются в лес, чтобы поймать беглого зэка. В решающий момент, пока Лётчик пытается решиться убить заключённого, именно Костя уговаривает друга отпустить беглеца. Разумеется, решение Кости обусловлено уместной психологической проекцией: «И пока Лётчик справлялся с дыханием — беспокойными волнами бродило оно без оглядки, Костя вспоминал брата. Тот стоял перед ним, и черты его проглядывали в бедном зэке. А что, думал Костя, если брат побежит и нарвётся вот так вот на двух раздолбайных солдат. Вдруг уже побежал и кроется где-нибудь в подземных трущобах, в подвальных оскоминах сырой гнили». Этот непрозвучавший выстрел становится сквозным, прошивает повесть по одной линии. Убийство, за которое сидит Денис; смерть Лётчика от ножевых ранений на вокзале; вооружённый грабёж, которые совершает Костя в пьяном бреду; его планы мести за Лётчика — все эти внешне не связанные преступления синхронизируются и становятся одним ужасающе случайным и бессмысленным событием. Именно эпизод с зэком кажется мне высшей нотой повести, логическим выходом из цепочки смертей. Пусть даже через ассоциацию и личный опыт, но Костя поступает как человек — важно, что на тот момент человеческое в нём было.

Было, потому что Кубрин выбирает для своего персонажа другую дорогу. Фактически в повести нет ходов в жизнь. После армии солдаты находятся в состоянии прострации, они не знают, что с собой делать. Костя бросается к лёгким деньгам, объясняет он это невозможностью найти нормальный заработок: «А нет никаких перспектив, — махнул Костя. — Никаких перспектив нет здесь, на зоне, — ответил Денис, — а на свободе можно жить, ты мне тут не заливай. — Костя рассказал бы, как безуспешно искал работу, пока Старшой не появился, пока не подарил веру в лучшую денежную жизнь». «Лучшая денежная жизнь» приводит его к насилию, во время которого он даже не осознаёт себя. Лётчик, помаявшись на гражданке, всё-таки решает вернуться в условия психологического зажима — служить на контрактной основе. Да и остальные сослуживцы Кости устроились не лучше: один работает охранником и мечтает о месте менеджера по продажам, другой уволился с лейтенантской службы и пребывает в затыжном запое. Выходит, что нормального трудового места для молодых мужчин в России двадцать первого века просто нет. Но и сами герои не проявляют особенного энтузиазма в поиске достойного заработка, любые усилия кажутся Косте

непреодолимыми препятствиями, а своё бездействие он оправдывает обстоятельствами: «Завтра, через неделю, спустя месяц, в какой-то момент перестал он искать работу. Одни требовали вышку, вторые — опыт, третьих смущал армейский вакуум. Костя понял, что консультантом в банк его не возьмут — нужен хороший внешний вид и грамотная речь. <...> Тогда, не дождавшись, проработал недели две охранником в сетевом алкомаркете, но после первой же ревизии, когда недосдачу повесили на всю дежурную смену, Костя ушёл. Работал он хорошо и старательно, но денег за это не платили».

Психологические проекции у Кубрина встречаются довольно часто — автор умело использует этот приём. Цепен эпизод в поезде, когда в апогее пьянства разбитый горем Костя принимает случайного дембеля за Лётчика. Вроде бы и все темы они уже проговорили, и понимает Костя, кто перед ним сидит, а всё-таки на секунду — на одно мгновение — хочет верить, что друга ему вернули. Момент узнавания чужого написан с максимальной прозаической достоверностью.

Достоинны внимания и речевые характеристики персонажей, через манеру и мелкие детали речи автор точно передаёт характеры: «Какой на хрен увал? — скулы ротного задрожали, —

Какой на хрен увал? — Ротный всегда повторял дважды. Сначала спрашивал себя. Убедившись, что ответ находится вне зоны его понимания, дублировал вопрос». Это говорящее повторение и его авторская интерпретация уже начало возможного психологического портрета.

Если осмысливать произведение как единое целое, то нельзя не заметить, что текстуальная ткань подвержена разрывам. Есть ощущение, что автор местами не выдерживает серьёзности момента, от этого в жёстком реалистическом повествовании на пике события появляется притчевая манера. Происходит это как будто от неумения вписать сцену в сюжет, обобщить её с наработанным контекстом. От этого случаются иносказательные вскрики в конце, казалось бы, сильных эпизодов. Вот, например, завершающий абзац уже упомянутого нерасстрела зэка: «Он обязательно решился бы на выстрел, будь не солдатом, а одним из тех невозмутимых воинов, из-за которых то и дело просыпался лес. Костя хотел сказать что-то вроде «извини, братуха», но залил дождь. Так лес ревел от счастья. Пуля не пронзила лесную тишину, не ударил огнём отблеск свежей крови, жив остался человек, человек остался человеком». Кубрин довольно упорно пытается метафоризировать художественное пространство, придавая лесу

эзотерическое значение, прямо олицетворяет его. И это всё-таки ощущается как инородная тексту образность.

Важно, что диалектика Кубрина не привязана к актуальному событию, внутренний раздрай героев — это кризис взросления, переходный период между юношеством и взрослостью, которого эмоционально незрелые герои не выдерживают, а оттого либо погибают сами, либо нацеливаются на убийство других. Попытка вневременного повествования, однако, не исключает родства с предыдущими произведениями: потеря как движущая сила текста, безвыходность, а в ней — слабый герой, который всё ещё не может найти своё место в мире и сваливается за борт при первой же сильной качке.

2. Деформация

Возможен ли шаг в сторону от тенденции разрушения в контексте премии «Лицей»? Самым очевидно внешним и незамысловатым выходом являются тексты, представляющие нормативные жанры массовой литературы, существующие в рамках шаблона (таких в коротком списке премии — два). Соответствие этому шаблону означает в первую очередь конструирование художественного мира, который превалирует над всеми остальными

качествами текста. Внешний конфликт выносится за скобки, становится определяющим. Внутренний конфликт в таком случае практически отсутствует, авторы настолько увлечены выписыванием неправильного мироустройства, что почти полностью забывают о внутреннем мире героя, о влиянии на него изменений, которые произошли на длинном повествовательном пути. Представленные в шорте произведения в жанрах фэнтези и антиутопии — это лишь деформация текста, непропорциональное увеличение роли художественного пространства по отношению к остальным его характеристикам.

Сергей Носачёв представил на конкурс не один только роман, а ещё несколько рассказов, но они настолько незначительны, что я обойду их разбором. Самый крупный текст в подборке и, как мне видится, главный у Носачёва — это фэнтези-роман «Лес». Жить в литературной ситуации, где есть такое знаменитое и растиражированное произведение, как «Игра престолов»⁶ Джорджа Мартина, конечно, совсем непросто. Ещё труднее творить в жанре фэнтези в рамках массовой культуры,

где совсем недавно отгремели «Сумерки»⁷ Стефани Майер. Не мудрствуя лукаво, Носачёв взял понемногу и оттуда, и оттуда, и явил миру русский фэнтези-гибрид.

В Лесозёрске после выпадения росы случилась странная мутация: все молодые женщины забеременели двойней, дети в утробе аномально быстро росли, а при родах матери погибали. Нетипичный рост продолжился и в младенчестве, позже отцы узнали, что их чада — необычные существа, которые называются триморфами. Полулюди, полужвери, полурастения. Пробыв достаточное время в мире людей, триморфы решают уйти от них, так как человеческая природа им невыносима. Они превращаются в деревья, лес хотят срубить застройщики, против чего активно бастуют родители. Ясно, что оборотневая природа детей, их быстрый рост и вред матерям — не самое ценное наследие от «Сумерек», а связь с лесом, вращение корнями в почву и как итог превращение в деревья окончательно — сразу две линии, заимствованные из «Игры престолов». Пересказом сюжетных совпадений заниматься, наверное, не стоит.

«Лес» — книга лёгкая. Массовые смерти женщин, огромное горе для целого города,

⁶ «Игра престолов» — фэнтези-роман, часть пятикнижия «Песнь льда и пламени», рассказывающий о династических войнах в вымышленном мире между наследниками и претендентами на трон континента Вестероса.

⁷ «Сумерки» — серия книг о вампирах, впоследствии кинотрилогия

забываются поразительно быстро. Вдруг, в трогательный момент превращения детей, мы читаем, что «матери повязывали на ветки разноцветные ленты» — то ли это неожиданное воскрешение родительниц, то ли просто авторская невнимательность. Подобные фактические ошибки здесь не редкость. Это легко объясняется, ведь когда писатель сосредоточен на декорациях, внешних украшениях среды, которые бы красиво подсвечивали зверорастениеподобных героев, отсутствие матерей уже не кажется таким уж важным фактом. К завершению роман и вовсе поворачивает на сто восемьдесят градусов: от любования необычными существами Носачёв резко переходит к проблеме вырубки лесов, и, будто нащупав золотую жилу актуальности, уже больше не отказывается от этой темы.

Главный мотив «Леса» существует в пределах допустимой жанровой нормы. Три морфы выносят человечеству стандартный приговор, упрекая людей в их жестокой природе, практически в их существовании: «Животным в стае не нужно объяснять, что убивать друг друга неправильно. Это внутреннее знание. Вам пришлось научиться говорить и писать, чтобы оно появилось хотя бы как внешнее. Но даже очерченные границы вас не сдерживают. Вы скачете через

них, как будто играете в классики. Дурацкая прихоть — и вы уже уничтожаете всё вокруг — и себя, и других, — и в поисках оправдания переписываете свои же законы».

Неудивительно, что фэнтези-роман не обладает выдающимися художественными качествами. Но вот настоящий сюрприз — увидеть его в шорт-листе молодёжной премии, а не на соответствующей полке в книжном магазине. «Лес» не новаторское произведение, Носачёв не привносит ничего нового в жанр, не пытается разрабатывать его, лишь существует в контексте фэнтезийно-маскультурных штампов. Возможное разрешение загадки заключается в том, что для «Лицея» было принципиально добиться хоть какого-нибудь разнообразия жанров и подходов, и во многом именно этим объясняется третье место премии, антиутопия Булата Ханова «Дистимия».

В ней мы знакомимся с циничным личностным тренером, Максимом Архетиповым, который считает, что в каждой социальной группе существует свой дискурс, набор определённых общих фраз, привычек и т. д. Архетипов отправляется проводить тренинги в Нертеннгову, далёкий заполярный городок, где обнаруживает гиперболу современного общества. В Нертеннгове повсюду висят баннеры с цитатами великих

людей, все жители города обязаны проходить бесконечные тренинги личностного роста. Архетипова «закрывают» в психологическую лечебницу, где всех больных называют страждущими, и вдоволь пичкают его же лекарством, тренингами и командообразующими мероприятиями. Героя упорно пытаются убедить в том, что у него депрессия, просто он этого не осознаёт.

«Дистимия» произведение сатирическое, доводящее до абсурда современную моду на популярную психологию и новые методы корпоративного взаимодействия. Расстраивает, что автор видит лишь внешнюю атрибутику современного общества, работает с его характерными маркерами: «Как бы ты ни загружал себя работой, тебя будут загружать современные мысли. Почему, например, ты надрываешься в Нертеннгове, а московские дружки по-прежнему обсуждают, где самый вкусный лавандовый раф?» Лавандовый раф, инстаграм, курсы... Всё это высмеивается с такой безусловностью, будто является самоцельным поводом, будто за всей этой тягой к наносному Ханов не видит глубокой внутренней проблемы. Автор весь мир старается подвести к математической модели, максимально упростить всё доступное взгляду современного человека.

Вот, например, главный герой с присущей юности однозначностью рассуждает о том, что для либералов и патриотов весь мир чёрно-белый: «Например, для патриотов белое — это Кремль и парад на День Победы, а чёрное — это гей-парад и «Макдоналдс». Для либералов наоборот. И неважно, что Кремль красный, парад на День Победы — цвета хаки, а гей-парад, хм, голубой». В такой позиции кроется слабость, так как найдётся много читателей и тех, и других убеждений, для которых мир палитра гораздо более обширная.

В «Дистимии» обнаруживается и проблема жанра. На первый взгляд кажется, будто это антиутопия нового толка: с авторитарным мэром, который заставляет всех водителей слушать классическую музыку, а всех работников посещать тренинги хотя бы раз в энное количество времени. Но в процессе наблюдения за этим обществом создаётся скорее ощущение того, что это — утопия. Нам показывают и работников школы, которые вместе ходят в походы, рассказывают о том, что мэр приглашает в город актёров, музыкантов и спортсменов, чтобы те давали мастер-классы, отводят на поэтический вечер к местной «дутой» звезде Николаю Кагэдэ, где люди между тем читают стихи существующей публике.

Да и бедные водители уже не кажутся такими несчастными: «Более того, также поощряется слушать (с позволения клиентов, разумеется) аудиокниги. Так, Сергей уже справился с «Горем от ума», «Капитанской дочкой», и подборкой поэзии Фета».

Мир «Дистимии» действительно авторитарен только по отношению к главному герою, которого жители Нертеннговы (да и не только они, ведь это была инициатива директора из Москвы), считают депрессивным и пытаются помочь ему с помощью своего специфического учреждения. Антитеза легко выявляема. На фоне всех этих псевдосчастливых людей социально неактивный человек оказывается за пределом нормы. Психиатр обвиняет Архетипова в том, что он «не практикует медитацию и не внедряет бодипозитив», а также «редко обновляет свой «Инстаграм». И вот тут стоит остановиться и подумать, а не о западном ли обществе идёт речь? Бодипозитив в России — частность, а не стихийное явление, в отличие от стран Запада. Получается какой-то ядерный коктейль с насильственным насаждением классической русской культуры и обвинениями в отсутствии модернизации — пародия на всё и сразу.

Если я попытаюсь копнуть в глубину, у меня вряд ли что-то

получится из-за её отсутствия. Главный герой повести, Максим Архетипов — это просто программа реакций. Удивления, досады, бунта против дома страждущих. Носитель циничных оценок, приговоров, которые он, как и герои Носачёва, выносит обществу. Удивительно серьёзно завершение его линии: из цитадели общества потребления, торгового центра, до которого герой таки добрался, сбежав из больницы, Архетипов отправляется искать мифического отшельника на кладбище умерших поездов и то ли остаётся там, то ли продолжает своё путешествие.

Один раз Ханов делает попытку проанализировать природу сдвига, но либо забывает о ней, либо просто не справляется. Наташа, летевшая с Архетиповым из Москвы, хочет спасти своего молодого человека из Нертеннговы, а тот всерьёз намерен остаться в экологически неблагополучном и очень далёком городе. Архетипов пытается уговорить зачарованного парня. Уже знакомые нам аргументы вроде: «Тебе необязательно таскаться по вечеринкам и вести «Инстаграм». Так же, как и необязательно ломать себе жизнь на Севере» ни к чему не приводят, автор не выходит за очерченный круг, и сам становится заложником созданного в рамках повести дискурса.

3. Конструкция

Но есть и другой путь из коррозионной тенденции, не столь очевидный, но гораздо более верный. Если предыдущая дорога была простой и лёгкой, но приводила читателя лишь в тупик констатации, то эта, хоть и имеет массу развилок и крутых поворотов, всё-таки обещает выход в будущем.

Следующие две повести шорта — это произведения о подростках примерно одинакового возраста, в одной из них важным фактором является неблагополучная среда, в другой за основу взято трагичное событие. В обоих текстах мы видим попытку преодоления деструкции художественного мира, явное стремление найти выход. Характерно, что появляется эта попытка именно в литературе про детей, а потому можно предположить, что продиктована она сегментом и возрастом героев. Кроме того, это даёт повод всерьёз задуматься о незрелости молодой литературы на сегодняшний день, ведь когда лучше всего у тридцатилетнего автора (а средний возраст участников — двадцать девять лет) получается написать о подростке, это показательно.

Повесть Анаит Григорян «Посёлок на реке Оредеж» рассказывает нам о девочках примерно четырнадцати и

одиннадцати лет, Кате и Лене Комаровых, которые живут в посёлке, в многодетной семье. Их родители беспробудно пьянствуют, а в перерывах избивают сестёр за мелкие провинности. Так как мать Комаровых безразлична к дочерям, её роль пришлось взять на себя старшей из детей — Кате. Повесть начинается с того, как Катя осваивается на новой работе в продуктовом магазине.

Следует сразу сказать, что «Посёлок на реке Оредеж» — это фиксация момента, а потому в ней отсутствует полноценный сюжет. Короткие зарисовки из полутрудовой, полупраздной жизни сестёр сменяют одна другую. Конечно же, это скорее недостаток текста, чем его достоинство. Благодаря этому безвременью повесть ничем конкретным не заканчивается, и читатель может сам додумать, к чему же привело сестёр Комаровых их «брошенное» существование.

И это видится мне отказом от ответственности, Григорян по очевидным причинам не может поставить сюжетную точку. Если бы сёстры подчинились среде, автору бы пришлось окончательно заземлить повесть; если бы вырвались из-под влияния окружения, необходимо было бы описывать долгое фундаментальное изменение. Но автор так и не принимает решения, а потому во второй части произведения

вновь знакомит нас с теми же героями и снова отрывочно даёт яркие ситуации из повседневности Комаровых. Это делает повесть композиционно несостоятельной: подобная змее, кусающей себя за хвост, повествование ползёт по второму кругу-близнецу.

Но оставим формальную сторону вопроса и углубимся в текст. Главным мотивом «Посёлка на реке Оредеж» является безграничная тоска по матери, которая физически находится рядом, но на самом деле уже давно потеряна. Мать Комаровых, в прошлом городская, не выдержала тяжёлой жизни в деревне с мужем-алкоголиком, а потому озлобилась и полностью ушла в себя. Естественно, что дети должны были найти родителя в ком-то другом. Во время особенного эмоционального напряжения, побоев, обидной ругани или просто внезапного ощущения одиночества Катю будто «выкидывает» в воспоминания о бабушке, в них она может спрятаться от давящей реальности. Особенно показательна сцена избиения: «Была бы жива бабка, она бы их защитила: она всегда их защищала, а потом ещё утешала мать, которая всегда после этого бежала на кухню. <...> Бабка подвигала стул, подсаживалась рядом, гладила мать по вздрагивающей от рыданий худой спине и монотонно повторяла: «Ничего, доча, всё пройдёт, ты

поплачь-поплачь, всё, доча, проходит, это ничего, ты терпи, ты плачь, слёзы лечат, всё проходит, и это пройдёт». <...> Комарова сидела на полу, глядя ей вслед: потом, когда Наталья скрылась в комнате и щёлкнула дверной защёлкой, провела рукой по голове, и в руке остался большой клочок вымазанных в крови волос». Эти внезапные побеги в прошлое дают Кате моральные силы исполнять обязанность, которую она получила по наследству от бабушки: быть опорой своим братьям и сёстрам. Как и любой подросток, Комарова делает это с неохотой, но выбора у неё не остаётся.

Помимо прошлого есть у Комаровых и ещё одно временное спасение. Это местный священник отец Сергей и его жена Татьяна, которые не могут иметь детей, а потому ситуацию Комаровых воспринимают особенно близко и всегда помогают им, если это возможно. Тонко описаны взаимоотношения супругов, особенная психологическая ситуация, существуя в которой они не могут быть до конца близки: «Двенадцать лет с Татьяной прошли как во сне. Сергей иногда боялся, что его любовь к жене была слишком сильной и, может быть, неприличной для верующего человека». Природа еле уловимого холода и сопутствующего чувства нереализованной любви раскрываются

в эпизоде ночного пробуждения Татьяны и Сергея, обидное отчуждение близких друг другу людей выписано в нём особенно точно: «С тебя самой Богородицу можно писать. — Татьяна смущённо засмеялась. — Что ты такое говоришь, Серёжа? — А разве неправда? — Он протянул руку в темноту, как бы невидимо проникнутую её светом, но Татьяна ускользнула, — он только ощутил под пальцами движение воздуха. — Ты что, Таня? — Она не ответила, ткнулась лицом в подушку. Осенняя темнота стала просто темнотой. Сергей вздохнул, лёг на спину и уставился в потолок». Чистая, природно добрая Татьяна, довольствующаяся малым, противопоставляется Наталье. За расписной дверью её скромного дома скрывается намёк на настоящую жизнь.

Несмотря на очевидную образную удачу, порой Григорян уходит от трудностей распространения образа. Всякая неоднозначность не оговаривается подробно. Случайные приступы злобы, несвойственная этой паре, проходят фоном, резко диссонируя с уже устоявшимся представлением. Эпизод с крещением Комаровой: «Мать сама была из городских и крещение не признавала; по поводу Комаровой она даже пыталась с Татьяной поругаться, но та, обычно тихая, вдруг раскричалась, чуть не

силой отняла ребёнка и отнесла в церковь». Или — в церкви женщину обвинили в том, что она пришла в красной юбке: «Сергий тогда тоже впервые на памяти Татьяны рассердился: перестал читать, побежал в подсобное помещение, схватил там швабру, ткнул её в руки бабке и сказал громко, на всю церковь: «Вот тебе, дура старая, епитимья! Будешь до самого Покрова пол мести!» Просто сказать, что вспышка злости случилась в первый раз — недостаточно для завершения характера, тем более интересно, что агрессивны Татьяна и Сергей становятся именно в отношении веры.

Неоспоримое достоинство повести, её самобытная характеристика — это многочисленные народные поверья, которые Григорян трансформирует в метафоры, которые «работают» на уточнение характеров героев: «...и Комаровой вспомнилось, что покойная бабка Марья говорила, будто бы все ведьмы умеют шить, и если баба хорошо шьёт, держись от неё подальше, потому что такая и память может зашить, и счастье, и что если видишь, как ведьма шьёт, то нужно крепко закусить язык, и тогда она ничего тебе не сделает. Сама бабка шить не умела, и мать смеялась над ней, говоря, что, когда бабка пришивает к халату пуговицу, она весь халат вокруг этой пуговицы собирает

в сборку, а если дать ей пришивать пуговицу к пальто — она и пальто всё к одной пуговице стянет».

Повесть Анаит Григорян написана о детях, но не совсем для детей, галерея образов и набор тем не концентрируется только лишь вокруг детского миропонимания. Повесть же Серафимы Орловой «Голова-жестянка», напротив, явно апеллирует к подростковой аудитории, показывая девушку Женю в период её непосредственного развития и становления после серьёзной физической, а вследствие этого и психологической травмы.

Женя и её лучший друг Иван Приходько однажды изучали заброшенный санаторий (снова локационно общее место, вспомним заброшенную Ховринскую больницу), убегая от преследователей, Женя вспорола себе ногу арматурой, а Ваня, не сориентировавшись быстро, «очень долго за помощью ходил, или он вообще не хотел ходить, ему там плохо стало тоже». Родители Жени хотели подать на мальчика в суд, остановила их от этого действия только дочь. Теперь Женя вынуждена ходить с тростью, а все попытки наладить отношения с когда-то лучшим другом заканчиваются либо оскорблениями с его стороны, либо вообще — избиениями.

Безусловно, огромным плюсом повести является сильный,

цельный и развивающийся герой. Женя не винит во всём мироздание, она борется за своё право быть полноценным членом общества, находится в поиске занятия, которое могло бы удержать её на плаву. Девушка порой иронична, порой действительно жестока к себе: «На что он надеется? Сначала шоколадка, потом цветы, потом предложит встретиться? Мы рядом смешно выглядим. Пара инвалидов. Люди, чего доброго, закидают нас камнями, чтобы не размножились случайно». Но эта беспощадность не переходит в стагнацию, Женя действует не по инерции, она двигается вперёд сообразно с запасом внутренней силы. Именно для удовлетворения своей внутренней потребности Женя начинает ходить на кружок робототехники.

Там она встречается с проводником-наставником, учителем по фамилии Карин, «человеком с шестерёнками в голове», образ которого иногда навещает Женю. Ухватившись за соломинку, героиня вытаскивает себя из болота, а потому в конце повести мы видим её работающей на фестивале робототехники в окружении новых друзей. И даже болезненная любовная линия с Ваней Приходько оканчивается возобновлением знакомства. После всех обидных слов, после избиения, Женя находит в себе силы сказать такое трудное «привет».

Орлова умело передаёт отношения между ломкими и неустойчивыми подростками, но значительным перегибом кажется мне жестокое избиение Жени только лишь из-за того, что она попыталась забрать у мальчика стакан с кофе: «Приходько быстрым шагом подходит ко мне и бьёт прямо в нос. Теперь точно сломал. Кровь течёт мне в рот. Я размахиваюсь и тростью шибая Приходьке по ногам. Пытаюсь варежкой остановить кровь, задираю голову, теряю равновесие и падаю на низкий забор палисадника. Остроконечные доски впиваются мне в рёбра». Да и дальнейшее бездействие любящих родителей Жени и даже обратные угрозы родителей Вани из-за сообщений в интернете выглядят не слишком убедительно.

Вообще если говорить о мастерстве исполнения, то Орлова не демонстрирует особенного владения писательским мастерством. Повествование от первого лица оправдывает скудный язык повести, щедро приправленный интернет-сленгом: «Слава котикам, она за мной не идёт, да и куда её идти в некупленных кедах. Улыбается. Отдохнёт без меня морально хоть пять минут. А я прямо предвкушаю, мне кажется, меня ждёт что-то особенное, открытие века». И хотя это объяснимо возрастом главной героини, от лица которой ведётся рассказ, но всё же

является стилистической несостоятельностью и отказом от литературного языка.

Автор старательно игнорирует опасный, но очевидный момент. В отношении Жени к учителю Карину есть доля юношеской влюблённости, девочка враждебно настроена к жене учителя, Оле. Вот Женя без всякого стеснения обозначает свои чувства: «Классно. Вообще тут классно. Там, где ты есть, так уютно, — отмечаю я. — Это Оля делает уютно. — Нет, в сквоте тоже уютно, а Оля же там ничего не делала». Да и начинается повесть с того, как Женя бежит обнимать Карина. Разрешения ситуации не происходит, что даёт основание предположить: более сложные, противоречивые отношения развить в рамках подростковой повести сложнее, потому автор и оставил их в статичном виде, хотя все остальные линии были поступательно развиты.

Есть попытка прочертить образ среднестатистического подростка и его новую болезнь торговыми центрами, мегамолами, перемещение досуга в светящиеся белые стены. Но когда эта мысль звучит напрямую, она размывается общением до человечества, и мы понимаем, что нет в ней полной осознанности: «Мне кажется, он хочет, чтобы я что-то ему доказала. Может, мой шанс — сделать так, чтобы он не был разочарован в человечестве,

лучшая часть которого проводит дни кверху пятками в мегамолле на кожаных диванах».

«Голова-жестянка» произведение художественными достоинствами небогатое, тут скорее наблюдается минимализм. Однако на фоне стремительного распада остальных текстов импонирует уверенное движение сюжета вверх и удовлетворительное его психологическое обоснование.

Врезался в память риторический вопрос председателя жюри премии «Лицей», Льва Данилкина: «Правда ли, что наше общество одержимо историей, апокалиптическими предчувствиями, сексом и политикой», — да, что ни говори, достойный был обозначен размах, важная миссия ложилась на плечи новых лауреатов «Лицея». И показательно, что первое и второе места из какого-никакого, а разнообразия текстов молодых авторов были выбраны в точном соответствии с одержимостью «апокалиптическими предчувствиями, сексом и политикой». Константин Куприянов и Игорь Савельев удивительным образом сконцентрировали это в своих текстах. «Желание исчезнуть» и «Ложь Гамлета» — это самые актуальные, самые современные (в каком-то даже телевизионном, жёлтом понимании этого слова) тексты. Стоило только выбрать острую тему, события на Донбассе у Куприянова и

дело Серебренникова у Савельева, чтобы победить в самой финансово крупной на данный момент молодёжной премии. И неважно, каким образом раскрываются темы, насколько тексты художественно убедительны. Главное, что от них за версту несёт тиражом, кровью и другими физиологическими жидкостями.

С распределением мест в контексте «Лицея» всё вполне понятно. Прошлогодняя схема «большая тема-эксперимент с реальностью-психологическое исследование» была в точности реализована и в этом году. Неизменным осталось величие повода — СПИД в случае Кристины Гептинг и Донбасс в случае Константина Куприянова, оно неизменно возглавляет список призов. Конечно, роман «Желание исчезнуть» является ещё и политическим заявлением, что тоже сыграло свою роль. К пристальному психологическому исследованию Андрея Грачёва, который в прошлый раз был на третьем месте, Савельев добавил острой злободневности и занял вторую строчку хит-парада. Если сравнивать двух этих авторов, то динамика наблюдается скорее отрицательная. Герои Грачёва хотя бы пытались быть сложными, герой Савельева не пытается даже просто быть. Ну а синонимичный произведению Евгении Некрасовой роман «Дистимия» Булата Ханова

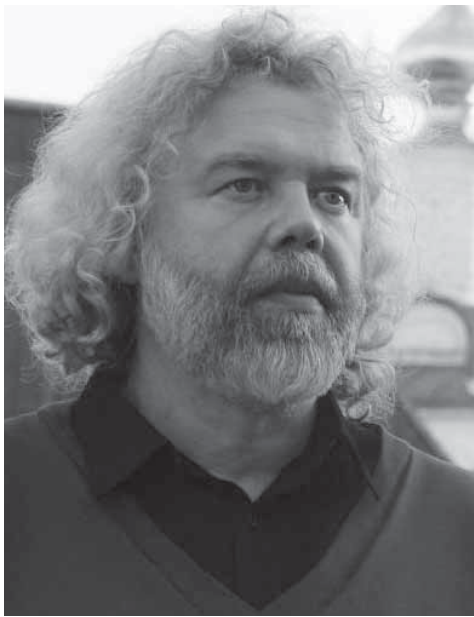
взял третье место, обеспечивая премии жанровый диапазон. Уже Некрасова в своём цикле о Москве упоминала, что жизнь в России двадцать первого века существует только в кольцах МКАДа, а главные страхи современного человека — это мутация, неконтролируемое совокупление, тотальная англоязычность всего мира, из чего следует потеря своей культуры и т. д. Ханов работает примерно в том же направлении. Выделяет новые определяющие общество явления, гиперболизирует их до диагнозов и уверенно принимает эстафету третьего места.

Очевидна тенденция к деструкции как основы/повода/финала. И это, пожалуй, волнует более всего. Деструкция самым прямым образом ведёт к исчезновению, вымиранию литературы как метода. Простая констатация безвыходного положения делает невозможным всяческое развитие: слишком

долго нужно ждать, когда на выжженной земле что-нибудь вырастет снова. Воздействовать на эмоциональное, живое в человеке проще всего с помощью страха, демонстрации крайностей. Ещё лучше, если эти крайности и страхи будут не просто архетипическими, но свежими, не потерявшими своего информационного влияния на общество. Тогда деструкция актуализируется событием и превращается в соцзаказ.

В этом году безраздельно победил социальный заказ, но никогда не нужно забывать о том, что социальные заказы меняются, а настоящая литература остаётся. Синяки зацветают, и когда гематома бледнеет, становится видно тело прозы — клинически здоровое или обезображенное смертельной болезнью.

Все тексты взяты с официального сайта премии и доступны по ссылке: <http://pushkinprize.ru/proza/>



Игорь ТЮЛЕНЕВ

ТАК ГОВОРИЛ ПОЛИКАРПЫЧ...

Игорь Николаевич Тюленев родился в пос. Новоильинском Пермской области в 1953 году. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького (творческий семинар Ю. Кузнецова). Автор более 20 книг стихов, публикаций в литературных журналах и альманахах. Лауреат премий «Имперская культура», «Традиция», дважды лауреат журнала «Наши современники», Международной премии им. С. Михалкова, Всероссийской литературной премии им. Н. Лескова «Очарованный странник», академик «Академии поэзии». Секретарь Союза писателей России. Живёт в Перми.

*Прощаясь, он всегда говорил мне:
— Жду хороших стихов!*

Вот и настал мой черед говорить вслед упорхнувшей душе.

Разве я думал, что так скоро понадобятся мне записанные разговоры с поэтом, а точнее сказать — беседы с Юрием Поликарповичем, накарябанные мной на еженедельнике, подаренном когда-то Департаментом образования и науки Пермского края. Любую мысль, летящую в сторону моего лба (о нужности этой записи), я ломал, как стрелу на излёте. Этого не должно было случиться так быстро! У поэта была мощная родословная и крепкая русская кость. Старшая сестра Юрия Поликарповича Валентина, ныне живущая в Новороссийске, при встрече

— а видел я её у младшего брата несколько раз — светилась упругой жизненной силой. Отец поэта, скорее всего, прожил бы долго, если бы не погиб на войне. А мать умерла не так давно:

*Мы все бессмертны до поры,
Но вот звонок: пора настала.
И я по голосу сестры
Узнал, что матери не стало.*

Да и в кругу домочадцев поэт не раз повторял, что род кузнецовский крепкий. И не безосновательно. Сам он почти никогда не болел. Правда, на Кубе, где во время Карибского кризиса он выполнял интернациональный долг, — вдруг ни с того, ни с сего стал худеть. Потом как-то всё прошло.

*Я помню ночь с
континентальными ракетами,
Когда событием души был
каждый шаг,
Когда мы спали по приказу
нераздетыми
И ужас космоса гремел в
ушах у нас.*

Это из кубинских стихов Кузнецова. Или:

*В ночь росы прогибаются
ветви.
Мои губы и память как лёд.
А погибну на самом рассвете,
Пальма Кубы меня отпоёт.*

*Командиры придут
попрощаться,*

*Вытрет Кастро горошины с
глаз.
Как мальчишка, заплачу от
счастья,
Что погиб за народную
власть.*

Поэтическое слово материализуется. Как сказал, так и сделал. Погиб не за Фиделя, а за нас с вами... Сын офицера, погибшего во Вторую мировую, Юрий Кузнецов стоял на пороге атомной войны и оставил нам гениальную «Атомную сказку»...

От чужих и чуждых людей, от чуженинов Юрий Кузнецов заdraивал все люки своей души и погружался, как на подводной лодке, в океан русского космоса, где он чувствовал себя как рыба в воде. Погружаясь в свой мир, тут же навсегда забывал имена тех, имя кому легион. Он мог любому литначальнику или обормозившему графоману просто сказать: «Пошёл вон, дурак!» И со стороны это не выглядело по-солдафонски грубо или пошло. Раз «Пошёл!» — значит, так и надо.

Авторитет поэта даже среди врагов был непререкаем. Хотя не только враги, но и целые народы порой обижались на поэта. Как-то в Варшаве поэта спросили, что он может сказать о польской литературе в контексте великой мировой литературы. На что поэт ответил, что великую литературу может создать только великий народ,

чем смертельно обидел «братьев»-славян. Но и здесь поэт, как всегда, был прав. А поляки зря на него обиделись. Ну нет у них великой литературы. Как нет в горах бескрайних степей, а в степях нет гор...

Когда 17 ноября 2003 года раздался звонок из Москвы и друзья сообщили мне о смерти Юрия Кузнецова... просто-напросто я отшвырнул от себя, как летящий в меня камень, эту страшную весть. Я не поверил в неё! Я не мог поверить в ЭТО! Поликарпыч был золотым стержнем русской поэзии, её Александрийским маяком, который выдержал все землетрясения дикой перестройки. Нечеловеческую пустоту ощутило моё сердце, а душа — беспросветное одиночество. И всё это стало расходиться, как волны, огромными кругами, обнажая на пути безжизненные (в тот момент для меня) грады и веси...

Прошёл уже год со дня его смерти. А легче не становится. И не потому, что до сих пор продолжается вокруг имени великого поэта заговор невежества и эфирного молчания.

О знакомстве

Познакомил меня с Кузнецовым кто-то из московских поэтов: то ли Олег Кочетков, то ли Коля Дмитриев. Конечно же, и до этого я знаком был с его нашумевшими на все «великие штаты СССР» стихами.

Да ещё так нашумевшими, что вечно кающийся Евтушенко, обласканный со всех сторон критикой, правительствами и читающей публикой, — выговаривал завистливо, что Юрию Кузнецову досталось столько критических статей, сколько не выпало всей поэтической плеяде шестидесятников (Б. Ахмадулиной, А. Вознесенскому, Р. Рождественскому и, естественно, самому Е. Евтушенко). Мне кажется, что «целесообразный», конечно же, преувеличивал внимание общественности к творчеству Кузнецова. Но... сейчас даже мне, свидетелю тех литературных баталий, трудно поверить, что сто-о-о-лько добрых и недобрых слов и статей в короткий промежуток исторического времени было сказано и написано о Мастере!

— Игорь, а хочешь сегодня вечером сходить в гости к Поликарпычу? (в русской поэтической среде так по-родному звали поэта). Ну, пойдешь? — И это мне, сидящему, как на вулкане, за цэдээловским столом над горой дымящихся окурков, в хрустальную горловину уже пустых стаканов говорил мой товарищ, наверное, все же Олег. Не показывая волнения, я молча кивнул кудлатой башкой. И мы отправились к гению, правда, о том, что Кузнецов гений, — мало кто ещё знал в России, но мы хотя бы догадывались.

*На базаре сороки-воровки
Не болтают про те времена,
Как я жил на Большой
Серпуховке
На кошмарах и ступе вина.*

*Что за думы на крюк
попадались!
Что за сети ловили мой дух!
Что за твари на шею
кидались!
Что за бури тягчили мой слух!*

*За стеною кричала старуха,
И таился у самых дверей,
Напрягая отвислое ухо,
Человек непонятных кровей...*

Да, это была уже не коммуналка на Большой Серпуховке!

Это был уже широкий Олимпийский проспект. Трёхкомнатная квартира на высоком этаже. С кабинетом, в котором стояло старинное пианино с серебряными струнами, а на нём — портрет погибшего в Крыму отца поэта.

На этом пианино в один из наших походов к поэту будет играть Людвиг ван Бетховена «К Элизе» младшая дочурка поэта, Катя, «отрада души», как тогда её называл любящий отец. Кому отец родной, а кому страх Божий!

«В нижнем буфете (ЦДЛ) меня окликнул мрачный поэт Юрий Кузнецов. Поэты его побаивались», — так написал в своём рассказе «Новорусская премия» мой земляк по соседней губернии Володя Крупин. И он прав, но не во всём. Ровесники

боялись поэта, а молодые благоговели перед ним. Жаль, что не всегда соблюдали благоговейную тишину, как было написано на табличке в одном московском храме у станции метро «Сокол».

Да и мы с немногими друзьями, верными его оруженосцами, приходили к нему не для того, чтобы напиться с гением, а чтобы посидеть поблизости от громовержца российской словесности. Посмотреть туда, куда направлял он свой могучий взор... Вот и Владимир Личутин (которого поэт называл «мужичок с ноготок») вспоминал недавно, когда мы собрались за рюмкой после заседания комиссии по творческому наследию Ю. Кузнецова, что ему достаточно было с Поликарпычем посидеть рядом и помолчать. Потому что не знал прекрасный русский прозаик, о чём говорить с великим русским поэтом...

Да это и ненужно было, как если б ты сидел рядом с уральским утёсом или столетним кедром.

Встретил нас с Олегом Кузнецов радушно, перед этим мы ему позвонили, что придём в гости. Пригласив нас на кухню, стал доставать из холодильника всевозможную снедь. Был он хлебосольным хозяином. Мы с товарищем сидели, как воробьи, случайно залетевшие в гнездо Орла Поликарпыча...

Может быть, чаще других я

встречался с Юрием Кузнецовым, учился у него на ВЛК и был старостой семинара, бывал с семьёй у него в гостях, оставался с ночёвкой, и он бывал у меня в гостях на Урале. Бывало, что ночи напролёт беседовал с ним, вернее, слушал его монологи, и всё равно он оставался для меня и утёсом, и кедром, и отцом, и старшим братом. И, как Личутин, я бы мог сидеть рядом с ним и молчать часами, да только мой темперамент не позволял мне быть терпеливым.

А о брате я вспомнил потому, что однажды Юрий Кузнецов в минуты откровения сказал мне: «Жаль, что ты не мой младший брат...»

В 2001 году в Перми готовился четырехдневный форум пермской книги. В нашем городе собирались литераторы, издатели, библиотекари со всего Приволжского округа. И я, конечно же, пригласил на форум своих друзей, и в первую очередь Юрия Кузнецова. Вот как писала об этих событиях пермская пресса: «В приподнятом настроении находится поэт Игорь Тюленев: едут его идейные собраты — стихотворец Юрий Кузнецов и литературовед Станислав Куняев (почему не поэт? — **И. Т.**), а также директор издательства «Голос», прозаик Пётр Алешкин».

И вот Юрий Поликарпович вступил на платформу железнодорожной станции Пермь-II, которую когда-то освобождал

адмирал Колчак. Так поэт первый раз попал на Урал. Разместили мы его в шикарной для Перми гостинице, где жила известная баскетбольная команда «Урал-Грейт». Номер был с джакузи и белым махровым халатом. На мои восторги по поводу джакузи Юрий Поликарпович сказал: «Можешь, Игорь, приходить утром и отмокать в ней с похмелья».

Свозил я поэта в Хохловку, этнографический музей под открытым небом, где собраны были уральские солеварни, амбары, мельницы, сторожевые башни, пожарные колокольни и дома коми-пермяков. Стояла золотая, не последняя осень поэта. Холм, на который взбежала Хохловка, взлетал над Камой, как девятый вал, а когда Юрий Кузнецов встал на вершину, то холм и вал тут же превратились в поэтический Олимп.

Потом неожиданно вдруг закапал дождик, и мы с Поликарпычем напрямки стали пробираться мимо лабазов и охотничьих домиков к моей машине, чтоб укрыться в ней от будущего ливня. От ливня-то мы спрятались, а вот от пермских недоумков спрятаться не удалось. Обиженные местные «литераторы», которых не пригласили участвовать в форуме книги (на всех графоманов просто мест не наберешься), разразились статьей «Для провинции сойдет...» в пермском приложении «Аргументов и

фактов», где досталось и мне, что понятно, и организаторам, и Кузнецову, что не понятно. Но о провинциальной спеси Юрий Поликарпович сказал уже в первый день приезда. Поэтому оставим грязную статейку на совести обиженных, ведь на них в аду будут ещё воду возить. Зато в «Литературной газете» вышла большая статья «Заметки с Пермского форума книги», да ещё и с фотографией поэтов с Юрием Кузнецовым в центре.

Не случайно появилась статья в «ЛГ», незадолго до этого главным редактором которой стал известный прозаик Юрий Поляков, и он успел вернуть к жизни детище Александра Пушкина и барона Дельвига «Литературную газету», при демократах вымирающую как вид. В этой же газете немного погодя была напечатана великолепная подборка стихов Юрия Кузнецова. Первая за 16 лет, как мне сказал он сам.

Идея вернуть русскую поэзию на страницы «Литературки» исходила от главного редактора. И возвращать её начали с Юрия Кузнецова. Поляков попросил меня принести новые стихи Кузнецова. В этот же день я встретился с Юрием Поликарповичем в редакции журнала «Наш современник», где он работал заведующим отдела поэзии, и передал ему просьбу Полякова. «Да не напечатают они ничего, столько лет не печатали», — сказал мне в ответ

Поликарпыч. Он согласился не сразу. Но в итоге 17 октября 2001 года в «Литературной газете» вышла огромная подборка стихов Кузнецова «Матерь Божья над Русью витает...». Я рад, что всё-таки поэт увидел свои стихи напечатанными в «Литературной газете».

Через год в Перми на базе издательства «Реал» инициативная группа попыталась возродить славную пермскую миниатюру, а меня пригласили быть составителем сборников поэзии.

Здесь стоит вспомнить, что самой первой мини-книжкой, изданной в Перми, была книга стихотворений Василия Каменского размером со спичечный коробок. А один из сувенирных томиков «Пермской ленинианы» космонавты Ю. Романенко и Г. Гречко брали с собой в космос. Так как пермская миниатюра была связана с поэзией и космосом, то я предложил издавать поэтическую серию «Поэты России — XXI век», в которой впоследствии вышло семь сборников, и начать эту серию со стихов Юрия Кузнецова.

Кто более из современных поэтов космичен? С Поликарпычем мы решили издать в этой серии только его стихи о любви. Как он мне сказал, убеждая, что ни у Пушкина, ни у Лермонтова нет столько стихов о любви, что это впервые в русской поэзии. Я, не мудрствуя лукаво, так и написал в

предисловии к сборнику «Любовной лирики» Ю. Кузнецова, в которую вошло более ста стихотворений.

Книга Юрию Поликарповичу понравилась, а я заслужил теплый автограф. «Игорю Тюленеву, приложившему руку к изданию сей книги. Благодарный Юрий Кузнецов. 2 декабря 2002 года». Так поэт ещё раз побывал в нашем городе не личным присутствием, но стихами.

Мария Аввакумова говорила мне на Троекуровском кладбище, где мы похоронили великого поэта, как нравился Кузнецову этот миниатюрный сборник. Когда она робко выразила желание издать такой же, то Кузнецов ревностно спросил её: «А у тебя есть столько стихов о любви?» То ли в шутку, то ли всерьёз... На чём и была поставлена точка. Но сборник свой он Марии подписал.

Последний раз Кузнецов приезжал в Пермь на мой, как говорят в народе, золотой юбилей. 31 мая 2003 года. Много в юбилейной афише светились известных московских имен, а приехал только он один. Как писал когда-то поэт в своей шуточной эпиграмме: «Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные обман и подделка».

Ну, не смогли друзья приехать по тем или иным причинам, хотя и прислали телеграммы взамен себя и видеопоздравления. Да и Бог им судья.

На моём юбилее Юрий Кузнецов не пил, потому что воздерживался от спиртного уже несколько лет, но в его гостиничном номере, где за дружеской беседой незаметно наступило утро, пригубив из рюмки коньяку, вдруг сказал мне или моему поколению: «А битву мы уже проиграли бесповоротно!...»

«Нет!» — вякнул было я...

«Молчи, ты ничего не знаешь. Прои-и-грали», — выдохнул он горько и замолчал надолго. Потому что он видел то, что увидят, быть может, только наши дети. Не зря же он говорил постоянно, что стихи его поймут лет через пятьдесят...

Забыл, ещё он сказал, что сюда уже никогда больше не приедет.

И если бы (как думал Кузнецов) мы проиграли битву, Вседержитель отвернулся бы от нас. Ведь поэзия — это как ступень сверхракеты, которая выносит её на орбиту Духа! Без поэзии нет народа. И поэты, тем более великие, не имеют права проигрывать битву за русские души! Мы не имеем права потакать нашим врагам, пишущим о нашем престольном граде: «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик» (И. Бродский).

Кричу уже в спину ушедшего Поликарпыча: «Ведь ты сам писал: «Друзей любил для их души, врагов для Бога ненави-дел»? Но нет ответа...

Последний раз я встречался с Кузнецовым в Москве в «Нашем современнике».

Поговорили недолго, обнялись и расстались, как оказалось, уже навсегда.

Из бесед с поэтом

Бесед было много, а записей, к сожалению, очень мало.

26—30 марта 2001 года. Дагестан (Махачкала, Дербент, Гуниб), где во время наших общих поездок и ночных бдений в номере республиканского курортного комплекса «Дагестан» я записал эти разговоры с классиком.

— Игорь, у меня много остаётся неоконченных стихов и строчек. Хотел всё выбросить, самому уже некогда, и время ушло... А потом решил оставить тем, кто придёт после. Пусть развивают, пишут дальше. Как у меня, не получится, но что-то, может быть, и выйдет?

Меня эти слова удивили.

— Кто кроме тебя допишет твои черновики?

— Не знаю пока... — как всегда туманно, ответил он мне.

И вот читаю в газете «Завтра» врезку Владимира Бондаренко к последним стихам Юрия Кузнецова «Поэт и монах»: «Ещё совсем недавно он неторопливо жёг, как ненужные, черновики своих стихов

на пустыре возле дачи во Внукове...», а значит, пророчески-ми оказались стихи поэта:

*Жизнь улеглась... Чего мне
ждать:*

*Конца надежде или миру?
В другие руки передать
Пора классическую лиру.*

*Увы! Куда ни погляжу —
Очарованье и тревога.
Я никого не нахожу:
Таланты есть, но не от Бога.*

Видимо, никого не нашёл или разочаровался во всём. Поэт всегда прав, даже ошибаясь.

Там же, на Кавказе, я его спросил, почему в поэме «Путь Христа» Магдалина ударила Христа по щеке.

— Здесь у меня образ Магдалины — Марии из Магдалы, собирательный. В этом образе я собрал и показал всю женскую суть. Суть земной женщины, которая ударила в Христе земного человека, чтоб потом пойти за ним, как за Богом, любив, как Бога! А в этом случае обиды всех земных женщин подняли руку на Иисуса — не Христа, на земного человека.

Тогда же Кузнецов сказал мне, что пишет новую поэму о происхождении Мирового Зла.

— Данте сколько писал свою «Божественную комедию», лет 8—10? А ты хочешь, чтоб я уже всё закончил... Чувствую, что грамоты не хватает (и это говорит мне один из образованных

современных писателей), катастрофически не хватает образования. Сейчас восполняю... Читаю Блаженного Августина, других европейских мыслителей, а тебе надо читать лучше русских философов.

Их-то я читал, может быть, не очень внимательно. А Блаженного Августина всё-таки прочёл тоже.

Чтение новой поэмы

В Большом Союзе на Комсомольском проспекте был юбилей Станислава Куняева (70 лет), куда был приглашён и ваш покорный слуга. Вокруг все достойные люди: Личутин, Зюганов, Распутин, Бондаренко, Бурляев. Не хватало только Поликарпыча. Он на юбилей не пошёл, сказав мне, что все будут пить водку, а ему опять только минеральную воду (на это время в который раз уж он боролся с зелёным змием, как Лаокоон).

После юбилея Юрий Поликарпович попросил меня приехать к нему домой и сильно не напиваться у Стаса. Больше ничего не сказал. Да я и сам не лыком шит — догадался. Кузнецов закончил недавно свою самую серьёзную поэму «Сошествие в ад», и она должна была вот-вот выйти в двенадцатом номере «Нашего современника». Так свежо ещё было впечатление от работы, что хотелось поделиться этим ещё с кем-то, выбор пал на меня...

Юбилей Куняева шёл своим русским ходом. Мне дали слово, и я прочёл стихи, посвященные могучему юбиляру. Потом, накушавшись водки, мы с Владимиром Личутиным этажом ниже пили зелёный чай у Владимира Бондаренко.

Когда я приехал к Учителю, он сказал, как всегда, с очень серьёзным видом:

— Удивительно, Игорь, что ты ещё тверёз!

— Ну я же тебе обещал, Юрий Поликарпович, — заметил я в ответ.

— Ну мало ли что вы обещаете...

Поэму он читал часа три-четыре с комментариями и обсуждением её «забойных мест», которых в поэме немало. Вернее, Кузнецов читал и говорил о системе образов, возводящих поэму, а я слушал почти безмолвно, как манекен. Правда, иногда подвскикивал.

— Запоминай, что говорю, а то ведь опять всё извратите, — вздыхал мэтр.

Кто-то из московских поэтов сказал мне, что нужно было взять диктофон, чтоб не пропустить бесценных реплик и замечаний Кузнецова. Но вряд ли Поликарпыч был бы так откровенен тогда со мной...

Когда я позднее рассказывал москвичам патриотической ориентации, что Юрий Кузнецов сам читал мне всю ночь еще не опубликованную поэму — зависть была неимоверная.

Он же, как гениальный поэт, предполагая эти заморочки, сказал: «Ты, Игорь, говори, если спросят, так: что просто оказался в нужное время в нужном месте. Скажи им, что в этом ты не видишь своих больших заслуг. Просто так вышло. И это правда».

Данте писал свою поэму 8—10 лет, а Кузнецов закончил её за полгода!

Как говорил Юрий Поликарпович: «Когда работа над поэмой была в самом разгаре, я стал бояться выходить на улицу, чтоб, не дай Бог, что-нибудь не случилось. Так хотелось дописать её до конца. Ведь если я не закончу поэму — её никто уже не закончит. В поэме мощный образный строй. Глыбы-образы. Например, Иаков и Исав, они были близнецами, но Исав родился раньше, чем Иаков, и поэтому считался первенцем. Помнишь, когда мать Исава Ревекка, любившая Иакова больше, чем брата, вместе с Иаковым обманывают Исаака?»

В итоге подлога первородство перешло от Исава к Иакову. Что из этого выходит? Да то, что 12 колен Израилевых стоят на подлоге и многие оказались в аду».

И всё же, как считал поэт, что если человек долго испытывал муки за свои грехи, то Господь делает ему послабление — кто-то горит по пояс, кто-то по грудь.

Например, одни из героев

кузнецовской поэмы Сталин и Иван Грозный. А чего стоит обрывок карты неба, отпечатанный на ладони поэта, спустившегося в ад вместе с Христом.

— Я не пошёл по пути Данте, где Вергилий был экскурсоводом.

Под утро, по завершении читки поэмы, мы все-таки выпили полбутылки «Столичной» (в основном пил я) за два наших с ним миниатюрных сборника стихов, только что вышедших из печати. Про мою миниатюрку он сказал: «Вот эту книжку ты можешь дарить, не стыдно».

Ещё он говорил мне, что хочет когда-нибудь уйти из журнала, где он, генерал, работает на месте солдата. А сейчас уйти не может, потому что в ответе за многих поэтов, которых без него в журнале печатать не будут.

Вдруг он сказал:

— А теперь о тебе, брось политикой увлекаться! (В те времена я действительно баллотировался в Госдуму и состоял в политической партии «Духовное наследие» — будучи её региональным председателем. — И. Т.) Повышай КПД своих стихотворений. Перечитай Брянчанинова, Сергея Радонежского. Чтоб посмотреть под другим углом на те же самые вещи. Чтоб не буксовать на месте. Есть у тебя образы резкие, но поверхностные.

Замечания Кузнецова не

казались мне обидными, наоборот. Важно, что учителю не безразлично творчество бывшего ученика своего, а советы ему он готов давать и сейчас.

Я ему сказал о поэме, что это его лучшая вещь из того, что он уже написал. Кузнецов согласно кивнул и добавил, что всё предыдущее творчество лишь подготовило эту поэму.

Поздней, когда поэма была уже напечатана в журнале, Поликарпыч сетовал, что москвичи ни черта в ней не поняли или не доросли до неё, ему было обидно, что до сих пор не вышло ни одной серьёзной критической статьи о ней.

О быте

— Ты сам, Игорь, видишь, как у меня в быту, — заметил Поликарпыч после небольшого семейного скандала. — Меня ничего не держит на свете — ни семья, ни быт. Только поэзия! Деньги нужны, чтоб содержать их (кивнул он из кухни в сторону комнат, где находились две дочери и жена). И если не смогу больше писать — ничто меня в этой жизни не удержит. Я уже написал свою лучшую вещь «Сошествие в ад». Равную ей уже не напишу. О рае написать не смогу, потому что время в стране как раз для ада, а не для рая. — И на моё несогласие с ним: — Ну, это сейчас говорю, а там посмотрим...

Я думаю, что и рай Кузнецов бы осилил.

Поликарпыч при очередной встрече в «Нашем современнике», будучи в добром расположении, сказал мне:

— Станислав мало чьи стихи читает в своём журнале, но твои читает всегда, можешь этим гордиться.

Юрий Поликарпович при мне разговаривал с кем-то по телефону:

— Да что ты говоришь, кто такой? (Здесь можно поставить имя любого литчиновника.) Что это такое? Пустое место! У них один пишущий (в руководстве СП) — Сегень, да и тот без должности.

На «Путь Христа» я бросил все силы, а их у меня немало. Все стихи я писал вполсилы! А здесь бросил всё, что у меня было. Напрягся, жаль, что почти никто не заметил, какое эпическое произведение я написал... Александр Пушкин только к этому подступался в «Вещем Олеге». Пока я писал поэму, я был чист перед Богом, полтора года не пил. А ты хочешь читать поэму с похмелья, но это же Христос!

— Игорь, а ведь ты ещё не нашёл свою точку соприкосновения с Богом? — говорил он мне в те дни. И тут же советовал прочитать беседы с Серафимом Саровским, записанные Мотовиловым...



Валерий КУЗНЕЦОВ

ПРИНАДЛЕЖАЛ ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВУ

Валерий Николаевич Кузнецов родился в 1941 году в Оренбурге. Окончил Киевский топографический техникум, Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в полевых партиях, журналистом в областной газете «Южный Урал». Поэт, автор нескольких поэтических сборников, книги очерков литературного краеведения «Я посетил места...», редактор-составитель «Оренбург – «Всем азиатским странам и землям... ключ и врата». Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной пушкинской премии «Капитанская дочка» (2010), региональной литературной премии им. П. И. Рычкова (2014). Награждён серебряным крестом «За возрождение оренбургского казачества». Живёт в Оренбурге.

У книг, как и у людей, своя судьба. Эти четыре тяжёлые тома в твёрдых серых переплётах подарил мне светлым днём августа шестьдесят седьмого года друг-поэт. Накануне он приобрёл эти литературно-роскошные тома в Оренбургском букинистическом магазине почти по цене макулатуры — за пять рублей. «Толковый словарь живаго великорусского языка» Владимира Даля, воспроизведённый, как явствовало из аннотации, в 1935 году со второго издания 1880—1882 гг. фотомеханическим способом в типографии «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Перелистывая первый том, скользил я рассеянным взглядом молодого варвара по автографам прежнего владельца словаря. Первый — на титульном листе изящным летящим почерком фиолетовыми чернилами: П. Васильев, 1936 г., второй такой же — наверху следующей

страницы с началом вступительной статьи А. Сухотина, третий — крупно, энергично, с размахом красным карандашом: Павел Васильев.

Под портретом Даля в скобках подписаны чернилами же даты его жизни: 1801—1872. Имя это — Павел Васильев — никак не связывалось тогда с именем поэта — блистательного и трагического преемника есенинской славы и есенинского креста. В том же 1967 году поэт Ярослав Смеляков, прошедший «свои университеты» в лагере под Интой, написал «Трёх витязей»:

*Мы шли втроём с рогатиной
на слово
и вместе слезли с тройки
удалой —
три мальчика, три козыря
бубновых,
три витязя бильярда и пивной.
Был первый, точно беркут
на рассвете,
Летящий за трепещущей
лисой,
Второй был неожиданным,
а третий —
Угрюмый, бледнолицый и
худой.
А первым был поэт Васильев
Пашка,
златоволосый хищник
ножевой —
не маргариткой вышита
рубашка,
а крестиком — почти за
упокоем...*

Много воды утекло (из собственных стихов тоже — семинары в Литературном институте обязывали), прежде чем довелось узнать трагически оборванное творчество поэта, связать с ним автографы в моём Словаре. Честно говоря, сама идея такой связи показалась бы тогда фантастичной, да и полевые будни топографа с бесконечной переменой мест мало располагали к филологическим исследованиям. Лишь в 80-х годах, когда перешёл на газетно-литературную работу, смог вернуться к занимавшим меня автографам.

Судя по состоянию подаренных томов, владелец, подписавший словарь, пользовался им недолго. Скорее всего, это он оставил заложенные меж страниц древесные листья. Тому же, у кого потом многие годы находился словарь, по своему прямому назначению он был не нужен, хотя и освобождаться от него не торопились. Была известна его ценность?.. Можно было бы поразмышлять об участии в судьбе поэта этого второго хозяина Словаря, хранившего его 30 лет, но здесь началась бы шаткая почва домыслов...

Многочисленные подчёркивания красным и синим карандашами, выдающие глубоко творческий интерес работавшего со Словарём, заставили, наконец, увериться в их не случайности, сделать фотокопии с

автографов. Оставалось идентифицировать их с почерком поэта.

Так судьба свела меня с секретарём комиссии по литературному наследию Павла Васильева Светланой Ивановной Гронской. Её отец Иван Михайлович Гронский — в начале 30-х годов редактор газеты «Известия» и журнала «Новый мир» — и Павел Васильев были женаты на родных сёстрах.

Получив отправленные на её адрес факсимильные отпечатки, Светлана Ивановна показала их вдове поэта Елене Александровне Вяловой — Васильевой. Самое поразительное, что она успела это сделать.

Всю жизнь меня преследуют почти мистические связи. Надо же было собираться двадцать с лишним лет, чтобы в последний момент всё-таки успеть

передать последний привет от души к душе! К тому времени Елена Александровна была тяжело больна, и вскоре после их свидания с Гронской 3 февраля 1990 года умерла. В Оренбурге же пришла телеграмма из Москвы: «Сомнений нет — Васильев».

Итак, свершилось... Эти страницы с высоким чётким шрифтом листала рука, написавшая «Песню о гибели казачьего войска», «Соляной бунт», «Кулаки», дерзко-образную, неожиданную лирику... С «Воспоминаниями о Павле Васильеве», изданными в 1989 году в Алма-Ате, пытаюсь провести «собственное расследование».

В печать словарь сдан в середине ноября тридцать пятого, к поэту первый том мог попасть только в начале тридцать шестого, когда Васильев был выпущен из тюрьмы, куда попал впервые в результате политической травли. К слову, среди тех, кто навешивал на поэта не стареющий ярлык шовиниста, были, увы, известные поэты А. Прокофьев, Н. Асеев, В. Луговской, А. Сурков, В. Инбер, Б. Корнилов, С. Кирсанов, Н. Браун и другие. Но пример политических обвинений показал им всесильный в те годы А. М. Горький, опубликовавший в июне 1934 года статью «О литературных забавах». В ней, в частности, было такое: «Жалуются, что поэт Павел



Васильев Павел Николаевич

Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время как одни порицают хулигана, другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей» и т. д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать...»

Статья Горького, поддержанная «литературной общественностью», стала, по сути, руководством к действию НКВД. Арестовали поэта второй и последний раз в Москве 6 февраля 1937 года. Это значит, что Словарь мог находиться у него лишь около года, указанного на третьей странице — одного из творчески напряжённейших в его короткой 27-летней жизни. Его обвинили в подготовке теракта на И. В. Сталина. Приговор по таким обвинениям мог быть только один. Через четыре месяца 16 июля после садистских допросов Павла Васильева расстреляли...

Спустя 19 лет поэта посмертно реабилитировали и восстановили в Союзе писателей СССР...

Теперь эти уже ветшающие тома, дошедшие до нас сквозь мрак и кровь времени, говорят не только о подвиге Даля, отдавшего более полувека своему

уникальному труду; их страницы красноречиво свидетельствуют и о творческом подвиге Павла Васильева.

Вслушаемся в подчёркнутые поэтом строки далевского «напутствия» изданию, более чем наполовину собранному на языковых пространствах громадной Оренбургской губернии. Вот некоторые из них. Вслед за Далем и поэт замечает «несообразность письменного языка нашего с устной речью простого русского человека, не сбитого с толку грамотейством, а стало быть, и с самим духом русского языка». Составитель объясняет, а поэт соглашается, что умный, но простой, неучёный человек из народа, «не будучи в силах уклониться ни на волос от духа языка... поневоле выражается ясно, прямо, коротко и изящно»... Отсюда коренное отличие «Толкового словаря» от академического: «словари набирались из книг, а книги пишут, взбираясь на ходули и подмости». В живом же языке «русский берёт одно, главное понятие и из него выливает целиком слово, короткое и ясное».

В рассказе Даля о трудностях сбора и толкования 80 тысяч новых слов (всего их около 200 тысяч), из них 30 тысяч пословиц и поговорок, Васильев подчёркивает фразу, видимо, близкую ему цельностью и мужеством: «Что зависит от составителя, то, конечно, одна

только смерть или болезненное одряхление его могли бы остановить начатое». Поэты Николай Клюев, Сергей Есенин, Павел Васильев, Сергей Николаевич Марков, писатель Борис Шергин и немногие другие, отторгнутые послеоктябрьской «образованщиной», продолжили жизнь русского языкового космоса, уходящего ныне в «чёрные дыры» невежества и нравственного равнодушия.

Чёрный морок «перестройки» не миновал дела сохранения культурной памяти о поэте Павле Васильевне. 23 декабря 1994 года Светлана Гронская писала в «Литературной России»: «В январе 1990 года новая литературная комиссия провела своё первое заседание, на котором говорилось о необходимости назвать улицу в Москве в честь поэта, присвоить его имя одному из пароходов (ну, конечно, теплоходов. — В.К.) на Оби или Иртыше, издать полное собрание сочинений — и ещё о многом другом. Единственное, что было сделано, — вечер памяти поэта в феврале 1990 года». В середине провальных девяностых более этого сделать было невозможно.

Тогда же, в девяностые начались и невольно оборвались наши переговоры с Л. Г. Бунеевой — директором музея

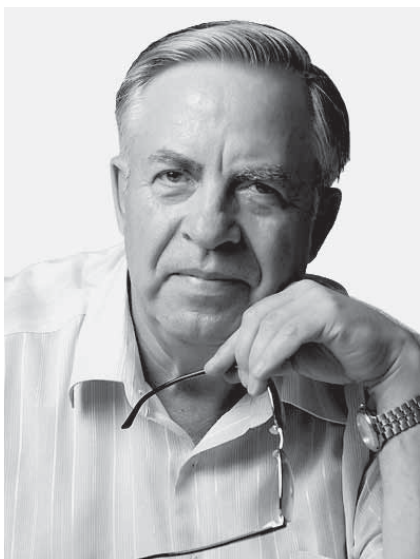
Павла Васильева в Павлодаре, где вырос поэт, о передаче в музей толкового словаря Даля. «Перестройка» породила вопросы, несовместимые с культурой и искусством.

И всё же, к 90-летию Павла Васильева в Омске установлена мемориальная доска на здании бывшей редакции газеты «Рабочий путь», учреждена литературная премия имени Павла Васильева, на Аллее литераторов поэту посвящён памятный камень.

Как говорит Википедия, в Павлодаре — «ястребином городе», по его метафоре, в 1994 году, к 85-летию поэта принял посетителей заново построенный на мемориальном месте дом-музей Павла Васильева, к столетию поэта в 2010 году здесь на постаменте из красного мрамора открыт бронзовый бюст.

А что Словарь? За полвека почти непрерывного пользования он обветшал и нуждается в специальной реставрации. Словарь, принадлежавший выдающемуся национальному поэту, должен принадлежать всем, кому дорого отечественное слово.

5 января 2020 года грядёт 110-й год со дня рождения Павла Васильева, пламенное творчество которого выпало на страшные годы российской истории. Что готовит нам уже близкий его юбилей?



Иван КОННОВ

«КОГДА ВЕСНА ПРИДЁТ, НЕ ЗНАЮ...»

Иван Глебович Коннов родился в 1945 году в селе Ивановка Асекеевского района. После службы в армии окончил Оренбургский педагогический институт. Преподавал русский язык и литературу в одной из бузулукских школ, работал в партийных органах, в областном киновидеообъединении и администрации области. Член Союза писателей России. Автор нескольких литературоведческих книг и многочисленных газетных и журнальных литературно-краеведческих очерков, лауреат областной Аксаковской премии, премии альманаха «Гостиный Двор» им. Валериана Правдухина. Живёт в Оренбурге.

В мои незабвенные, канувшие в небытие прошлого века школьные годы необычайно популярным было самодеятельное творчество учащихся. Мы пели в хоре, декламировали стихи, разыгрывали маленькие пьесы. К выпускному классу у нас прорезались голоса, и я помню, как мы с одноклассником Ваней Золотухиным на районном смотре художественной самодеятельности задорно исполнили популярную тогда песню «Дорога», слова которой я помню до сих пор:

*Оглянется каждый прохожий,
Увидев твой взгляд озорной.
Ты в ситцевом платье похожа
На яркий цветок полевой.
Дорога, дорога
Нас в дальние дали зовет.
Быть может, до счастья
осталось немного,
Быть может, один поворот.*

Всё в этой песне для нас было близким, своим, потому что мы, юные и влюблённые, стояли на пороге большой жизни и перед нами, как тогда говорили, «открывалось сто путей и сто дорог».

Много песен в те годы приходило с экрана. Всенародно любимыми стали мелодии из кинофильмов «Весна на Заречной улице», «Дом, в котором я живу», «Солдат Иван Бровкин», «Свадьба с приданым». Со временем я узнал, что у этих полюбившихся народом песен, как и у песни «Дорога», один автор — замечательный советский поэт Алексей Иванович Фатьянов.

Он родился 17 марта 1919 года в селе Малое Петрино Владимирской области. «Всё своё детство, — вспоминал позднее поэт, — я провёл среди богатейшей природы среднерусской



Дом в селе Малое Петрино, где родился и провёл детство Алексей Фатьянов. Ныне музей его имени



Алексей Фатьянов в годы войны

полосы, которую не променяю ни на какие коврижки Крыма и Кавказа. Сказки Андерсена, братьев Гримм и Афанасьева — вот мои верные спутники на просёлочной дороге от деревни Петрино до провинциального города Вязники, где я поступил в школу и, проучившись в ней три года, доставлен был в Москву завоёвывать мир. Мир я не завоевал, но грамоте научился настолько, что стал писать стихи под влиянием Блока и Есенина, которых люблю и по сей день безумно».

Русская природа, русский уклад жизни, русская речь и русские песни — вот что окружало поэта с самого детства. Алёша получил прекрасное воспитание, был обучен музыке и пению. Композиторы-соавторы потом удивлялись, что порой Фатьянов давал стихи для песни с канвой свежей мелодии. В 1936 году, участвуя в сельском драмкружке, будущий поэт проявил незаурядные способности,

об этой встрече композитор: «В опаленном войной 1942-м, в маленьком заштатном Чкалове, в скверике с громким названием «Тополя» я познакомился с молодым и красивым парнем-богатырём. Могучие плечи распирали застиранную и выгоревшую гимнастёрку третьего срока носки, кирзовые сапоги держались на честном слове, а щёгольская пилотка сидела на прекрасной, чуть выющейся шевелюре пшеничного цвета. На второй день он принёс мне стихи, которые меня сразу обворожили. Они были оригинальны, свежи, трогательны. Доверительная интонация, простой русский, разговорный, на редкость сочный язык делал их зримыми, ощутимыми, осязаемыми».

Познакомившись со стихами Фатьянова, Соловьёв-Седой сразу же выбрал стихотворение «Тальяночка». Потом появилась песня, которую композитор и

поэт представили на суд слушателей в окружном Доме офицеров. Вскоре песню запела вся страна. С лёгкой руки композитора её стали называть по первой строке стихотворения — «На солнечной поляночке».

В 1943 году командующий округом генерал М. Т. Попов сказал на военном совете: «Нет у нас хорошей строевой песни, нашей, Южно-Уральской». И Соловьёв-Седой с Фатьяновым получили боевое задание — написать песню. Она была создана в короткий срок, текст и музыку слушали на военном совете, но «принимали» песню не в кабинете и не в зрительном зале. Её «принимали» на берегу Урала! К оренбургскому циклу относятся такие песни Соловьёва-Седого и Фатьянова, как «Баллада о Матросове», «Гармоника», «Песня мести», «Выше голову», «Застольная», «Ехал казак воевать».

Фатьяновым и Соловьёвым-Седым создано более 80 песен. До сих пор любимы народом такие мелодии, как «Звёздочка», «Где ж ты, мой сад», «Ничего не говорила», «Давно мы дома не были», «Потому что мы пилоты», «Где же вы, друзья-однопольчане?». Но наибольшую славу принесла им легендарная песня «Соловьи», которая имела необычайный успех. Ей изумлялись и музыковеды, и литературные критики, она стала любимой песней маршала Жукова, который говорил, что в ней отразилась широкая русская душа.



Композитор В. П. Соловьёв-Седой и поэт А. И. Фатьянов. Их творческому дуэту принадлежит более 80 песен

Послевоенное творчество Алексея Фатьянова тесно связано с кинематографом. Песни на его стихи прозвучали в 18 советских фильмах. Лучшие киностудии страны приглашали его для создания песен, поскольку они, как правило, являлись не только украшением, но и образной сутью картины. Лучшие киностудии страны приглашали его для создания песен, поскольку они, как правило, являлись не только украшением, но и образной сутью картины. Всем известен трогательный и незамысловатый фильм «Свадьба с приданым». Он до сих пор почти ежегодно появляется на телеэкранах, наполняя сельские дома и городские квартиры непривычными для наших дней искромётным весельем, удалью и задором. Вышедший на экраны в 1953 году, он, скорее всего, канул



Народный артист РСФСР Виталий Доронин в роли Курочкина в кинофильме «Свадьба с приданым»



Классики советской песни В. П. Соловьёв-Седой (крайний слева), А. И. Фатьянов и Б. А. Мокроусов (крайние справа)

бы в Лету, как многие советские производственные фильмы. Но великолепная музыка Бориса Мокроусова, душевные, полные лиризма и юмора песни на стихи Алексея Фатьянова придали ему необыкновенное очарование. Особенно полюбили народом куплеты Курочкина, этого картинного деревенского балагура и щёголя.

*Хвастать, милая, не стану —
знаю сам, что говорю.
С неба звёздочку достану
и на память подарю.
Обо мне все люди скажут:
сердцем чист и не спесив...
Или я в масштабах ваших
недостаточно красив?*

Куплеты оказались точным попаданием в самую суть созданного актером В. Дорониным образа и вместе с песней «На крылечке твоём» определили ошеломляющий успех фильма. Поэтические крылья



Народный артист РСФСР Николай Рыбников, исполнивший песни на стихи А. Фатьянова в культовых фильмах «Весна на Заречной улице» и «Дом, в котором я живу»

дал Фатьянов своей песней одному из лучших советских фильмов — «Весна на Заречной улице». «Он сумел разглядеть самую душу будущего фильма, — подчёркивали постановщики картины Ф. Миронер и М. Хуциев — и выразил её скупыми строками:

*Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня».*

Песня сразу же стала общенародной. Сыграло роль и то, что улица Заречная была чуть ли не в каждом городе, райцентре или посёлке. И каждый, за редким исключением,

«выходил в люди» через заводскую проходную. Любимой песня остается и до сих пор. Её обязательно вспоминают почти в любом застолье, причём часто поют молодые люди. Именно этой песней вот уже тридцать лет подряд заканчивается Фатьяновский праздник поэзии в Вязниках на Владимирщине. Её поёт, поднимаясь со своих мест, многотысячный хор.

Думаю, у многих людей разных поколений что-то очень личное, очень важное в жизни связано с той или иной песней Фатьянова. Помню, как в маленьком сельском клубе, мальчишкой, я смотрел фильм «Дом, в котором я живу». Его герои, вчерашние десятиклассники, радостные и счастливые, идут по рассветной июньской Москве. Под мягкие гитарные



**«Мне сравнить тебя бы надо
с песней соловьиною...»
Муза поэта Галина Калашникова**



«Степи, степи оренбургские,
неоглядная сторона...»
Кадр из кинофильма «Иван Бровкин
на целине»

переливы звучит удивительно
нежная и сердечная песня о
любви:

*Тишина за Рогожской
заставою,
Спят деревья у сонной реки.
Лишь составы бегут за
составами
Да кого-то скликают гудки.
Почему я все ночи здесь
полностью
У твоих пропадаю дверей,
Ты сама догадайся по голосу
Семиструнной гитары моей.*

На всю жизнь запомни-
лось мне, как под последние
песенные звуки перед юными
героями на горизонте медлен-
но встают полыхающие огнём
страшные цифры «1941».

Последней работой Фатья-
нова в кино стали песни к

фильму «Иван Бровкин на це-
лине». Он снимался в совхозе
«Комсомольский» Адамовско-
го района. Благодаря яркому,
красочному рассказу о целин-
никах вся страна узнала об
Оренбуржье, которое тогда
гремело рекордными урожа-
ями. По радио, в концертах
звучала звонкая и задорная
песня А. Фатьянова и А. Ле-
пина:

*Не видал никто вовеки,
Чтоб в степи, где пыль одна,
Потекли повсюду реки,
Реки, полные зерна.
Стала близкой нам дальняя
русская
Неизведанная сторона.
Степи, степи оренбургские,
Неоглядная сторона.*

За эту песню А. Фатьянов
был удостоен медали «За ос-
воение целинных и залежных
земель», которой очень гор-
дился.

При всей популярности пе-
сен Фатьянова в народе лите-
ратурная судьба его склады-
валась очень непросто. Поэту
не раз пришлось пережить
чувство глубокой неудовлет-
ворённости, порой обиды.
Композиторы, писавшие песни
на его стихи (Соловьёв-Седой,
Блантер, Мокроусов и др.),
были удостоены государствен-
ных премий, почетных званий,

орденов. А ему при жизни удалось издать единственную книжечку стихов «Поёт гармонь», вышедшую в 1955 году во Владимире.

К. Ваншенкин вспоминал, как однажды Фатьянов принёс на заседание редколлегии «Дня поэзии» два своих новых стихотворения и просил напечатать: «Он очень волновался. Стихи прочли при нём и отвергли. Он не выдержал и заплакал. Он сидел большой, беспомощный, очень ранимый. Члены редколлегии не разглядели в его стихах будущих знаменитых песен, зазвучавших вскоре с экрана». Как участник Великой Отечественной войны Алексей Фатьянов был удостоен ордена Красной Звезды и медали «За отвагу». А вот за песенное творчество его по достоинству наградили лишь в 1995 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фатьянов был не только поэтом, но также и артистом, играл на аккордеоне и фортепиано, обладал певческим голосом. На творческих вечерах он, наряду с декламацией своих стихотворений, пел песни на свои собственные стихи, которые тогда были очень популярны. Поэт Михаил Луконин вспоминал: «Как мы пели «Соловьи, соловьи...»! А как замечательно пел он (Фатьянов) — помню слёзы на глазах

Твардовского». Кстати, Твардовский, друживший с Фатьяновым, однажды сказал ему: «Меня вряд ли кто будет читать после смерти, а вот тебя, Алёша, всегда будет петь наш народ».

Фатьянов мечтал написать поэму о молодости, о войне, о мире. Но его замыслам не суждено было сбыться. 13 ноября 1959 года он умер от разрыва сердца. Незадолго до этого, отмечая своё сорокалетие, он вдруг, среди здравниц и пожеланий, сказал невпопад: «Я умру сразу, в одночасье, где-нибудь под забором. И похороните меня рядом с Есениным».

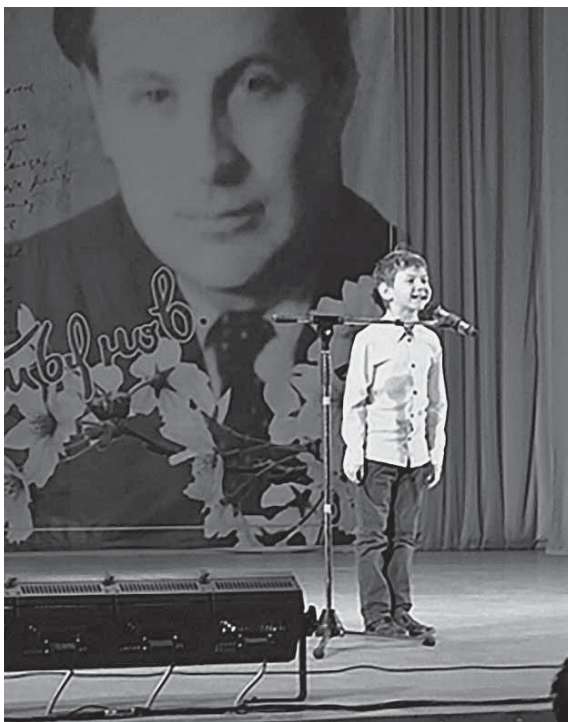
Завещание его выполнено лишь наполовину — он похоронен на Ваганьковском кладбище, но довольно далеко от могилы столь любимого им Есенина. На чёрном мраморе памятника чётко выделяется белый профиль поэта. Под ним тоже белым по чёрному берущие за сердце слова: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят». Эту поистине бессмертную песню над открытым гробом Фатьянова при прощании с ним исполнил Иван Семенович Козловский. Всякий раз, когда она звучит в святой для нас праздник — День Победы, нам вспоминается «русской песни запевала и её мастеровой» Алексей Иванович Фатьянов.



Алексей Фатьянов и его жена Галина (в центре) во время свадебного путешествия. 1946 год



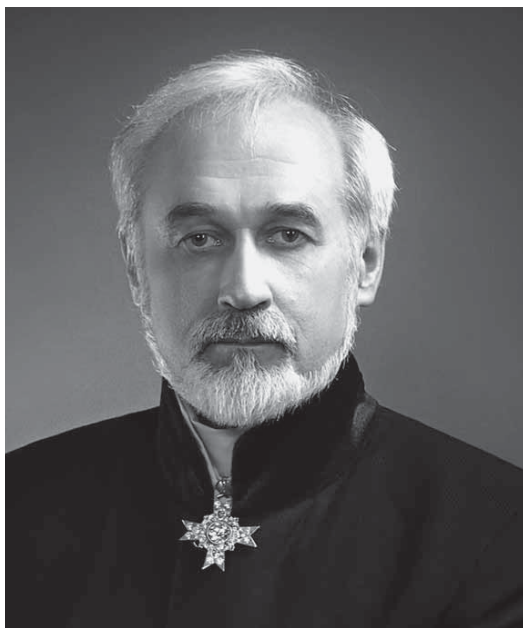
«Первым делом самолёты,
ну а девушки — потом...»
Николай Крючков, Василий Мерку-
рьев и Василий Нешипенко в фильме
«Небесный тихоход»



На Всероссийском празднике
поэзии «Фатьяновская весна»



Могила А. И. Фатьянова на Вагань-
ковском кладбище в Москве



Константин ФРОЛОВ

«МЫ – РУССКИЕ!»

Стихи

Константин Юрьевич Фролов родился в 1956 году в г. Урджаре, Семипалатинской области, (Казахстан). Окончил исторический факультет Воронежского государственного педагогического университета. Работал директором школы, после переезда в Крым в Крымской госфилармонии, Крымском академическом русском драматическом театре. В настоящее время художественный руководитель дуэтного театра «Улыбка Пьеро». Член Союза писателей России. Лауреат литературных премий им. Н. Гумилёва, им. А. Куприна, им. А. Фатьянова «Золотой соловей».

МЕДВЕДЬ

Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей
берлоге.

Не мешайте царствовать
и править,
Есть и пить, покуда сердце
бьётся.

Вы себе не можете представить,
Чем для вас всё это обернётся!

Вы уже не раз его пинали,
Унижали, посыпали пылью,
На Голгофе русской распинали,
Жгли огнём и в проруби топили.

И когда уверенность в победе
Доводила вас до сладкой дрожи,

Рык утробный русского медведя
Раздавался вдруг у вас
в прихожей.

Что ж вам, братцы, дома
не сидится?

Так и тянет, прилетев на запах,
Щедрую российскую землю
Взять и отобрать у косолапых!

Сколько лет мыслишкою
лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол, «какое мы имеем право
На одну шестую часть планеты!?»

Мы сюда пришли по Божьей
воле,
Честь свою ничем не замарали.
И не вам судить о нашей доле!
Мы своё богатство не украли.

Наши нерушимые основы —
Паруса да звонкие подковы —
Беринги, Хабаровы, Дежнёвы,
Ермаки, Поярковы, Зайковы.

Дамы, господа, синьоры, леди,
За черту ступая ненароком,
Не дразните русского медведя!
Ваше баловство вам выйдет
боком.

Вы его обманете стократно,
В кабаке обчистите до нитки,
Ведь у вас любая милость —
платна,
Ваши боги — золотые слитки.

Ваше кредо — разделяй и властвуй,
Ваша правда — это правда Силы.
Вы привыкли восседать над паствой,
Неугодных одарив могилой.

А вот русский в каждом видит
брата,
Не приемля скаредность и
лживость.
Для него всего важнее — Правда,
А всего дороже —
Справедливость.

Потому со дна любого пекла,
Где никто другой не сможет
выжить,
Русский вдруг поднимется из
пепла,
Из трясины и болотной жижи.

Выветрит угар кровавой битвы,
В чистом роднике омоет очи,
Пред иконою прочтёт молитвы...
И придёт к вам в дом однажды
ночью.

Весь пропахший порохом и
 кровью,
Поведя вокруг усталым взором,
Он замрёт у вас над изголовьем
И в глаза посмотрит вам
 с укором.

И пока вы свет не погасили,
Спросит он, бывшее подытожив:

— Ты зачем пришёл ко мне
 в Россию?
Или я тебе чего-то должен?

Вы поймёте, что пришла
 расплата.
Но платить, как оказалось,
 нечем.
Русский бы простил, наверно,
 брата.
Только ж вы не брат ему,
 а нечисть.

И душонку, сжавшуюся в плоти,
Теребя под хмурым взглядом
 гостя,
Вы тысячекратно проклянёте
Глупую идею «Дранг нах Остен».

Жаждающие новых территорий
Для бейсбола, регби или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.

Поумерьте пыл парадной меди!
Отвечать за глупости придётся!
Не будите русского медведя.
Может быть, тогда и обойдётся.

«МЫ – РУССКИЕ!»

Один чудака с лицом
 фальшиво-грустным,
Ютясь в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно
 называться русским.
Мы — нация бездарных
 алкашей».

Солидный вид, манера
 поведенья —
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус
 вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных
 ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали родину с колен
Творцы российской мореходной
 славы
И Беллинсгаузен,
 и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем
 узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться
 русским
Шотландцы — Грейг, де Толли
 и Лермонт.

Любой из них достоин
 восхищенья,
Ведь Родину воспеть —
 для них закон!
Так жизнь свою отдал без
 сожаленья
За Русь грузинский князь
 Багратион.

Язык наш — многогранный,
 точный, верный —
То душу лечит, то разит,
как сталь.



Николай ПАНОВ

ИНЦИДЕНТ НА ЦАРСКОМ БАГРЕНЬЕ

Николай Александрович Панов родился в 1957 году в старинной казачьей семье в Уральске. Окончил Бугурусланское лётное училище, затем Киевский институт гражданской авиации. Работал пилотом в Уральском аэропорту командиром авиационной эскадрильи, в настоящее время занимается исследованием истории Уральского казачьего войска. Автор нескольких книг. Живёт в Саратовской области.

Известный писатель и публицист В. Г. Короленко назвал Уральское казачье войско (УКВ) «полувоенной, полурыбачьей общиной», подчеркнув тем самым равенство воинской и хозяйственной структур.

Войсковой герб 1776 года — вооруженный воин на коне и две большие рыбы — символизировал главное достояние общины. Во всаднике казаки видели легендарного героя Рыжечку, якобы попросившего у царя за победу над врагом на вечное владение Яик — реку с «сущими при ней реки и притоки и со всеми угожьями». Рыбы же свидетельствовали о несметном капитале Яикушки — золотого дна. Для сохранения этого «капитала» на Яике (Урале) были выработаны строгие правила рыбной ловли, за исполнением которых зорко следили «старые люди», проживавшие в форпосте Калёновский, на

середине войсковых земель, вытянутых узкой лентой вдоль правого берега реки Урал. В Калёном заканчивалось зимнее главное рыболовство — багренье, а осенью начиналась плавня.

«Багренье рыбы — ловля рыбы баграми, производимая преимущественно на Урале. Когда река покрывается льдом, огромные артели рыболовов в известном порядке располагаются на «ятовях» — глубоких местах, где залегают крупная рыба, вырубают проруби и опускают в них багры — длинные, достающие до дна шесты с укрепленными на конце их большими стальными крюками. Рыба, либо лежащая неподвижно, либо медленно движущаяся (она в это время года находится в оцепенении), попадает на багры, составляющие под водой как бы густой лес, так как их бывает до 10 тысяч на пространстве в версту или в полторы длиной и сажень в 60 шириной. Почувствовав тяжесть на багре, рыбак тихонько приподнимает его, чтобы подцепить рыбу, и затем осторожно подтягивает её к себе. Когда попадает особенно крупная рыба, например, белуга в 20—50 пудов, она вытягивается усилиями нескольких рыбаков принадлежащих к одной и той же артели» (Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона).

«Первый день, по обычаю,

разбагривали лучшую ятовь недалеко от Уральска, — багренье было особое. Царское багренье. Царю в дар войско отправляло по традиции весь этот улов. Большие обозы, а в последнее время несколько вагонов, груженных рыбой, шли ежегодно в Петербург, в «презент» (Л. Масянов, 1963).

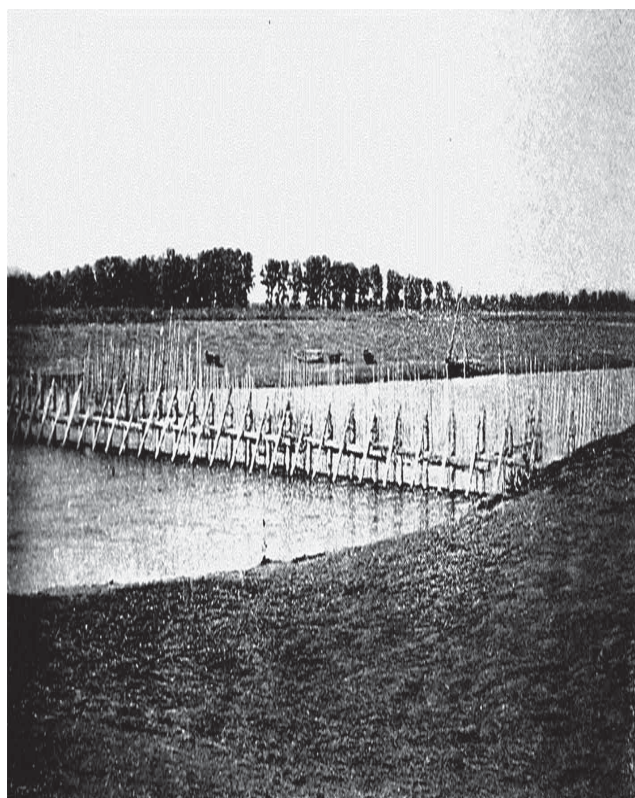
К концу XIX века рыбные запасы Урала заметно оскудели, в результате чего произошло снижение вылавливаемой в реке рыбы во время главных рыболовств — осенней плавни и багренья. Так уж совпало, что в мае 1899 года в УКВ был назначен новый наказной атаман и губернатор Уральской области генерал-майор Константин Николаевич Ставровский. Человек мужественный, «не робкого десятка». В 1878 году за отличие на Балканской войне Генерального штаба полковник К. Н. Ставровский был награждён орденом Святого Георгия IV степени. До своего назначения атаманом в Уральское войско, он долгое время служил в Корпусе пограничной стражи. В 1899 году в Уральске прошли юбилейные торжества, посвященные 100-летию А. С. Пушкина, и был заложен сад его имени.

Генералу К. Н. Ставровскому достался в «наследство», от прежнего наказного атамана УКВ К. К. Максимовича (1893 — 1899), вице-губернатор Иван Алексеевич Лисаневич, действительный статский советник, выходец из «малороссов». Он

прибыл в Уральск из Воронежа и прослужил в должности вице-губернатора Уральского областного правления с 30 октября 1894 года по 26 августа 1900 года. Вероятно, по «долгу службы» он являлся и помощником председателя статистического комитета Уральской области, а председателем был наказной атаман УКВ. В декабре 1899 года между наказным атаманом К. Н. Ставровским и уральскими казаками в первый день царского багренья и произошёл некий инцидент, а вице-губернатор И. А. Лисаневич стал его невольным свидетелем.

Официальный печатный орган УКВ — газета «Уральские войсковые ведомости» (УВВ) — в небольшой заметке «Презентное багренье» поведал вкратце следующее: «В пятницу, 10 декабря, багрили на презент. Войска съехалось много, но результаты не утешительные. До окончания багренья (кроме переставов) представлено рыбы: яловых осетров 322, яловых белуг 88, 4 шипа и 1 севрюга; икрыных: осетров 123, белуг 23. Этого количества икрыной рыбы для презента оказалось недостаточно, почему багренье продолжено на 11 декабря, когда разбагрили и «Атаманскую» ятовь.

На Атаманской рыбы оказалось недостаточно, почему разбагрили и около учуга.



Учуг — забор на Урале ставился казаками, чтобы красная рыба, осётр, белуга, севрюга не уходила к оренбургским казакам

Интересно то, что выше учуга оказалось много красной рыбы, чего прежде не наблюдалось. Так как этим вторым багреньем заловлено достаточно для презента к Высочайшему Двору, то презент и отправляется в С.-Петербург сегодня, с вечернем поездом» (УВВ № 48, 1899).

Про инцидент на царском багренье в декабре 1899 года известно очень мало, его особо не «афишировали». Первым, не называя имён и фамилий, о нём рассказал В. Г. Короленко в очерке «У казаков», опубликованным в 1901 году; в 1928 году на старости лет об этом инциденте поведал Ф. А. Щербина, который слышал о нём из

уст своего приятеля И. А. Лисаневича. Наконец писатель В. П. Правдухин в середине 30-х годов упомянул о нём в романе «Яик уходит в море», сдвинув временные рамки немного назад, на годы правления наказного атамана УКВ Н. Н. Шипова (1885–1893). Вероятно, В. П. Правдухин слышал об этом инциденте в детстве, когда проживал в Калёновском посёлке (1899–1902), а потом о нём напомнили «калёновцы», во время его приездов в посёлок в 1927–1928 гг., когда он собирал материал для будущего романа об уральских казаках. Надо сказать, что все три «источника» рассказывали об этом инциденте «по-своему», поэтому интересно будет узнать, как его восприняли рядовые казаки и войсковые чиновники УКВ.

Владимир Галактионович Короленко (1853–1921) — русский писатель украинско-польского происхождения, журналист, публицист, общественный деятель, заслуживший признание своей правозащитной деятельностью, приехал летом 1900 года в Уральск для сбора материала по Пугачёвскому бунту. Результатом поездки стал очерк «У казаков», в котором писатель привёл рассказ об инциденте на багренье, услышанный им от рядовых казаков.

«Осенью перед тем годом, когда я был в Уральске, — писал Короленко, — берега Яика

видели характерную картину, напомнившую старые яицкие времена. Наказной атаман был назначен недавно, обычаев не знал, был человек самонадеянный и склонный к командирским замашкам. Кроме того, говорили, что на него оказывал большое влияние адъютант, человек чрезвычайно непопулярный в войске... В первый же день войско, по обычаю, закончило ловлю на участке, назначенном для презента. Адъютанту показалось, что улов мал. Он сказал об этом атаману, и тот распорядился продолжать лов на следующем участке.

Войско находило, что улов достаточен, но предмет был щекотливый, и войско согласилось продолжить лов на следующий день. Участок, на котором производился лов, по обычаю и по постановлению съезда уполномоченных, ограждается снизу поперёк всей реки большой «аханной» сетью, чтобы рыба, потревоженная на участке, не кинулась вниз и не подняла других ятовей, залёгших на зиму.

Но атаман, раз отдав приказ, не хотел брать его назад и опять поставил вопрос на почву верноподданнического благоговения и дисциплины. К нему подошли некоторые офицеры в ловецких костюмах и уважаемые старые казаки и стали убеждать отступить. Завтра войско готово отдать для презента другой участок,

но нельзя нарушать исконные правила лова.

Атаман вскипел. Он топнул ногой и крикнул: «Молчать! Слушать команды».

Старики угрюмо разошлись по местам. Генерал дал знак, по которому войско должно кинуться ударом. Никто не двинулся с места. Атаман посмотрел на это, как на бунт. Это его рассердило, тем более что в это время у него в гостях был саратовский губернатор, стоявший тут же.

— Офицеры, вперед!..

Никто не двинулся. Да это было и невозможно: в рыбной ловле нет офицеров и рядовых: заслуженный офицер часто плывёт в паре с простым казаком.



Казаки у будар ждут сигнала атамана

Атаман рассвирепел. Это уже показалось ему бунтом против верховной власти, во-первых, и против его авторитета, во-вторых. Он стал кричать и при этом произнёс неосторожную фразу:

— Прикажу на песке осетров багрить — будете багрить, пока не скомандую отставить...

По войску пошёл шум. «Ещё солдатских шинелей на казаков не надел», — кричали казаки. Это был старый лозунг... Из-за «солдатских шинелей» Яик не раз тревожно подымался против Москвы. Шум разрастался. Старики громко ворчали. Среди молодёжи, особенно из Свистуна, замелькали багры, и скоро береговой яр, на котором стояло начальство, оказался окруженным взволнованной толпой.

— Чего тут было... И-и!.. — говорит, слегка косясь на офицера, учужный казак, рассказавший мне в общих чертах эту историю. И потом, усмехаясь в усы, прибавил:

— Гость-то... Саратовский... Кинулся поскорее к саням, пал кверху тормашками и кричит кучеру: — Гони в город. Нахлестывай!.. Ну их, дескать... Спасибо на угощении.

Впоследствии ту же историю мне во всех подробностях рассказали в Свистуне старые казаки в бухарских стёганных халатах.

— Атаман испужался, снял папаху, давай кланяться войску.

— «Простите, господа войско. Я по новости ваших обычаев ещё не узнал». Ну, мол, теперь будешь знать...

— А если бы не уступил? — спросил я.

— И-и! Что ты. Не дай Бог, — сказал один. А другой прибавил:

— Не знай, что и было бы... Наше, брат, войско — сурьёзное...»

Фёдор Андреевич Щербина (1849—1936) — известный земский статистик, с 1884 до 1903 года заведовал статистическими работами Воронежского губернского земства. В 1896—1903 годах, летом, Ф. А. Щербина выезжал в степные экспедиции по сбору статистических материалов. Летом 1900 года по служебным делам он посетил Уральск. Вероятно, он был в Уральске в одно время с В. Г. Короленко. Более того, они были знакомы и дружили. По приглашению Ф. А. Щербины в 1898 году в Джанхот приехал В. Г. Короленко, место ему понравилось и он построил там усадьбу. Короленко писал жене из Джанхота: «Щербина понемногу подбирает компанию порядочных людей и скоро здесь будет целое общество». Так вот, Фёдор Андреевич слышал рассказ об инциденте из уст «второго» человека в войске, от вице-губернатора И. А. Лисаневича. Возможно, он и был тем самым «адъютантом», которому улов показался мал.



На багренье

«Это происходило на Урале, — писал в своей книге Ф. А. Щербина. — В г. Уральске я поехал, чтобы добыть данные о числе киргизских хозяйств и киргизов, перекочёвывавших летом на джайляу в Тургайскую область. В Уральске мне пришлось иметь дело с казачьим атаманом, генералом не из казаков, и с новою тогда властью на Кубани и на Урале — с вице-губернатором. На моё счастье, вице-губернатором в войске был И. А. Лисаневич, потомок казаков Слободской Украины по Богучарскому уезду, с которым я дружно работал более десяти лет в Воронежском земстве, в губернской управе, которой он



Зимнее багренье

был много лет бессменным председателем и моим начальником по земскому статистическому бюро...

И. А. Лисаневич передал мне «по секрету» следующий комический и, казалось бы, маловероятный случай, но сам вице-губернатор, которого я близко знал как не рядового в земстве деятеля и безукоризненно честного человека, был очевидцем этого случая. Случай произошёл на Новый год — день, с которого начинается у уральских казаков зимнее рыболовство, или багренье. Из г. Уральска на берег реки высыпала масса народа — казаки-рыболовы и служилые, начальство, с наказным атаманом

во главе, скупщики рыбы, торговцы съестным и напитками и многочисленные зрители. Багренье началось с установленного молебна и традиционного выстрела из пушки. Когда раздался этот выстрел, казаки-рыболовы, стоявшие с пешнями и баграми в руках, длинную вереницею вдоль берега реки у самой воды бросились занимать места (на праве первой заимки), быстро пробивали лёд железными пешнями, образуя достаточные по размеру полонки, через которые и таскали со дна реки рыбу. Это был день так называемого «царского багренья». Пойманная рыба «вся шла начальству» — лучшая икра и рыба отвозились в Петербург «царю в подарок» (я не помню, отвозилась ли рыба царского багренья и при Лисаневиче или нет), а остальная рыба распределялась между наказным атаманом и всем чиновным казачьим персоналом. Улов рыбы в этот раз был мал.

Казачьи чиновники попросили наказного атамана назначить царское багренье и на следующий день. Войсковой атаман потребовал сани для отъезда в город и, по обычаю, пошёл поздравить казаков с началом багренья. Казаки выстроились по-военному, со стариками впереди. Атаман после поздравления с первым уловом по привычке начальническим тоном сказал:

— Сегодня, казаки, багренье неудачное. Мало рыбы. Назначая и на завтра царское багренье!

— Что? — раздалось несколько голосов из передних рядов. — Ты приехал к нам устанавливать свои порядки? — и стоявшие впереди казаки начали засучивать рукава.

Атаман с испугу побежал к коням; старики двинулись за ним.

Спеша, атаман попал в сани не ногами, а руками, с приподнятыми пятками вверх, и крикнул кучеру: «Пошёл!» Тройка быстро умчала его в город Уральск.

Произошло замешательство. Задние ряды казаков не видели, что творилось впереди. Нашлись благоразумные казаки, посоветовавшие «молчать до расследования». Того же мнения были и чиновные казаки. И казаки замолчали нарушение их порядков наказным атаманом и бегство его в г. Уральск. Атаман тоже молчал.

Я передаю этот факт по памяти из записок, уничтоженных в набеge на мой хутор Джантхот большевистскою революционною молодёжью...»

Валериан Павлович Правдухин (1892—1938), как известно, родился в станице Таналыкской Орского уезда Оренбургской губернии в семье сельского псаломщика. Его отец впоследствии был

рукоположен в священники и направлен служить в единоверческую церковь посёлка Калёновский Уральского казачьего войска. Там В. П. Правдухин провёл четыре года жизни. Он вспоминал об этом периоде своей жизни: «Этот отрезок жизни и до сих пор мне кажется самым большим, самым значительным...»

Благодаря детским воспоминаниям, поездкам по Уралу в зрелости и огромной исследовательской работе в романе «Яик уходит в море» писателем воссоздана атмосфера подлинности, жизненной убедительности и исторической достоверности. На конкретных судьбах, в живых человеческих характерах писатель раскрыл сложную сущность души уральского казака. Правдухин отмечал: «Уральский казак для меня особый тип не только по своему общественному и хозяйственному укладу — он для меня первый живой человек жизни! С ним я рос, он учил меня видеть и любить природу...» Примечательно, что Правдухины переехали в Калёный в марте 1899 года, а летом того же года, во главе УКВ встал новый наказной атаман генерал К. Н. Ставровский. Инцидент на багренье произошёл, когда Правдухины проживали в Калёном, а местные казаки оказались в самой гуще того события.

От Калёновского посёлка

Сахарновской станицы «державцами» на период зимнего рыболовства 1899—1900 годов на реке Урал, точнее, с начала багреного и до окончания режакового рыболовства, были выбраны следующие лица: казаки: Платон Сидорович Карнаухов, Владимир Васильевич Калашников, Павел Афонасьевич Тяпухин, Николай Минович Панов и урядник Василий Абросимович Панов.

Державец-казак, выбранный станичным обществом для соблюдения порядка на багренье; на груди у него бляха с надписью «державец». Об этом писал в своём словаре казачьих говоров Н. М. Малеча: «Безо времени никто не мог выйти на Урал, на што были державцы, которые держали время» (Чап.) «Державцы всегда с подбагренником удерживают войско (от преждевременного самовольного начала багренья)».

Необходимо также отметить, что при бракосочетаниях (венчании) в Пророко-Ильинской церкви посёлка Калёновского, где служил священником отец писателя Павел Иванович Правдухин, очень часто поручителями от женихов или невест выступали старики: Влас и Григорий Пановы. Вероятно, они своё свободное время проводили в местном храме и тесно общались с семьёй Правдухиных. 25 января 1902 года

скончался от старости, в возрасте 84 лет, старейший представитель нашего рода Семён Харитонович Панов, которого перед смертью исповедовал священник Павел Правдухин (ГА ЗКО* ф. 237, оп. 1, д. 11, св. 6). Ровесником и другом детства Валериана Правдухина являлся сын «державца» Николая Панова — Константин. Это лишний раз доказывает, что писатель В. П. Правдухин знал об инциденте на багренье не понаслышке, а по сути из «первых уст» участников того события.

«Старики толпой двинулись к наказному атаману, — отметил Правдухин, — и хмуро заявили:

— Сегодня продолжать никак нельзя. Что будет с утра, поглядим. Да за Козой и аханы ещё не поставлены. Разве можно? Рыба всполошится и кинется на другие ятови. Вся рыба в море уйдёт. Никак немислимо.

Он (наказной атаман — прим. Н. П.) не хотел отменять своего распоряжения и ронять авторитет перед стоявшим тут же саратовским губернатором. Старики, не глядя на атамана, упрямо твердили:

— Никак не выйдет. Конфуз получится. Отмени приказ!

Всё же старики ни с чем вернулись к войску.

— Вперёд, атаманы-казаки!

Ему ответили сумрачно и дружно:

— Не жалам!

— Не наводи на нас и на себя сраму. Отмени приказ!

Атаман, побагровев, заорал:

— А, вы так?.. Не подчиняться государю?.. На песке, на яру будете багрить осетров, если прикажу!

По рядам войска прокатился глухой ропот:

— Что же такое? Измывает-ся над нами!

— Фанфаронит над уральцами!

— Не жалам!

Толпа загудела, как надвигающийся с моря прибой. Замелькали в воздухе пешни, подбагренники. Багры склонились угрожающе, будто пики. Несколько человек выбежало вперёд, маша шапками.

Толпа с рычанием, с криками двинулась... на наказного атамана, стоящего среди них на коне. Саратовский губернатор сидел всё это время на яру на особом складном стульчике. Как только он услышал этот страшный рёв и увидал, как движется людская лавина, как прыгают по воздуху в руках баграчеев подбагренники с острыми крючьями, — он пал плашмя в сани и заорал в отчаянье на кучера:

— Гони, гони, Арефий! Домой! Гони, Христа ради!

Вся свита помчалась за ним.

Казачи в это время взяли в круг атамана... Его никто не слушал, на него замахивались

баграми. С трудом, давя казаков, он выскочил на коне из толпы, бормоча:

— Братцы, братцы остановитесь... Братцы, отменяю, совсем отменяю приказ.

Было поздно. Никто ничего не видел и не слышал.

Генерал... нёсся теперь вверх по реке к Уральску, а на него улюлюкали с берегов, уззыкали ему вслед».

Вероятно неслучайно, известный уральский учёный-ихтиолог и общественный деятель Н. А. Бородин в своих воспоминаниях называл атамана К. Н. Ставровского «сумасбродом и реакционером».



Казачи располосовывают белугу и делают икру. Первые два дня рыбалили царю в подарок

«Около тридцати казаков судили за бунт**», — подытожил В. П. Правдухин в заключительной главе своего романа, — и приговорили на разные сроки в тюрьму и ссылку». На самом же деле последовавшее наказание для «коноводов всей заварухи» было гораздо мягче. Они ограничились символическим «официальным забвением», которое было снято, как только генерал К. Н. Ставровский навсегда уехал из Уральска. Вероятно, ситуация, при которой «никто ничего не видел и не слышал», устраивала обе стороны конфликта интересов.

Саратовским губернатором с 20 декабря 1891 года по 29 апреля 1901 года был князь Борис Борисович Мещерский (1850—1904), шталмейстер двора Его Императорского Величества (с 1895 года), действительный статский советник. За десять лет своего губернаторства он превратил Саратов в полигон по испытанию всего нового, модного и передового. Однако подать жалобу государю императору на «взбунтовавшихся» уральских казаков князь Мещерский не отважился. Ему тоже не нужна была широкая огласка инцидента на багренье, в котором он трусливо бежал восвояси, испугавшись наступавших на начальство казаков-рыболовов с баграми.

Через пять лет, после злополучного инцидента на багренье,

запасы красной рыбы в реке Урал ещё более оскудели. Во время «царского» багренья 20 и 21 декабря 1904 года было разбито четыре участка по Уралу, однако рыбы оказалось так мало, что добытой из неё икры не хватило на презент даже к Высочайшему Двору. Войсковое хозяйственное правление УКВ решило недостающее количество икры купить, командировав для сего на предстоящее «казачье» багренье особую комиссию, под председательством войскового старшины Нуралина и членов: есаула Шелудякова, подъесаула Кирилова, старшего члена торговой депутации А. П. Шапошникова и казака И. А. Аничхина. Надо заметить, что наказной атаман УКВ генерал-лейтенант К. Н. Ставровский возвратился в город Уральск из командировки в Санкт-Петербург уже после царского багренья, 22 декабря 1904 года.

P.S. Вероятно, отголоском последних неудач уральских казаков-рыболовов стали изменения, внесённые в презентное багренье 1905—1906 гг.

«24 ноября император присланной телеграммой «Высочайше повелеть соизволил» держаться в точности указа 1765 года и высылать презент («царский кус») только к Высочайшему Двору, предоставив самому императору выделять часть презента членам императорской фамилии.

Постановление Войскового хозяйственного правления

1. Признать порядок производства презентного багренья, осуществлённый в прошлом году, удобным.

2. Сообразно опыту нынешнего года и по употреблявшейся в последние года посуде (бочата), общее количество икры в презент определить 18 пудов зернистой и 7 паюсной.

3. Бочата для упаковки икры заменить фарфоровыми банками.

4. Презент наказному атаману определить в 1 пуд зернистой икры и 15 фунтов паюсной.

5. Кроме этого, презента никому не посылать» (УВВ, № 27, 1906).

Примечание:

* Государственный архив Западно — Казахстанской области.

** В период правления Наказного Атамана УКВ К. Н. Ставровского, летом 1903 года, несколько десятков казаков Уральской станицы были арестованы «за бунт» и просидели под стражей на гауптвахте 20 - 25 суток. Однако, такое наказание последовало не за инцидент на «царском» багренье, а связано с жалобой казаков Уральской станицы на Наказного Атамана УКВ, тайно поданной Военному Министру.

Источники:

Короленко В. Г. У казаков. Из летней поездки на Урал. — Челябинск, 1983.

Курлапов А. З. Яицкие — уральские казаки. Повседневная жизнь и праздники. — Т. II. Уральск, 2013.

Малеча Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков (В 4-х томах). Т. 1 (а-ж). Оренбург, 2002.

Масянов Л. Л. Гибель Уральского казачьего войска. — Нью-Йорк, 1963.

От Гугни до Толстова/Сост. А. Г. Трегубов. — Уральск, 2006.

Потанин Г. Н. Воспоминания//Литературное наследство Сибири. Т. 6. Новосибирск, 1983.

Правдухин В. П. Годы, тропы, ружьё. — Оренбург, 2008.

Правдухин В. П. Яик уходит в море. — СПб., 2011.

Щербина Ф. А. Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. — Париж, 1928.

МЫ ВЫРОСЛИ!

Начнём с главного: литература жила, жива и будет жить. Нас соблазняют картинками, музыкой, театром, кино, мемами, короткими специфическими видеороликами из великого и ужасного интернета... Но для человека, как известно, неназванного не существует, значит, у всего должна быть литературная основа. Основа основ.

Словами можно передать всё: явления, чувства, время, дух времени. И в каждом новом поколении находится много творцов, готовых выразить себя и своё время в литературе: художественной или документальной прозе, лирике, драматургии. Разумеется, в каждом новом поколении не обходится без графоманов и вечно «начинающих» авторов, любящих не искусство в себе, а наоборот. Будем честны, таких авторов большинство. Бриллиантов в литературном творчестве гораздо меньше, поиском и началом огранки самородков занимаются на специальных мероприятиях: конкурсах, премиях, фестивалях, семинарах. Одно из таких мероприятий — ежегодный Всероссийский семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России» (Оренбург — Бугуруслан — Аксаково).

В 2018 году оренбургский семинар прошёл в новом для себя формате, к двум традиционным секциям прозы и поэзии добавились ещё две: фантастика и публицистика. Нововведения напрашивались сами собой, стоит ли объяснять почему? К тому же впервые в прошлом году организаторы провели предварительный интернет-конкурс всероссийского масштаба, в ходе которого были отобраны по десять оффлайн-участников в каждой из четырёх секций семинара. Количество заявок от молодых авторов исчислялось сотнями; ещё бы — главный приз лучшему автору по итогам работы секции — стипендия на издание дебютной книги. Победители определились, необходимые денежные суммы выделены, книги изданы. Открываем, читаем.

А. ГОРЫНИН



Мария ДЁМОЧКИНА

«ТЫ ТОЛЬКО НЕ ГРУСТИ»

Рассказ

*Нашим родителям,
друзьям и тётушке-фее*

Мария Андреевна Дёмочкина – журналист из Смоленска. Пишет социальные репортажи. Победитель всероссийских конкурсов журналистского мастерства. Лауреат премии имени Хантера Томпсона.

Каждый день мы приезжали на кладбище. Гулять. На улице стоял зябкий февраль, снег уже сошёл, обнажив землю в трещинах и лужи с тонким льдом. Редкие деревья путались ветками в подоле неба. Над землёй стелилась звенящая тишина и могильные плиты. Тоска...

— Антош, может, хватит? Давай погуляем в другом месте.

— Нет, я хочу здесь. Мне хорошо здесь.

Я кивала, кутаясь в пальто.

Тремя месяцами раньше мой муж вышел из кабинета врача и дрожащим голосом произнес: «У меня рак».

«Постой, может быть, это ошибка?» — спросила я, догоняя его на ходу. Хотя понимала, что нет. Не ошибка.

Три месяца болей в спине. Причину установить не удаётся. Участковый врач говорит, что это обычный остеохондроз. Мол, что вы хотите — сидячий образ жизни. Мы решаем перестраховаться и делаем МРТ — магнитно-резонансную томографию. Она тоже не видит ничего серьёзного, кроме остеохондроза. Таблетки и уколы эффекта не дают.

Я слишком много об этом писала: человека беспокоят боли, никто не может распознать их природу. А потом однажды что-то происходит. Как с нами, когда мы решаем сходить на УЗИ. Я до сих пор помню этого врача. Мы ожидали приёма, а он задумчиво ходил в смешной шапочке по холлу клиники из угла в угол. Иногда в задумчивости подносил к губам палец. Останавливался. Думал. Муж ещё не скрылся за дверью, не лег на кушетку, а я уже поняла, что всё плохо. Мне до сих пор кажется, если бы мы оттуда ушли, не заходя в кабинет, никакого рака бы не было. Но это, конечно, ерунда. Был бы.

Страх, отчаяние и ужас пришли не сразу. Сначала только удивление. Моему мужу всего лишь 32 года, он родом из Сибири и никогда проблем со здоровьем не имел. Почти два метра ростом. Хоккей с четырёх лет, футбол — с десяти...

Мы мечтали о детях, о домике с собственным садом, о том, что придут времена и мы будем ездить на зимовку в тёплые страны. И вот теперь я держу в руках бумажку с диагнозом «рак». Я была готова увидеть там шифр, словосочетание «онкологическое заболевание», но никак не «рак».

Как все нормальные люди, мы нырнули в интернет и чуть не задохнулись от информации: советы медиков, форумы онкобольных, прогнозы выживаемости...

За что? Как это могло случиться? Что мы сделали не так? Эти вопросы висли в воздухе. Кто-то советовал сходить в церковь, кто-то уверял, что это порча, и давал телефон «хорошей целительницы».

«Мир уже не будет прежним», — писала я когда-то о своих героях, которые узнали о том, что у них рак. Вранье. Мир остался прежним, он ни капли не изменился. Все также сияло солнце, нужно было ехать в командировку, редактор спрашивал, когда я сдам текст, подшефная школа интересовалась, привезём ли мы на новогодний утренник Деда Мороза, а герои репортажей штурмовали вопросами о том, в каком номере выйдет статья...

«Антош, что ещё сказал врач?» — спросила я.

«Он сказал: «У меня для

вас плохие новости. Всё плохо, и вам нужно как можно быстрее попасть к онкологу».

*«Мама, за что?» —
«Если ты хочешь попла-
кать — плачь...»*

Попасть к онкологу быстро не получалось. Ближайшая запись была только через две недели. Хитрыми путями нам удалось войти в его кабинет раньше. К сожалению, я даже представить не могу, что бы было с нами, если бы мы работали не журналистами и если бы у нас не было знакомых в разных сферах...

Доктор сказал, что врач-узист погорячился: опухоль нужно понаблюдать, она может быть доброкачественной. Забрести-ла надежда.

Муж пил таблетки, колол уколы. По утрам натошак влиял в себя какое-то лекарство для лошадей. Мы где-то услышали, что когда-то оно было человеческим и лечило все болезни. Потом, когда на рынок пришли фармакологические компании, им стало невыгодно его производить. И они сделали все, чтобы перевести микстуру в разряд «лошадиных».

Прошло две недели, но ничего не помогало. Срочно нужна была консультация у другого врача. Москву бы мы вряд ли потянули финансово, поэтому

решили ехать в соседнюю Беларусь.

Я никогда не любила Минск. Его широкие проспекты всегда казались мне неудобными, сталинские дома — чересчур остроугольными, небо — серым и низким.

Но именно этот город должен был спасти моего мужа.

Мы до последнего надеялись, что обойдется, но чуда не произошло.

«Где же вы раньше были?» — сурово посмотрел поверх очков седовласый врач.

А мы, доктор, к вашим коллегам ходили. Они говорили нам, что ничего серьёзного, само пройдёт. Не прошло...

Тот доктор в самой обычной белорусской клинике Минска дал нам личный мобильный телефон профессора из онкоцентра в Боровлянах. Просто взял и написал на бумажке. Не знаю, почему: то ли вид у нас был жалкий, то ли в знак солидарности с братьями-россиянами. Боровляны хвалили — говорили, что после Чернобыля белорусские врачи здорово набили руку на десятках тысяч операций...

Доктор в Боровлянах сказал, что готов прооперировать Антона завтра. Врач ему понравился, и он мгновенно стал называть его по-своему — Док. Док считался лучшим не только в стране, но и во всей

Европе. Его докторская была посвящена конкретно той болезни, что нашли у мужа. Док знал, что медлить больше нельзя. У Дока, как и у любого врача-онколога, есть своё кладбище. И он хочет, чтобы оно считалось микроскопическим.

Конечно, операция стоила приличных денег, которых у нас не было. Каждый год мы откладывали на море и отпуск, на оплату кредита по машине, а на борьбу с раком — нет. Ситуацию спасла свекровь. Ещё в Смоленске она вытащила из серванта деньги, которые откладывала на свое погребение.

«Мои похороны придётся отложить», — грустно пошутила она.

Прооперировали Антона быстро. На третий день выписали и отправили домой — в Смоленск.

К сожалению, я мало что помню об онкоцентре в Минске. Только то, что буфет там находится в подвале. Рядом с моргом. Ты жуёшь бутерброд с колбасой, ожидая результатов анализа, а мимо кого-то провозят на каталке под белой простынёй... А ещё там как на том свете. Людей в коридорах много, но они будто тебя не видят. Они разговаривают, но, как ни прислушивайся, ты не услышишь ни одного обрывка разговора...

Через две недели мы вновь приехали в Боровляны за результатами гистологии. Экспертиза подтвердила: вырезанная

опухоль злокачественная, это рак.

«Ситуация такая, — сказал Док и тут же замолчал, перебирая в руке коричневые четки. — Ваша опухоль достаточно агрессивная. Она часто даёт метастазы. Наши приборы показывают, что у вас их нет. Но, возможно, очаги присутствуют — просто очень мелкие... Я не могу настаивать на химиотерапии. Решать вам. Можно обойтись без неё. Но в этом случае вероятность того, что рак вернётся, составляет 50 процентов. Понимаете, да? Может быть, а может и не быть». Док сделал паузу.

«Если же вы проходите курс химиотерапии, то вероятность полного выздоровления составляет 90 процентов. Вы что выбираете?»

Мы переглянулись.

«Химию», — сдавленным голосом произнес муж.

«Что ж... Я считаю, это правильный выбор».

«Мама, за что?» —

«Я не знаю...»

Онкодиспансер — единственное учреждение в Смоленске, где избыток зеркал, хотя они там совершенно не нужны. В обычных поликлиниках, библиотеках и даже театрах их нужно искать. А в онкодиспансере — по два огромных на каждой лестничной клетке. У вас даже нет шансов избежать своего отражения. Если вы пациент —

вы увидите себя измученного и больного, съеденного ядами, со впалыми щеками и совершенно лысого от химиотерапии... Если вы родственник, жизнь которого разделилась на «до» и «после», то никого счастливого в том зеркале тоже не будет. Я не могу понять этой злой зазеркальной усмешки и сейчас.

Но курс химиотерапии мы решили проходить именно здесь. В Беларуси для иностранного гражданина это было бы слишком дорого. В родном городе всё оказалось тоже непросто: «На химиотерапию очередь. Ждите!». Мы честно подождали, но доктор из Беларуси велел не затягивать — от операции до начала лечения должно было пройти не больше месяца. Чтобы попасть на капельницы, пришлось дойти до департамента по здравоохранению. Только тогда место нашлось.

Проблема российского здравоохранения не в том, что оно не лечит рак. Лечит, и местами достаточно успешно. Проблема в том, что в нашей стране, если ты серьёзно заболел, иногда проще умереть, чем жить. Поэтому что если у тебя есть связи и деньги — значит, ты живёшь. Если нет — прости, дружок, такова судьба...

В отделении нужно было пролежать неделю. После этого ещё два раза приехать на сильнодействующие уколы. Мой

муж, который до этого не подозревал о том, как вдеть нитку в иголку, сам сшил себе бандану — на тот случай, если в больнице выпадут волосы. И скачал на телефон приложение «Сделай меня лысым».

Я не смогла его проводить в онкодиспансер, потому что со мной тоже случилась больница. Заколело в боку. И тоже в левом — как когда-то у Антона. Вердикт врачей: ничего смертельного, но прооперировать придётся. После операции нужно было ещё неделю лежать в палате. Через пару дней я подружилась с медсестрой. После вечерних процедур она плескала мне чай в пластмассовую кружку, и мы болтали с ней до глубокой ночи. Она рассказывала реальные истории болезни и любила повторять: «Со всеми бывает. Даже если ты — не все».

С Антоном мы ежедневно переписывались. Звонил он редко — как получалось. А писал часто.

15 января 2018 года

«Сегодня будет первая капельница. Сказали, продлится три-четыре часа, и после неё обязательно выпадут волосы. Мой доктор утверждает, что лучше сделать четыре курса хими. Я сказал, что буду делать так, как сказали мне в Минске. Она пожала плечами: «Если

доверяете, делайте один».

Представляешь, в моей палате лежит мужчина без желудка... Ему 39 лет. Уже девятый курс химии проходит... Он говорит, что рак просто так никого не отпускает.

Люблю тебя».

16 января 2018 года

«Лежу под капельницей. В меня вливают пять банок кислоты. Три банки лекарства и две — хлорида натрия для промывки вен. Волосы пока не выпали. Завтра, наверное, облысею.

Боюсь, что могут ещё что-нибудь найти, тогда буду раз в месяц сюда ложиться. Но если даже придётся умереть здесь, знай: всё равно тебя люблю.

Попробую уснуть... Сильно давит, что у многих безнадежность: уже по 10—12 химий, но ничего не происходит, результата нет... Боюсь, что меня такое же ждёт».

17 января 2018 года

«Рвало всю ночь. Врачи говорят, что это нормально. Волосы пока на месте. Ты не скучай. Вдруг я помру: что ж тогда, всю жизнь скучать, что ли?.. Главное — прогнать рак.

Ощущения как с похмелья: тошнит и голова болит. Из-за химиотерапии таблетки от головной боли не положены. Читать

почти не могу. Самое плохое, что не могу взять и обнять тебя».

18 января 2018 года

«У меня новый сосед — доцент из соседней больницы. У него лейкоциты сильно упали после курса химиотерапии. Его положили сюда на четыре дня — пить витамины. Ему лет сорок, он молчаливый, ни с кем не разговаривает: отвернётся к стенке и лежит.

Мои волосы пока не выпали».

19 января 2018 года

«Сегодня мужчину положили из области, откуда-то из-под Глинки. У него пять лет назад нашли рак прямой кишки. И он выжил после четвертой стадии, представляешь? Вот сейчас попал с опухолью в печени... Говорит, чтобы вылечиться, взял кредит 700 тысяч. Не знает пока, чем отдавать будет. Жалко его.

У меня последняя капельница. И я хочу домой. В диспансере можно умереть только от одной тоски...»

С Антоном мы лежали в больницах на соседних улицах. И однажды я сбежала к нему.

«Я не выживу», — сказал он мне в коридоре онкодиспансера, вычерчивая носком тапка

по кафелю какую-то неведомую фигуру.

«Почему?»

«Мне так все в палате говорят. Понимаешь, если ты попал сюда однажды, то попадёшь второй и третий. Так со всеми бывает. Сначала у тебя рак поджелудочной железы, ты его лечишь, потом, через пару лет, рак желудка... Потом кишечника. И так до бесконечности. До смерти, в смысле».

«Мама, за что?» —

«Не за что, а почему...»

В день, когда Антону поставили последний укол, мы достали из шкафа бутылку грузинского вина. Красного сухого — как прописал доктор для повышения железа в крови. Намазали на хлеб масла и икры — говорят, такие бутерброды лучше всего повышают уровень лейкоцитов. Мы пили за то, что всё позади: опухоль, операция, химия, рвота и слабость...

«Ты представляешь, даже волосы не выпали!» — улыбнулся муж.

«Ага», — сказала я и провела ладонью по его голове. Его волосы остались у меня на руке...

Химия — как оружие медленного поражения. Кажется, что страшное уже позади. На самом деле всё только начинается. Добро пожаловать в ад.

Ещё несколько дней мы пытались спасти волосы: коротко стригли их, мыли и даже втирали касторовое масло в кожу головы. Но всё было напрасно...

«Ты же помнишь, что сказал Док?» — грустно спросил муж.

Я кивнула. Док сказал, что волосы, вероятно, выпадут. Начнутся проблемы с кожей, сердцем, давлением, кишечником, желудком, легкими... А так — да, химиотерапия щадящая.

Прошёл месяц, и на голове Антона вырос цыплячий пух. Потом появились иголки — как у ёжика. Ещё немного — и вернулись кудряшки. Чёрные, жёсткие — как у барашка.

Беспокоила только изжога — она не поддавалась лекарствам, потушить её можно было только большим количеством воды. Муж начал работать из дома. Каждое утро он почему-то писал новости про собак. Про тех, которых бросили, оставили умирать на дороге после аварии, про тех, которые провалились в коллектор... Стрессовую ситуацию каждый проживал по-разному. Антон надел на себя крестик, я положила в сумку жёлтые пуговицы экстракта валерьянки — «от нервов». В церковь я перестала ходить после того, как священник, который исповедовал мою свекровь, при её словах

о болезни сына развернулся и ушёл. К сожалению, такие случаи — не редкость. Одна из родственниц онкобольной пациентки рассказывала мне, что ехала в такси из диспансера, и водитель побоялся взять из её рук деньги. Задеть за живое, оказалось, можно не нарочно: каждый раз, когда вы говорите: «Что-то ты растолстел, дружище!», каждый раз, когда спрашиваете у молодой пары: «Почему не рождаете ребёнка?», каждый раз, когда интересуетесь у коллеги: «Чем же можно *таким* болеть месяцами?»...

Жить «как все», делать вид, будто ничего не произошло, просто не получается. Любая простуда воспринимается как возвращение болезни. Если ты чихнул — значит, это непременно рак головного мозга. Если закололо в боку — наверное, метастазы.

Химиотерапия не только убивает злокачественные клетки — она выжигает изнутри. И как жить после неё дальше — об этом у нас в России (так же, как и в Беларуси) никто не думает. Есть доктор, который оперирует, — хирург. Его дело — убрать опухоль. Курс химиотерапии проходит в специализированном отделении, там тоже работают специалисты. А что же дальше? Об этом молчал даже интернет, который,

казалось бы, знает всё. В тех книжках, что мы читали, всё заканчивалось либо смертью, либо — по умолчанию — хепи-эндом. А что делать, если человек, который выздоровел, ложится на диван и говорит: «Я ничего не хочу делать. У меня рак... — никто не писал и не говорил.

Да, нужно каждые три месяца проходить одно маленькое обследование и каждые полгода — одно большое. С этим, кстати, мы так и не разобрались. Нужные анализы в городе можно сделать только платно, компьютерный томограф с контрастом — в одном месте, где, конечно, гигантская очередь...

Но что же делать, чтобы восстановить полуразрушенный химиотерапией организм? Если сложить рекомендации всех врачей, то рецепт получится коротким: не ходить в солярий, питаться натуральным, наслаждаться жизнью и чаще бывать на свежем воздухе. Этим мы и занимались — каждый вечер садились в машину и ехали за город, в Подснежники. За милым названием скрывалось огромное поле и кладбище с чёрными мраморными памятниками, выросшими из-под земли. Муж говорил, что ему здесь хорошо. Хорошо дышится и лучше думается о жизни.

Но однажды мы сделали остановку по пути, чтобы проверить, не спустило ли колесо, и заметили огромный светящийся ангар с красивыми машинами внутри. «Надо же, — мелькнула мысль, — открыли новый автосалон».

«Зайдём?» — робко предложила я.

Муж неуверенно покачал головой, но поплелся следом.

Навстречу нам бежала сотрудница автосалона. Она бежала из другой жизни — мира рестайлинговых моделей, минимального расхода топлива и максимального количества лошадиных сил. Она была не в курсе, что мы едем гулять на

кладбище и в ближайшие лет пять нам будет точно не до покупки новой машины. Распахивая дверь автомобиля («Вам нужно обязательно посидеть в салоне!»), она не знала про онкологию, химиотерапию, потерянные волосы, уровень лейкоцитов и что каждый день мой муж начинает со слов «у меня рак». В тот вечер она видела обычную среднестатистическую молодую пару, которая мечтает о машине...

Больше мы не ездили гулять на кладбище.

«Мама, почему?» —

«Для того, что пережить...»



Ирина РОДИОНОВА

МАРИУШ

Рассказ

Ирина Сергеевна Родионова родилась в Новотроицке Оренбургской области. Окончила Оренбургский государственный университет, став бакалавром по специальности «психология и педагогика». Работает учителем русского языка и литературы в родной школе и психологом в развивающем центре.

Автор нескольких фантастических романов и психологических драм.

Победитель конкурса рассказов «Миры М. и С. Дяченко».

Живёт в Новотроицке.

Доброе утро.

Рассвет был таким же пепельно-серым, как и всё вокруг — как и низко нависающий раздробленный потолок, до которого Мариуш могла дотронуться тонкими чумазыми пальцами, как и льющийся поздним вечером свет сквозь тонкую дырочку под потолком в груде каменных обломков, как и собственные её руки — маленькие, сильные, полупрозрачные. Сейчас же из разлома выглядывали одни глаза — чёрные мелкие угольки в обрамлении спутанных длинных ресниц, на которых пудрой застыла бетонная пыль.

Мариуш почти не дышала, и воздух, застаиваясь в её маленьких легких, напитывался кислой горечью, прожигая изнутри. Девочка не могла даже шевельнуться — они, грязно-коричневые, вытянутые, до

такой степени худые, что рёбра частоколом выпирали из сухих тел, проходили стаей мимо. Звонко, непозволительно звонко для мёртвого мира цокали острые когти, звери останавливались, принюхиваясь, и тогда чёрные угольки глаз в расщелине тлели с особой настороженностью. С оскаленных желто-рыжих клыков неведомых прежнему миру зверей капала слюна и, шипя, проделывала кривые дырки в издыхающем от времени асфальте.

Они скрылись прямо за разрушенным домом — три стены рухнули, погребая под собой значительную часть улицы, и теперь из напитывающихся ржавчиной бетонных обломков торчали то трухлявые ножки комода, то эмалированный край навечно высохшей ванной. Последняя стена стояла, смешиваясь рваной верхушкой с границей низкого неба в серо-черных разводах — покосившаяся, рассыпающаяся, она всегда вызывала в маленькой Мариуш какой-то суеверный восторг — как будто, лишившись всего на свете, что могло согреть и поддерживать, ещё можно было попробовать жить.

Девочка спряталась внутрь, в свою маленькую холодную пещерку, и только там выдохнула, потирая маленькими кулачками слезящиеся глаза, в которых словно бы изнутри сидели колющие камушки бетона. Ледяной и студёный ветер, который болезненно вгрызался в её крошечное тело до самых

костей, принёс немного свежести, и Мариуш поняла, что пора.

Ей пора.

Маленькая темная тень выскользнула изёпролома и вскарабкалась прямо по стене, цепляясь за многочисленные щербатые выбоины — девочка забила в квартиру на третьем этаже, точнее, в то, что от неё осталось, и спряталась за ворохом вещей на резной вешалке с витыми крючками, покрывшимися зелёным налетом. Старое, все вокруг было бесконечно старым и трухлявым. Справа от вешалки начиналась пустота — здесь рухнула всего одна стена, и именно в её обломках девочка и поселилась. Сквозь дыру в комнату заглядывало любопытствующее пустое небо, скользящие до горизонта раздробленные неведомой силой здания, в которых раньше жили люди.

Люди. Мариуш уже плохо помнила, как выглядела она сама: иногда девочка стояла, склонившись над пахучей и ядовитой лужей, и разглядывала собственные крупные глаза, широкий нос и острые скулы. Тонкую бледную полоску губ. Высокий лоб. Затравленный взгляд. Другие лица ей и давно вспомнить не удавалось. Кроме двух. Самых значимых.

Сейчас Мариуш, стоя высоко-высоко над миром, смешала свой запах с запахом людей, которые уходили по утрам на работу, сдерживая с крючка старое пальто с порванными

карманами и пятном от промчавшейся мимо машины, которые зимой доставали тяжёлые шубы, а летом жизнерадостно прикалывали высушенными бабочками плетёные шляпы на витые, прежде ярко-золотистые крючки. Где-то далеко впереди раздался промозглый вой — это они, их стая. Они могут вернуться, хоть пока всё и хорошо. Но она никогда об этом не забывала.

Мариуш тревожно огляделась — маленькая, четырёхлетняя, она уже имела цепкие пальцы и острые зубы, карабкалась крошечным акробатом по разрушенным зданиям, прищурив миндалевидные иссиня-черные глаза с редкими рубиновыми всполохами лопнувших сосудов. Глаза у неё были папины — он был низеньким и лысоватым человеком, неизменно сморкался большим носом в платок с вышитыми инициалами, до смерти любил дыни и мечтал о сыне. О наследнике. Когда родилась Мариуш, он назвал её мужским именем — то ли от злости на судьбу, то ли чтобы она была сильной и стойкой. Всю жизнь призрак этого мальчишеского имени висел над маленькой девочкой, и она до жути боялась не оправдать отцовских надежд. Сильной она и стала, выжив среди опустевшего города, в котором не осталось ни одного человека. Только они. Квэсцио.

Падальщики. Только и ждут, в кого бы вонзиться своими

гниющими зубами и разодрать горячую плоть, фонтанами изрыгающую чёрную кровь. Мариуш было четыре, но она насмотрелась на такие сцены вдоволь, именно поэтому она была осторожна, умела вскарабкаться на самую большую вершину и спрятаться в самой маленькой дырке.

Девочка выглянула из-за старого пальто, от которого едва пахло дубовыми опилками и ледяным воздухом, и вгляделась в противоположный берег — дорога перед ней раскололась, казалось, до самого ада, и теперь зубчатый провал слепой чернотой таращился в низкое, промёрзшее небо. Мариуш цепко держалась за какой-то выступающий обломок, при малейшем движении собираясь сорваться и ринуться рыбкой вниз, спрятаться в своем проломе, куда не пролезут уродливые собачьи морды квэсцио. Она уже проверяла это. Пару дней назад они бросились за ней, как стая разъяренных волков с остекленевшими от жажды крови глазами, и девочка успела нырнуть в лаз — хищно щёлкнули зубы, уродливая морда в облезлых струпьях, вытянутая и тяжёлая, словно топор, рыкнула и скрылась. Они были самыми жуткими существами на свете — тонкие, похожие на скрюченные палки, со впалыми животами и багровыми глазами, выискивающие добычу и питающиеся плотью. Питающиеся страхом. Девочке казалось, что когда

рядом были мама с папой, квэ-сцио ещё не существовало.

Но сейчас ей казалось, что они были всегда.

Антрацитовые глаза ребёнка зацепились за что-то, словно бы поймали надоедливый репей, и она замерла, не в силах произнести ни звука. Там, на другой стороне, где в останках дома гулял свободно прогорклый ветер, где среди кусков бетона обиженно к свету пробивались забытые вещи, которые канули в Лету вслед за своими хозяевами, сидел мальчик. Мариуш потёрла глаза, моргая часто-часто, расцепляя выющиеся ресницы и отбрасывая со лба клочья тяжёлых тёмных волос — нет, ей не показалось. Словно бы почувствовав её взгляд, крошечный мальчик зашёлся обиженным ревом — маленький, не старше годика, пухлый, светло-розовый, с налившимися яблочками щёк и мягкими чёрными кудряшками волос, он казался ненастоящим — не могло в её сером и опасном мире оказаться такого удивительного существа.

Топот, раздавшийся с окраин, казался пулемётной дробью, далёкий вой ввинтился в уши железными ржавыми шурупами, от страха у Мариуш судорогой свело тонкие бледные губы. Мальчик заплакал ещё горше — в его мягких и детских чертах она разглядела собственный крупный нос, собственные чернявые кудри и собственные глаза — карие, но беззащитные и просящие,

искренние и детские. Мариуш, затравленным волчонком смотрящая на этот мир, давно не встречала таких по-настоящему распахнутых глаз.

Она успеет. Если сейчас сорваться, перепрыгнуть с осыпающегося пола с дотлевающими остатками мягкого ковра с коричнево-багровым рисунком, если зацепиться рукой за выступающий железный прут, на котором ржавчина скопилась хлопьями, если перескочить через провал вон там, где время зализывает из памяти ржавый остов автомобиля, она успеет схватить мальчика и скрыться с ним в провале. Она его спасёт. Прыжок, прыжок, вытянутая рука и вот он, тёплый, мягкий, плачущий и доверчиво жмующийся к девочке.

Человечек. Такой же, как она.

Но она не готова! Ей нужно найти еды, умыться чумазое, запорошенное светлой пылью лицо в холодном источнике и спрятаться, пока черная ночь не упадет тяжелым занавесом на землю, похоронив под собой незадачливую девочку, которая умудрилась выжить на этой проклятой земле. Мариуш дернулась, чувствуя, как на глаза наползают слезы — она не плакала уже так давно, что почти забыла, как это. Последний раз она плакала, когда не стало мамы — улыбчивой тихой женщины с тонкими седыми волосиками, скрепленными заколкой с синими пластиковыми камнями, с бесконечно теплыми руками,

которая всегда сжимала в объятиях Мариуш крепко-крепко, так, что аж кости трещали.

Девочке было страшно — маленькая, она сама едва справлялась. А тут мальчик. Крошечный, плачет, привлекает внимание. Внутри всё рвалось, не зная, как поступить. Ей до смерти хотелось погреть руки, заиндеветь от всей её жизни в этом серо-черном царстве с жадными, клыкастыми тварями, о его беззащитное тепло, но он такой маленький, и она сама — такая юная ещё, несмышленная, она не справится, это так тяжело...

Мариуш вплавилась в бетон, вжалась в него всем телом, зарываясь лицом в тяжелое пальто, сдерживая дыхание в лёгких. Словно почувствовав это, мальчик закричал ещё громче, словно бы не мог простить ей этого малодушного предательства. Тонкий, писклявый, робкий голосок.

Цокот когтей — скрюченных, чёрных, длинных, почти с ладошку Мариуш. Торжествующий рык, почти вопль счастья, детский захлебывающийся плач. Секунда — и мальчишка поперхнулся собственным криком. Затих. Квэсцио с яростным и влажным клекотом принялись пировать, а Мариуш показалось, что на её лицо попали прожигающие кожу горячие багровые капли. Она стояла далеко, так далеко, что не дотянуться, на самой верхушке мира, отсечённая от неба и жутких тварей одним потрепанным пальто, в

котором кто-то мог встречать жену из роддома, увольняться с работы или пить в гаражах с друзьями, а в ушах у неё всё ещё звенел обиженный плач мальчишки с её собственными глазами и торжествующий, хлюпающий рык самых настоящих монстров.

Она дождалась, пока они уйдут — кровожадная стая с жилистыми и худыми телами, а потом, не глядя на ту сторону, где минуту назад плакал розовощёкий мальчик, принялась оглядывать пути для вылазки. Девочка старалась гнать от себя мысли, занозой засевшие внутри. Ей до смерти нужны были продукты — ржавеющие сплюснутые банки с ярко-жёлтыми зёрнышками кукурузы, баклажки тушёнки с плавающими жиринками на поверхности, рваные пакеты с сахаристыми кукурузными палочками. Хотя что-нибудь. До ближайших руин магазина, где когда-то продавали душистое лавандовое мыло и вишнёвые пряники, было далеко. И два пути, развилка, на которых она постоянно оказывалась и которые так не любила. Она могла вскарабкаться вверх — высоко, она может сорваться и сломать себе что-то, а тогда квэсцио с удовольствием попируют ею, оставив лишь белые обглоданные косточки. Или не сорваться, и тогда ей никак не встретиться с этими кровожадными тенями. Другой путь — пройти через площадь, на которой всё ещё стояли загибающиеся тележки из-под

мороженого, а мраморные львы, посыпавшиеся с крыши, лежали на спине, как поверженные домашние кошки. Этот путь был более опасным, судьба грозила ей попаданием в провал, где бушуют подземные реки, в ямы, где скопились тысячи истлевших скелетов, в лапы квэсцио. Но так быстрее. И шансов, что у неё всё получится, гораздо больше.

Но Мариуш ненавидела рисковать — она боялась того, что может вынырнуть из-за угла, и согласилась бы скорее на разбитые коленки, чем на неизвестность. Девочка предпочитала сутки просидеть в своей крошечной пещере, прищуренными глазами выглядывая и принюхиваясь к слабому дуновению ветра, но она избегала встречи с квэсцио всем своим нутром. И именно поэтому, выскользнув из-за обвисшего выпотрошенным мешком пальто, девочка подпрыгнула и зацепилась рукой за основание хрупкого хрустального торшера, который раньше дарил свет, щедро разбрызгивая его по сторонам.

Она не одолела и этажа — юркая, маленькая и способная вскарабкаться на любую высоту, девочка услышала поблизости гортанный вой и окаменела, забыв, что после прыжка ей следует за что-нибудь зацепиться. Покатившись вниз, она вскрикнула от боли — удар о пол, неожиданно выскочивший обломок бетонной плиты бьет прямо в лоб, в грудину

упирается рассохшаяся дверца шкафа с одеждой и с треском разрывает свои занозистые объятия. Мариуш упала вниз, пересчитав боками все выступы и выбоины, и рухнула, пробив дверцу, в ворох разноцветной и яркой, но совершенно никому ненужной одежды.

Сильная, но такая испуганная. Маленькая девочка. Всегда только маленькая девочка.

Мариуш села в шкафу, жалобно хныкая, сдирая с себя прилипший сатиновый шарфик, и он разноцветной змейкой юркнул обратно, к друзьям-вещам. Правая рука пульсировала болью и сочилась свежей, ярко-алой кровью, вывернутая нога казалась мягкой и гнущейся во все стороны, на лбу неведомым плодом набухла крупная шишка. Девочка с трудом выбралась из шкафа и поспешила к собственному лазу, уже слыша, как выстукивают её прощальную песню когти квэсцио по дороге, из которой сухими пучками пробивалась упорная бесцветная трава.

Она могла бы успеть — проворно забраться наверх даже с выкрученной ногой, и ни один клыкастый монстр её никогда бы не достал, и тогда был бы шанс найти хоть немного продуктов — от голода желудок девочки прилип обвислым мешком к ребрам и перекачивался внутри дрожью. Ей нужно было просто сделать шаг вперёд, но она снова испугалась, лишилась головы из-за утробного рыка и побежала

вниз, не слушая доводов разума. Снова сдалась, даже не начав карабкаться.

У самого лаза она столкнулась с ним лицом к лицу — маленький, щуплый, с налитыми кровью глазами и мелкими, почти светлыми зубами, он покачивался на тонких ногах и смотрел на неё с не меньшим испугом, чем девочка на него. Мариуш, прижимающая к груди рассечённую руку, хватающаяся тёмными пальцами ног за выступающие обломки бетона, замерла, скорчившись, не в силах отвести взгляда от его впалых боков, коричневого тела и тяжёлой морды с мощной челюстью. Так они и стояли, вперившись друг в друга пустыми от ужаса взглядами.

Квэсцио, непропорционально маленький и тщедушный, наконец издал какой-то звук — странный, блеющий, горловой, и девочку сдуло как ветром — не чувствуя боли в вывернутой ноге, она проскакала по рукотворным скалам и запрыгнула прямо в свой каменный мешок, в последнюю секунду ощутив, как на её голове сжимаются челюсти, как зубы впиваются в тонкую кожу, как в глубинах груди рождается крик... Нет. Показалось — она зацепилась кончиком уха за выступающий металлический прут, о который всегда опасалась пораниться, а ещё и отбила пятки, приземляясь в своём узком, но глубоком убежище. Села, скрестив ноги и обнимая себя тонкими ручонками, затравленно

глянула наверх, где, перегораживая далеко скрытое за тучами солнце, виднелась крупная челюсть маленького хищника. Она молчала, дыша через раз, выпивая скопившийся вокруг воздух по капелькам, обматывая порезанную руку куском собственного рукава.

Маленький квэсцио, пару раз сунув крупный влажный нос в расщелину, жалобно заскулил, пригибаясь на тоненьких, неустойчивых лапках, и лег рядом, прижимая к голове изорванные перепончатые уши. Появившаяся стая обошла его кругом, гогоча что-то на своём языке, пару раз ткнулась носами ему в бока, подбадривая. Малыш заскулил что-то невнятно, а потом, смирившись, поднялся и робко побрел за остальными в дальний конец города.

Там, далеко за горизонтом, за крепкими каменными воротами, теплилась жизнь — люди стучали молотами по наковальням, плавили металл и плели лапти. Мобильные телефоны, трещащие что-то неразборчиво телевизоры, пластиковые окна — все они остались для людей чем-то вроде маловразумительного сна, и каждый раз, выходя на крыльцо, они с удовольствием вдыхали серый безвкусный воздух, трепали по загривкам квэсцио, которые, не чуя чужого страха, пригибались низко к земле и почтиительно опускали морды, пряча острые жёлтые зубы за куцыми губами. А потом люди шли

к станкам, к чахлым стеблям пшеницы, к колодцу, из которого ароматная прохлада мягко ласкала щеки.

Маленькая четырехлетняя Мариуш, забившаяся в свою пещеру, ничего о них не знала. А если бы и знала, то вряд ли бы пошла. Она была одиночкой — привыкла сама карабкаться наверх, сама искать хилые оставшиеся крупницы еды и сама прятаться от кроважадных монстров, но сейчас эта сильная девочка, которая однажды распоролла хищнику горло ножом, которая могла неделю питаться упаковкой растолченных до трухи затхлых сухарей, которая только что вправила вывихнутую ногу, не сдержав мелких едких слез, сидела, глядя на серое пятнышко света под потолком, и молчала.

Молчала. А в её черных глазах отражалось серое небо — молчаливое, бесстрастное и холодное. В животе было пусто и гулко, а завтра ей придётся повторить всё сначала — забраться и спрятаться под пальто, ставшее родным, затем — по разрушенным этажам, по выступающим зазубренным обломанным пролётам, по прохудившимся крышам. Она жила в этом мире, казалось, уже тысячу лет, и следующая тысяча была уже не такой страшной. Не такой страшной, как хищный оскал квэсцио.

А потом тонкие, пергаментные веки закрылись, переплетаясь иссиня-черными ресницами, и девочка затихла, обнимая

себя сильными ручонками. И серый свет померк, сдаваясь под напором ночи.

В коридорах было пусто и темно — чернота, налившаяся глубокой и насыщенной синевой, заливала гулкие мраморные полы и однотонные казённые стены, выкрашенные равнодушной салатовой краской. Единственным источником света оставалась лампа на сестринском посту — маленькая оранжевая лужица света мягко щекотала тонкие девичьи руки, которые торопливым и неразборчивым почерком заносили что-то в журнал. Скрипела дешёвая ручка, рвалась тонкая бумага, чертыхалась девушка. Надоедливо пищал, возвещая о приходе сообщений, её крошечный телефон.

Поморщившись, Наташа, облаченная в надоедливый и застиранный белоснежный колпак, почесала ногтями переносицу, выдвинула лоток с лекарствами, пересчитала таблетки и вновь вернулась к записям. Напротив конторки в затянутое мраком стекло билась муха — возмущенно жужжала, отлетая подальше, и снова ударялась о стекло, не понимая, почему не может покинуть этого коридора, насквозь пропахшего мочой и горькими лекарствами. Оторвавшись от путанных и бессмысленных записей, девушка смерила муху почти завистливым взглядом, встала, потягиваясь и сонно

моргая, а потом распахнула настежь окно, впуская в коридор звуки и запахи летней ночи — далеко пронесшийся мотоцикл, восторженные крики пьяных свободой подростков, звук бьющегося стекла. Отходящий от полуденной жары асфальт пах остро ипряно, астры под окнами склонились, обмякнув, но всё ещё сочась сладостью. Девушка вдохнула ночь полной грудью, даровала мухе свободу и тихонько прикрыла окно, звякнувшее почти обиженно.

Вернулась напарница. Леночка, маленькая, худая, с некрасивой родинкой на подбородке, из которой торчали чёрные жёсткие волосы, она шла по коридору тихонько, чтобы не потревожить чей-то хрупкий сон, не касаясь пола пятками, а потом присела на качающийся скрипучий стул, стянула с головы шапочку и прикрыла синевато-бледные веки.

— Кто? — тихонько спросила Наташа, подсовывая напарнице ириску в желто-коричневой мягкой обертке. Та сноровисто развернула фантик, сунула конфету в рот и выдохнула нервно:

— Бабушка из пятой. Два часа сорок три минуты. Сердце, наверное.

— Так она уже древняя была, — фыркнула Наташа и низко склонилась над журналом, в полумраке щуря близорукие глаза.

— Всё равно жалко, — тихонько пробормотала Леночка, раскусывая во рту ириску. — Хорошая бабушка. Стихи мне на латыни читала. Плакала, когда к её соседу дочка с маленьким внучком пришла, а потом отвернулась и не разговаривала со мной. Жалко...

— Родственники есть? — пропустив чепуху молодой и только приступившей к работе наивной Леночки, Наташа снова поскребла ногтями переносицу и вгляделась в буквы, сама не понимая, что написала пару месяцев назад. — Нету. Одинокая бабушка. Звонить и забирать некому.

— Опять под табличкой похоронят, — жалобно вздохнула Леночка, глядя пустым взглядом в окно. — Она в последнее время уже без сознания была. Погрузилась куда-то далеко-далеко в себя. Но ей хотя бы не было больно, там, наедине с собой. И не страшно.

— Откуда знаешь? — спросила язвительно Наташа и потёрла воспаленные глаза тыльной стороной ладоней. — Быть может, там, внутри, страшнее всего. Одинокой, никому ненужной... В чужую голову не заглянешь. А до собственного погружения нам ещё далеко.

Она усмехнулась небрежно, вставая и снимая колпак с коротких рыжих волос, убранных за топорщащиеся уши. Леночка молчала, обхватив себя тонкими, слабыми руками и

закусив губу, словно пыталась понять, куда же всё-таки погрузилась одинокая бабушка Мариуш, читавшая ей стихи на латыни.

— Если будешь о каждом горевать, «горевалка» быстро выдохнется и пойдешь яблоки продавать на рынок. Хочешь?

— А кто о ней горевать тогда будет? — неожиданно злобно огрызнулась прежде кроткая и тихая Леночка, а потом испуганно уткнулась глазами в остро пахнувший хлоркой пол.

— Уж не ты — точно. — Повысила голос Наташа, расправляя плечи и упираясь руками в бока. — Не твоего ума дело. Тебе надо уколы ставить, переворачивать и подмывать. Не привязывайся. Они постоянно будут умирать — тут одни старики, чаще всего одинокие и заброшенные. Что, о каждом слёзы лить будешь?..

— Не буду.

— И молодец. Чаю хочешь? Анька оставила, из другой смены. Чай сумасшедший — чёрный, с шиповником — прямо ягодки всплывают в кружке. Отлично успокаивает нервы и мешает оплакивать всех подряд.

— Давай. Но позже. Я подремать собиралась.

— Спи, пока тихо. Это дело редкое, — развернувшись, Наташа ушла в туалет, набирать из-под ревающего монстра кра-на холодной воды в чайник. Звонкий стук её каблучков

эхом отдавался в коридоре, чьё-то надсадное и тяжёлое дыхание вырывалось из первой палаты и окутывало юную Леночку, безразлично и монотонно пищали приборы.

— Спасибо, что помогаешь. Спокойной ночи, Наташа.

— Нельзя такое говорить на смене! Сплюнь! Иначе будет настоящий апокалипсис. Учись, пока я жива.

Сморщенная и высохшая Мариуш лежала в палате, накрытая бледным саваном простыни, и ее впалая грудь больше не вздымалась тягостно и нехотя, напивая тело очередными бесполезными глотками прогретого летнего воздуха. Чёрные миндалевидные глаза ввалились, массивный нос заострился, тонкая седая косичка спокойно струилась по плечу. Маленькие, но крепкие ладошки чуткая Леночка сложила на груди пожилой женщины, и теперь она словно бы молилась за то, что не смогла отмолить при жизни. Исчезли квэсцио, пропал морок маленького пухлого мальчонки с богатырским плачем, растворился мираж разрушенного и занесенного пеплом города, не болела рассеченная правая рука, которой она столько всего хотела сделать в юности, но так ничего и не сделала, всё время чего-то боясь.

Больше бояться было нечего. Тишина стала её домом.

Спокойной ночи, Мариуш. Спокойной ночи.



Михаил ЧЕРВЯКОВ

«НО В ТЕБЕ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!»

*Михаил Червяков родился
в 1984 году в Калуге.
Окончил институт
менеджмента, маркетинга
и финансов. Сменил много
видов деятельности:
от похоронного бюро
до техподдержки. Ныне
работает в типографии.
Печатался в журналах
«Петровский мост»
и «Молодёжный вестник»
(Литецк), в альманахах Перми,
Иванова и Воронежа, в Канаде.
Автор сборника стихов
«Характер». Лауреат форума
им. Н. Гумилёва «Осиянное
слово», театрально-
поэтического конкурса
«Эвтерпа» и др.
Живёт в Литецке.*

ОТЧИМ

— Прошу: уйди! И больше нас
не мучай!
Я её сын, и моё мнение нужно
учитывать.
Если в жизни все полагаются
только на случай,
То мне тут тогда на что
рассчитывать?
Вдыхаю рывками терпкий
запах перегара.
Наверное, всё же я ещё
слишком мал,
Потому и закрываю лицо от
его ударов,
Пытаясь понять, что я не так
сказал.
И вспомнил... вспомнил, как
однажды
Убегал от него босиком по снегу,
И была у него неутолимая
звериная жажда,
А у меня — ни суперсилы, ни
оберега.

И, продолжая держать ладони
у лица,
Пока в доме телевизор орал
посреди ночи,
Я понял одно: что хуже
пьяного отца
Может быть только пьяный
отчим.

СЫН

— Ну вот Я и дома.
Здравствуй, Отец!
Рассказать Тебе, как всё было?
А были гвозди, страдания
и венец...
Мне оставалось лишь их
собрать воедино.
И, своей любовью подавляя
чувство мести,
Я им кричал: «Не надо со
Мной так,
Как с манекеном на краш-тесте».
А они в ответ: «Разожми-ка
кулак...».
Но все эти шрамы побелеют
к маю
И будут напоминать только
о любви.
Так что — бейте! И пусть вас
не смущают
Сейчас слегка влажные глаза
Мои.
А когда Меня уже прижали
к кресту,
Тут-то всё и собралось в одну
картину...
— Здравствуй, Отец! Я забрался
на высоту,
Которая немногим под силу.

ПРО ОТЦА

Прежде чем о капсюль ударит
судьбы боёк,
В его голове мыши сгрызут
проводку.
Налей ему в стакан воды, и он
превратит её
Не в вино, а в водку.
После чего поведение его резко
меняется,
А вместе с ним и жизненный
уклад семьи.
Но пока он на своё имя ещё
откликается,
Скажи ему, какой он хороший,
и обними.
— Но не надо говорить мне
таких добрых слов,
Ведь я не способен, сынок,
плакать.
И устыдиться своих поступков...
Я не готов,
Чтобы меня совесть таскала,
как собака.
Но я хотел бы рассказать тебе
столько всего...
И плачет, а слюни текут, как
чёрный гудрон.
Да, он хотел бы, чтобы ты
был лучше него.
Ну или хотя бы чтобы не был,
как он.
А утром он пачку с чаем
распаковывает
И думает: чего только не
скажешь спьяну.
А жизнь все подсовывает
и подсовывает
Верёвки под гроб, чтобы
опустить в яму.

ПТИЦЫ

У влюблённых есть
воспоминания,
Которые никогда не померкнут.
А какие они преодолевают
расстояния —
Это видно только сверху.
И всё это неподдельно и честно
У птиц — в отражениях глаз.
Чьи полеты с места на место
Плавно перерастают в затяжной
экстаз.

Но от тебя это за очками скрыто.
А снять их тебе ничто не мешает.
Ведь превышения лимита
По этому предложению
не бывает.
...И кричат тебе: «Полетаем
давай!

Росчерк сразу оставляя следом». И там, где у одних блю ская, У других там голубое небо.

ДЕРЖА ТЕБЯ ЗА РУКУ

Всё сразу увиделось в истинном
свете,
Как только сомнения исчезли.
И влюблённые, как маленькие
дети,
На небо... нет, не полезли,
А оттолкнувшись, прыгнули
выше головы.
И встречные птицы разлетались
в панике.
А под ними простирались
зелёные ковры,
И на верёвках сушились
пододеяльники.
Но от всего мира не спрячешься
тут.

И на розовом фоне два
очертания
Прыгали с батута на батут,
Взявшись за руки. Преодолев
расстояние
И надышавшись воздухом
с запахом дыни,
На землю спустились. И там
В кармане щепотка золотой
пыли
Напомнит о прогулке
по облакам.

ЦВЕТ МОРЯ

ВОТ ОНО — САМОЕ НАЧАЛО
ДЛЯ СТИХОТВОРНОЙ СТРОКИ.
КОГДА ВОЛНОЙ НАКРЫЛО ОДЕЯЛО,
РАСПАХНУЛИ РАКОВИНЫ ЯЗЫКИ.

ЭТО СЛОЖНАЯ ЭМОЦИЯ, ТОНКАЯ.
СЖИМАЮ КОЛЬЦО С КЛЮЧАМИ,
ПРОСТЫНЮ НА ДНЕ КОМКАЯ,
ПОРОСШУЮ КОРАЛЛОВЫМИ КУСТАМИ.

подставляешься нужным местом
в желании испытать приятное,
для ключа в сундуке разрез там,
сокровище в сумме кратное...

и за пределы — через живот
сознание ушло далеко за буйки.
у рыб, открывающих пересохший
рот,
от оргазма хлопают плавники.

вынырнув на жаркий берег юга,
от любви сделавшись солёными,
лежим и смотрим друг на
друга —
я голубыми, ты зелёными.



Александра ШАЛАШОВА

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕВОЧКИ»

Рассказ

Памяти А.Е.Р.

Александра Евгеньевна Шалашова родилась в Череповце Вологодской области. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Работала учителем русского языка и литературы, вела детскую театральную студию, репетиторствовала. Автор двух поэтических сборников. Печаталась в альманахе «Пятью пять», журнале «Сибирские огни». Автор текстов и вокалистка рок-группы «МореЖдёт». Живёт в Москве.

* * *

Сколько минут от института до магазина? Десять.

Добежишь за семь.

А если на пару торопишься — за пять.

Я иду медленно.

В Усть-Илимске знакомых бы встретила в очереди. Здесь — никого. Только девочка с короткими белыми волосами — пятикурсница, взрослая, и мы не здороваемся.

«Пятьдесят шесть рублей», — говорит кассирша. У неё пудра от тепла потрескалась, расползлась. Сколько ей ехать до «Магнолии»? Час, полтора? Утром села перед зеркалом, стала краситься, обвела веки густо карандашом.

«Пятьдесят шесть рублей. Ваши сто. Карта магазина?»

У меня нет. Воду не беру, потому что в столовой можно

достать кипячёной. Сдачу пересчитываю и убираю в карман. Кассирша считает лучше, но мама приучила, что — обязательно, до копейки, не отходя от кассы. В её время в магазинах объявления висели.

Остаётся сорок четыре рубля, но дома есть рис.

Обратно иду быстро, потому что хочется есть.

Из-за пары в буфете никого — Маша сидит за прилавком, смотрит в телефон.

— Нальёшь кипяточка? — показываю «Роллтон». Маша хорошая — кивает, убирает телефон в карман и щёлкает кнопкой электрического чайника.

— Прогуливаешь, Кристя? — Маша старше нас, но в курилку бегает. У неё чёрные волосы с отросшими серыми корнями. Не то выцвели, не то поседели к тридцати.

Улыбаюсь — знает же, что не прогуливаю. У Маши грустные глаза с размазанной чёрной подводкой.

Возвращает горячий пластиковый стаканчик с лапшой. Пахнет острым, горькими специями, маслом. Ухожу к столикам — они шаткие, коричневые, липкие — Маша не вытирает, хотя и хорошая. Платят мало — тысяча десять или двенадцать, поэтому она только продаёт сосиски в тесте и растворимый кофе, листает фотографии в Instagram.

— Надоело мне, — жалуется Маша, когда я подхожу ещё

раз за пластиковой вилкой.

— А что?

— Да толпа ваших надоела. В очереди стоять не могут, на скакивают друг на друга. Здоровые лбы, восемнадцатилетние.

— Перемены короткие, бояться — не успеют.

— За пятнадцать минут успеть можно. Уйду из этого цирка, Кристя. Вчера зарплату получила.

— А почему?..

— Я же на больничном была. Они и посчитали. Девять. Девять, Кристя. За этих придурков, которые сторублёвками в лицо тычут, — девять. К чёрту.

— И куда?

— Да в «Спортмастер», на склад. На упаковку. Обещают двадцать. И не видеть никого.

Я представляю, как вместо Маши придёт другая — и не грустно совсем. У другой тоже будет короткая джинсовая юбка, чёрные колготки, красная водолазка. Может быть, ей будет пятьдесят.

Может, ей будет двадцать.

— Кристя, а тебе подработку не надо?

— Какую?

— Пошла бы на моё место. Студентке ещё и лучше — и так целый день в институте. Только пораньше с пар придётся уходить, чтобы успевать разложить тут, кофе по стаканчикам рассыпать. Не хочешь?

Я достаю вилку из пластикового стаканчика. Девять. Ей

насчитали девять — наверное, должно было быть больше — пятнадцать там, шестнадцать. И я могу заболеть. В прошлом году три раза болела, сильно. Мама свечки ходила ставить, хотя в другое время не верила.

В буфете пахнет «Нескафе» с сахаром и сухими сливками, средством для мытья посуды, тряпкой — далеко от аудиторий, где слушают лекции, вертятся перед зеркалами, растягиваются, кокетничают, расппеваются; далеко от коридора, где кричат звериными голосами, на все звериные голоса.

И только в перемену толкаются здесь, греют гречку в микроволновке, мешают ложками сухофрукты в компоте.

— Не знаю. Когда надо решить?

— Через неделю, Крестя, край. А там наймут таджичку.

Смогу ли встать сюда вместо неё?

«Роллтон» остыл, но вкусно — десять минут до перемены, не хочу быть одна.

Я не одна.

За соседним столом сидит мужчина. Перед ним бумажный стаканчик с кофе. Этот невкусный горький кофе, словно автомат в холле наливает жёлуди, полынные листья, чёрную землю, небо над Люберцами. Пьют с тремя ложками сахара. Морщатся.

Мужчина смотрит пристальнее, до всего дело есть — до моих потрёпанных внизу джинсов,

майки без рукавов, нитки бисера на шее. Под взглядом стесняюсь есть, вообще не люблю, когда смотрят, хотя Александр Львович про Фаину Раневскую рассказывал, что ей всё равно было. Я не знаю, кто такая Фаина Раневская; наверное, была красивая женщина, а теперь старая, как Александр Львович.

Ему, наверное, под восемьдесят.

В деканате сказали — в больнице. Но адреса не дали. В мае ждите.

Я жду. Ставят замены, приходят чужие люди. Одного видел на вступительных — он сидел и слушал, как я читаю «Балладу о прокурённом вагоне», но посреди стихотворения поднялся и ушёл.

Не по себе. Взгляд мутновато-зелёный, неяркий — и прожилки красные по глазам, точно плакал или не спал.

— Что?

Я опускаю ложку в пластиковый стакан с «Роллтоном». Остынет — плевать. Не хочу, чтобы так. В столовую потихоньку входят ребята.

— Ничего.

Невозмутимый. Он седоватый, небритый.

— Хорошо.

Может, чей-то папа?

— Позвать вам кого? Сейчас перемена будет.

Качает головой и пьёт кофе. Показалось. Нет, никто не нужен. И чёрт с ним. Лапша

остыла, и есть от злости не хочется. Но ем, потому что иначе к вечеру будет больно тянуть под ребрами.

В столовую потихоньку заходят наши — выпавшие, тихие. Кто с кофе — таким же, из автомата, кто с «Адреналином».

В дверях Анька — рыжая, маленькая. Говорим только по случаю, как-то не сложилось с первого дня — но хочется перестать от мужчины. Тяжело.

Поэтому улыбаюсь и встаю. От «Роллтона» горячая вода на донышке осталась.

— Привет. Будет мастерство?

— В деканате сказали — будет.

— А кто заменяет?

— Да непонятно пока, аудитория закрыта, — Аня пожимает плечами. — Слушай, ты же куришь?

— Иногда, — вру.

— Сходишь со мной? Ещё пятнадцать минут есть.

Да и опоздать можно. Александр Львович злился, ругался — раз дверь на замок закрыл и посматривал через стекло, как опоздавшие сидят в коридоре. Я тогда тоже опоздала. Можно было и уйти, не сидеть на полу, положив на бетон папки и тетради. Но никто не ушёл.

Чужие педагоги терпели.

В курилке людно — становимся прямо над мусорницей, пахнущей апельсиновыми корками и размокшими сигаретами. Курят звукорежиссеры,

ругают, сидят подолгу, выясняют своё. Все старшекурсники.

Вокалисты не курят, а если и курят, то где-нибудь за стадионом — нельзя. И только наш актёрский полным составом, всегда-всегда. Без курток, потому что тётя Юлдуз, узбечка-гардеробщица, между парами одежду не даёт. Её прозвали тетей Юлой, хотя совсем она не похожа на юлу — медленная, тучная. Не вертится, сине-красно-пёстрыми полосками не мельтешит — тусклая, бесцветная. Носит длинную серую юбку с лосинами и шерстяными носками. Всегда в цветных сланцах на маленькой платформе. У неё странные ноги — толстые там, где даже у самых толстых женщин бывают худыми.

Я решила — такая болезнь, не заразная, просто от старости, и перестала обращать внимание. А девчонки смотрят, морщатся.

Тётя Юла со слоновьими ногами.

Переглядываются.

Раз, ещё в сентябре, мне захотелось выйти на улицу после первой пары — не курить, просто. Моросило, и я подошла к гардеробу — подала деревянный номерок: «А можно курточку?»

Тётя Юла сидела возле тумбочки со старинным дисковым телефоном. Не оборачиваясь, сказала: «Не, одежда не даётся,

нельзя. А то вы бегать курить много». Потом наклонилась низко над газетой и стала медленно писать какое-то слово.

Я постояла и пошла под дождь в блузке.

Я думаю, что не от злобы к нам, — велели.

Мы стоим с Аней, и я курю её сигареты. Нужно потом жвачку попросить у кого и духи — волосы забрызгать.

Дома у тёти не курят. «У нас, Кристиночка, так заведено. И тарелку ты уж, пожалуйста, помой сразу».

— Через неделю сдаём отрывки. Знаешь? — говорит Аня. — В расписании написано.

— Те, что с Александром Львовичем готовили?

— Ну. Других нет.

— А кто отсматривать будет?

— Чёрт знает. Я бы уже сдавала и ушла на лето. Пускай в каникулы нам нового мастера ищут.

— Он выздоровеет.

— Нет.

У Ани длинные растрепанные рыжие волосы — не расчесешь. У корней отросли тёмные.

— Его домой выписали. Но в институт не приходит. И не придёт.

— Откуда знаешь, что домой?

— Услышала, что в деканате говорят.

А вот Аня его слушала. Может, он ей её деда напоминал?

Отрывки он так распределил — случайно. Нам со Славкой маленький диалог из «Трёх сестёр». Скучный. В школе читала.

Я спрашиваю.

— Да ну, какой дед? И не знала его почти.

Аня — москвичка. И странно: думала, что у москвичей такого не бывает, что они должны знать дедов-прадедов. Что у каждого квартира на Садовом кольце, белый широкий подоконник, голубые ситцевые занавески.

— Адрес можно узнать, — говорю, — легче, чем больницу.

— Какой адрес?

— Домой-то можно прийти.

Аня молчит, выбрасывает окурок.

— Давай сходим. Если ребята захотят.

Я смотрю на телефон — 12:15. Пора. Идём мимо тёти Юлы, мимо охранников, мужского туалета, пахнущего хлоркой: каждое утро приходит девушка-узбечка, о чём-то быстро говорит на своём языке с тётей Юлой, наливает воду в ведро и идёт убираться.

В аудитории шумно — опаздывают с перемены, доедают яблоки, просят списать английский. Но преподаватель — вижу со спины его — молчит, не возражает.

Замолкают потихоньку.

Ане место заняли подружки, и она шепчет: мест нет, Крестя, стул принеси.

Я выхожу в коридор — там вечно какие-то стулья стоят. Но возвращаюсь в тишину, в ожидание. Ставлю стул последним в ряду, но он глупый и железный, и громко стучит по линолеуму.

— Знаете первое упражнение, которому учат молодых актёров? — спрашивает преподаватель. У меня.

У него полголовы в седых волосах и зеленовато-мутные глаза.

Нет, говорю. В столовой показалось, что он недавно плакал, а сейчас, при ярком из окон — нет, не плакал. И голос весёлый. Я злюсь на себя. Надо было понять, что преподаватель. Спокойно сидел, расслабленно, по сторонам не озирался.

— Вставайте. Все.

Ждёт. Переглядываемся, недоумеваем. Встаём. Славка встаёт медленно, последним. От него сильно пахнет «Ягуаром».

— Сейчас каждый возьмёт стул и поставит к стене. По хлопку принесёте обратно, но так, чтобы я не слышал. Начали.

При Александре Львовиче мы вставали редко, только когда он вспоминал, что нужно делать упражнения на взаимодействие. В других мастерских давным-давно этюды делали, а мы только упражнения. Всё медленно. Поэтому к нему домой не идут.

— Начали, говорю! — не

крикнул, нет. Но мы взяли стулья и отнесли к стене. Я поставила под выцветшим плакатом «Умей освободить пострадавшего от тока». На нём рабочий рубит провода топором. По институту много плакатов и стенгазет, потому что до девяносто первого года здесь был Дворец культуры завода, который делал ракеты. Теперь ракет нет — только актовъй зал с бархатной вытертой обивкой.

По хлопку несём стулья обратно, выстраиваем в ряд. Кто-то садится.

Он качает головой.

— Громко. Ещё раз.

Он хлопает.

Я поднимаю стул и несу к плакату «Умей освободить пострадавшего от тока».

На третий раз первый курс факультета актёрского мастерства ставит тяжёлые хромые стулья бесшумно, но никто не садится.

— Теперь я у вас по мастерству, — говорит мужчина.

— Надолго? — это Слава.

Новый педагог смотрит на него и пожимает плечами. На Славе чёрные рваные джинсы и белая футболка, завязанная сбоку в узел.

— Как пойдёт. Садитесь.

Славка стоит.

— С чего вы взяли, что вы? Что по мастерству будете? Уже приходили. Ни один не задержался.

Новый педагог встаёт. У него глаза делаются злые. Он кричит.

— Что я тебе, ровесник? Пошёл отсюда.

Славка теребит узел на футболке и не уходит. Александр Львович выгонял. Да как выгонял — весь этаж слышал!.. Славка уходил и садился под дверь.

— Ты понял?..

Девчонки всполошились — стали хватать Славку за руки, за одежду, усадили. Тихо, тихо. Нам с ним ещё жить сколько.

— Давайте перекличку, — Михаил Вадимович садится. Руки усталые, вялые, повисают вдоль тела, отжили, отговорили.

После пары Аня спрашивает его, что делать с отрывками. Ведь учили, готовили, пусть и без педагога. Что теперь, заново?

— Не надо заново. Покажете за неделю, и хватит, — не встаёт, не поворачивается.

— Вы в следующем году тоже будете?

Он смотрит. Михаил Вадимович. Да, его же Михаил Вадимович зовут.

— Да что ж вы все, — смотрит. — Буду. Если ничего не случится.

— А что может случиться? Как с Александром Львовичем?

— Ну от этого никто не... — он вдруг замолкает, оглядывает меня и Аню. Остальные ушли на перемену, — да, а вы то знаете, как с ним?

— Нет. Навестить собирались, позвонить, да как-то не... — говорю. Аня вдруг больно толкает в плечо. У Михаила Вадимовича глаза становятся ржавыми, грустными.

— Как-то не. Человек полгода болеет. И вы — как-то не? А почему? — встаёт.

Я высокая, на физкультуре в школе первой стояла, но он выше, и не по себе, потому что от него пахнет чёрным кофе с сахаром, нестираной рубашкой — стала различать этот запах, как на Кунцевской поселилась.

— Мы телефона не знаем, — Аня поднимает подбородок.

— Так я дам. Записать есть куда?

Михаил Вадимович говорит цифры. Номер у него почему-то записан не в телефоне, а бумажной записной книжке. Записала, но стою.

Аня тянет за рукав, поворачиваюсь — чего? Кивает на дверь — ушли все, одни остались, а следующая пара — история.

— Пошли?

— Пошли.

Целый день не подхожу к моим девочкам, а всё с Аней. Уж её-то Михаил Вадимович наверняка напугал, когда из-за стола встал и вырос — она меня на две головы ниже.

После пары Аня говорит:

— До следующего мастерства надо позвонить. До четверга.

— Почему до следующего?

— А он спросит — что скажешь?

Нужно ли покупать цветы, апельсины, шоколадки — принято ли? Когда маму навещали, приносили и халву в коробке, и зефир, и виноградный сок. Помню.

— Спросим — можно ли прийти. Скинемся на цветы. Какие-нибудь беленькие. Вдруг шоколад не любит или нельзя, шоколад-то. Старикам многое нельзя.

После четвертой пары отдаём тёте Юле номерки. Она теперь не сидит со сканвордами — преподаватели многие уже домой идут, и администрация тоже. Администрации тётя Юла боится — нет разрешения на работу, устроили из-за мужа — Хабиба. Он охранник.

Хабиб и тётя Юла никогда не уходят домой — на ночь остаются в крохотной каптёрке за раздевалкой. Наверное, там есть диван и обогреватель. Дядя Хабиб в институте много лет, а в прошлом году привёз детей и жену. Он называет её Юлдуз — не Юлдуз даже, сложнее. Я всякий раз пытаюсь разобрать, но не получается.

— Курить? — по обычаю спрашивает.

— Нет, домой, — говорит Аня.

Тётя Юла приносит мою джинсовку и плащ Ани. Он смешной, серебристый — в нашем городе бы засмеяли, а тут

— ничего, молчат. Мода.

Тоже хотела быть модной, но не знала, где продаются плащи — и крохотный розовый рюкзачок с наклейками, и прозрачно-светящийся чехол для телефона, и босоножки на платформе.

Даже её некрашенные волосы наверняка не забытые и не неухоженные, а так надо.

Аня надевает плащ и выходит на крыльцо.

— Звони?

— Здесь?

Тихо, разошлись. Самая пора. Звоню, но не хочу, чтобы он ответил. Не отвечает. Аня просит — перезвони, но не соглашаюсь, потому что боюсь его дочери и врачей. Ответят, отругают. И чего ради беспокоили, ну — пожилого, больного? И что хотите сказать, кроме привычного, надоевшего?

— Не берёт?

Качаю головой. Аня достаёт из рюкзака слоёную булочку.

— Хочешь?

Отщипываю кусочек.

Сейчас идти к метро. Потом ехать до Кунцевской. Потом дожидаться дядю Федю на маршрутке, потому что он берёт с меня не сорок пять рублей, а тридцать — дочку его напоминаю, а где эта дочка — осталась в Иркутске, когда он приехал в Москву с чёрной сумкой пятнадцать лет назад.

Пять из них он водит жёлтую «газель» с застеленным серым покрывалом передним

сиденьем, с маленьким чёрным ротвейлером, вечно качающим головой. Я впервые считала перед ним деньги, доставала из узенького тряпичного кошелька, ошибалась, а он обернулся: — «Ух ты ж, как на дочку мою смахиваешь, прямо не верится. Да вот, погляди». И вытащил из бумажника любительскую нечёткую фотографию — темноволосая девушка, весёлая, ярко покрашенная. Я вовсе не была на неё похожа, но кивнула.

— А сколько стоит проезд?

Водитель убрал фотографию обратно, протёр зеркало заднего вида тряпочкой. Пожал плечами:

— Да неважно, сколько стоит, вот с Юлей не виделся два года, а ты так похожа; может, родственники в Иркутске есть?

— Есть, говорю.

— Меня Фёдор зовут, — говорил водитель, — да не копайся, не ищи. Ну швырни мелочь какую. Что ж я — деньги брать буду? Приезжал к Юле два года назад, борщом кормила, а одни женихи в голове — выросла... Ты такая же?

— Нет.

Он не поверил.

Можно было рассказать про учёбу, отрывки, сценречь, про Александра Львовича. Но на остановке зашли женщины с огромными полосатыми сумками, стали громко переговариваться, устраиваться, шуршать мятыми десятками, спрашивать

остановку. Фёдор объяснял, ворчал, считал деньги.

А я бросила в пластиковый стакан с мелочью тридцать рублей.

Больше не говорили, но каждый день я ждала Фёдора на Кунцевской, хотя он больше не рассказывал про Иркутск, про дочку и её женихов; про жену, которая живёт с продавцом бытовой техники.

— Давай половинку отломлю, — говорит Аня.

— Спасибо, — жуём сладкое, провожаем глазами преподавателей, что успели одеться после четвёртой пары, закрыть кабинеты, сдать журналы.

— К метро?

— Нет, — Аня выкидывает обёртку.

Будет ждать подружек, курить, читать книжку в мятом мягком переплёте — не разглядеть, какую, но я наверняка не читала. Мы прощаемся — иду нагретой узенькой аллеей, шуршу прошлогодними листьями — дворники прибрали, а ветер разметал-встревожил.

Обгоняет Михаил Вадимович, бросает окурок в урну на ходу, идёт рядом — вижу его клетчатую рубашку, тёмные очки — хотя бессолнечно, тускло.

Улыбаюсь ему. Не от радости. Может, и не слышал на крыльце, как мы разговаривали и звонили. Может, Александр Львович только-только хотел трубку взять, да я не дождалась.

Скажет или нет?

— Позвонили?

Качаю головой. Не виновата. Михаил Вадимович кивает — точно знал, и обидно, потому что совсем не так. И от злости, от неверного жеста — выкрикиваю-говорю:

— А вы сами?

Сами-то вы, ну. Сами-то. Ничего. У него спокойное лицо, серое.

— Тебе в общагу ехать?

— Нет. Я снимаю.

Пускай думает. На самом деле родители присылают по пять тысяч десятого числа месяца, а тётя ворчит, что только на коммунальные и хватает.

Молчит.

— Хорошо тебе.

— Да.

Возле метро почему-то обнимает на прощание — как знакомую, как подругу. Ему в сторону центра.

Когда тётя Галя дома — в прихожей пахнет луком, прогорклым, средством для мытья посуды, гнилыми цветами, которые она неделями не вынимает из вазы. Раз тайком выкинула — кричала. Не тебе дарили. Постояли — розы, хорошие, красные. Сто рублей штука. Видела ли ты розы по сто рублей, дарили ли тебе? Не дарили. Раз только, в девятом классе, на Восьмое марта. И то не розы, а гвоздики.

— Уборку надо сделать.

На тёте Гале синий халатик с оборками по подолу и рукавам.

От неё пахнет колбасой и кефиром — уходит рано, приходит поздно, переодевается в синее, а в выходные дома сидит, стирает — вначале замачивает, что пахнет по квартире мокрым хозяйственным мылом, потом крутит в стиральной машине. Развешивает по верёвкам под потолком, на балконе. В моей комнате. Только это не моя комната — мама за неё не платит.

— Полы помыть, пол протереть. Ты долго.

— Ещё домашнее задание делать.

— Да брось, — ласково. Сама тербит тонкие завязки хлопчатобумажного халата. — Кто же в институте домашнее задание делает? Да и какие задания — полаять, собезьянничать кого?

А про себя наверняка другое думает.

— А как родители позволили на актрису пойти учиться — не пойму. Ты что, Орлова?

Я не Орлова и не хочу мыть полы.

— Текст нужно учить. Скоро показ отрывка, а я ещё не...

Она наклоняется и пахнет сильнее — потом, огурцами, наверное, крошку делала — вон на губах жёлтая яичная крошка.

* * *

Зашла в декабре в аудиторию — никого, только Александр Львович с журналом.

— Кристя? — прищурился. Позвал: — Тут фамилии надо вписать, а мне несподручно. Поможешь?

Подошла, села рядом — не заметит, что плакала? — дал ручку, чёрную, с мятым колпачком. Журнал старинный, бумажный.

Он сложил очки, в футляр убрал. У него глаза красные, воспалённые.

— Мне сегодня звонили из деканата.

Я писала фамилию, начинающуюся с буквы «Ш», и забыла, сколько должно быть палочек. Списки — неважное дело. Он мог бы секретаря попросить, любую девочку в учебной части. Ему бы никто не отказал. Но сидел, писал — чёрной ручкой.

Звонили.

Звонили из деканата.

Про меня?

— Они твердят, что ты к сессии якобы допущена быть не можешь. Как же так, Кристя? Что ж ты, учишься плохо? Какие предметы?

— Русский, литература. История театра. Александр Львович, совсем не потому.

Он поправляет манжету рубашки.

— А почему?

— Они и мне звонили. Всё знаю.

— Я не знаю. Ну?

Он встаёт, медленно идёт к окну. Форточка высоко — поднимаюсь, залезаю на подо-

конник, поворачиваю ручку. Створка падает вниз — едва успеваю руки убрать.

— Твержу который год — почините. Да где там.

Прыгаю назад — громко, больно отбиваю ноги. Ругаюсь вполголоса и снова сажусь за стол. Три фамилии остались. Ручка пишет бледно, тяжело — чернила кончаются.

— По предметам помог бы... — машет рукой. Вытирает глаза. Слезятся. По-стариковски совсем.

— Да это из-за денег, Александр Львович. Нужно за следующий семестр платить, а папа денег не прислал.

Папа поселился в нашей квартире, когда мне исполнилось четыре. Когда мне исполнилось десять — уехал в Иркутск. Мама позвонила, рассказала. Что нужно поступать, что педагог в школьной студии сказал: пускай в театральное едет, стихи читает — заслушаешься. Сколько, спросил папа. Это не училище, настоящий институт. Семьдесят тысяч семестр.

— Тронулась, — сказал папа.

— Откуда возьму столько?

— Скинемся. Бабушка добавит. Я.

— Да уж, ты-то добавишь. Зарплату прибавили на заводе?

— Прибавили. Ты пришлешь ей? Хотя на первый год. А за общежитие уж я.

— Посмотрю.

— Ей ехать? Поступить?

— Пусть едет. Мне-то что? Может, не возьмут ещё.

Но взяли, и за первый семестр папа заплатил семьдесят тысяч. А в декабре сказал маме — теперь нет, ждите.

— Не прислал. Сколько надо?

— Семестр здесь семьдесят тысяч стоит, Александр Львович.

— Дорого, — молчит. — Что ж вы все сюда идёте? А? Почему не в Щепку?

Молчу. Он знает, почему. Конкурс. Никто из нас нейдёт в Щепку.

— Ладно. Спрошу дочку. Придумаем что-нибудь, — раздраженно.

— Не надо.

— Что — не надо? Думаешь, они тебя из-за денег не выгонят? Выгонят. Напишут сейчас приказ об отчислении — и гуляй.

— Папа пришлёт. Заработает — пришлёт. Обещал.

Хотя ничего не обещал. Даже не помню, есть у него борода или усы. Волосы — тёмные? светлые? или поседели, как у мамы? Приезжал из Иркутска редко — сидел на кухне и пил воду.

Александр Львович забирает журнал, а в дверь стучатся — время. Заходят наши, рассаживаются. И мне приходится.

На следующий день в бухгалтерии говорят, что оплату внесли.

Дома тёте Гале говорю, что будет межгород — чтобы она квитанцию сохранила. Раз позвонила маме, а ей не сказала. Что было!..

— Мам, я на мастерстве больше не появлюсь. Как ему в глаза? Мам, он семьдесят тысяч отдал.

— Так богатый небось. Он же был актёр известный — им хорошие пенсии платят.

— Мам, ты чего?

— А где я возьму? Бабушка говорит, что ты на бюджет могла бы поступить, да поленилась. Конечно, чего уж лучше — на родительской шее сидеть.

— Мам.

— Ты ученица его. Может, в газете напишут.

А как радовалась, рассказывала подружкам-соседкам — знаете, моя-то к самому поступила, он её мастер будет, вроде как наставник. Соседки вздыхали, припоминали худого юношу из фильмов детства. Играл молодых милиционеров, студентов рабфака, трактористов. Лицо помнили, но имён не запоминали — всё безымянные, хорошие, Василии или Георгии.

А в московских театрах мамы соседки не бывали.

— Никакие газеты про него не напишут. Да и нет сейчас никаких газет. Он не снимается давно, мам. Тридцать лет, мам.

— Но семьдесят тысяч нашёл.

— Дочка. Да и сам откладывал.

Слышу, как мама двигает газеты и книжки по народной медицине на журнальном столике.

— Позвоню отцу, жди. Пятнадцать насобирали.

Страшно, что она занимала. Впрочем, у кого она могла занять?

Папа прислал почтовым переводом тридцать тысяч. Остальные дала тётя Галя. Не знаю, как мама её упросила.

* * *

— Тряпка на ведре, — говорит тётя Галя.

Я знаю, где тряпка. Рассказать хочу, что Михаил Вадимович обнял у дверей метро, и пахло от него нестираной рубашкой, щетиной, кофе, одеколоном.

Когда мыла пол, думала. И когда пошла в комнату, думала. В девять тётя Галя дала двести рублей на завтра — только не транжирь. Думала, смотрелась в зеркало, искала красное трикотажное платье в шкафу. Тушь есть, и подводка, и бесцветный лак — из дома.

Почему-то тётя Галя не напоминает про деньги, которые нужно вернуть.

Утром в «Пятёрочке» покупаю дезодорант с запахом полевых цветов.

Неделя ползёт. Я учу текст на парах.

Сидим в старой аудитории, из которой мальчики вынесли стулья, один ряд только оставили. Михаил Вадимович сидит в центре, наклонив голову. Он сегодня моложе, легче. Он подстригся.

— У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе, — говорю. — Вот точно так.

— Вы с предрассудками?

— Да.

— Странно это, — Слава берёт мою руку и не знает, что дальше.

У дверей — смешок.

— Стоп, — Михаил Вадимович поднимается, — в какой трубе?

— В печной. В печи — труба, — говорю. — Она гудела, когда умер отец. Это дурной знак.

— Ясное дело. А слышала, как гудит в трубе?

— Сейчас?

— Ты сказала — незадолго до смерти отца гудело. Слышала?

Я понимаю.

— Нет.

— Так послушай.

* * *

Через неделю Михаил Вадимович зовёт в гости, и я приезжаю.

— Почему она в Москву хотела? — спрашиваю.

— Как и ты, — потому что знает про тётю Галю, дядю Серёжу, трехцветную кошку, цветастые занавески, половую

тряпку, розы. И что они в июне попросили маму присылать не пять, а шесть тысяч, потому что тарифы выросли, и в «Москве выживать надо». Мама будет присылать. Она устроилась в киоск, газетами торговать.

Я уехала в Москву, когда маму сократили с целлюлозного завода. Был билет на самолёт и распечатка с расписанием вступительных экзаменов. Русский язык, литература. Специальность. Какая такая специальность, сказала бабушка. Вон у матери — специальность.

Была специальность.

— Я не хотела. Я хочу обратно в Усть-Илимск.

Потом молчим.

— Чуть грязновато, — говорит. — Недавно въехал.

На вешалке в прихожей — куртки, рубашки, джинсы: измятые, скомканные. Перехватывает взгляд. Грязновато.

На линолеуме крапинки, следы подошв, мусор. На пороге стеклянная банка, полная окурков. Поднимает и ставит на тумбочку. Пахнет затхлостью и нестираным постельным бельём.

— Посиди немного. На кухне уберусь, — показывает на открытую дверь в единственную комнату. Там диван — собранный, застеленный белой простыней в синенький меленький цветочек, на нём же тарелка и стакан с лимонной корочкой. Сажусь прямо на простыни, а

книжные стеллажи пыльные и пустые.

Михаил Вадимович гремит посудой, льёт воду, заваривает чай. На кресле лежит белая рубашка и блистер с таблетками. Пустырник. Я в детстве тоже пила, но мама в стакане разводила.

— Вот, можно на кухню. Надо было в магазин зайти.

На столе — коричневые чашки из «Икеи» с ниточками от чайных пакетиков. Тёмная заварка уже схватилась, растекается в кипятке. Рядом сахарница, порезанный белый хлеб и половинка шоколадки «Алёнка», разломленная на кусочки.

— Не подумал. Тортик бы хоть купил, — он пододвигает мне табуретку.

— Ничего, — говорю.

Мы пьём чай с сахаром и едим белый хлеб.

— А я играл Чебутькина.

— Кого?..

— Я играл Чебутькина, доктора. В дипломном спектакле.

— Который пьяным спал?

— Всего и помнишь — что пьяным спал? — от чая стали злые глаза, тёмные. — Так вы читаете?

Молчу — чая на донышке осталось.

— Фамилии такие смешные, разве запомнишь? Разве могут звать человека Чебутькин?..

— Ничего, запомнишь. Потому что сейчас отрывки возьмёте, и его же дипломным сыграете. Старик другого не придумает.

— Может, другой на диплом даст. Ещё долго.

— Как же, держи карман. Группа большая, парни неяркие.

Ставлю чашку из «Икеи» на стол. Почему старик? Откуда взялся старик? Он к нам не ходит. И не будет ходить.

Теперь мы — твоя мастерская, мы — твои, не отвертись.

Михаил Вадимович понимает. Встаёт, доликает кипятка в обе чашки. Чай остаётся крепким, густым — мы не вынимали пакетики «Майского».

Достаёт сигареты — будешь?

— Можно тут разве?

— Можно.

Обои сероватые, будто курили в кирпичной пятиэтажке шестьдесят лет, а потом наскоро помыли паркет, покрасили белым подоконник, купили чашки, вилки, кухонное полотенце — и стали сдавать, только почему-то дольше года тут не задерживаются.

— Вы можете на диплом любой другой дать. Любой, хоть современный. Можете.

Молчит. Потом:

— А твой Усть-Илимск?

— Что?

— Там и вправду хорошо? Вернуться хочешь? — не ждёт ответа. — Видела фильм «Односельчане»? Семидесятого или какого-то года. Видела?

Я, конечно, видела — каждый год показывают. Александр Львович там нестарый ещё, гладко выбритый. Он там

майор. Он случайно садится в трамвае рядом с женщиной, которую много лет назад провожал из сельского клуба домой. Имени не спросил. Запомнил волосы — мягкие, рыжие, растрёпанные.

А там и армия, не до того стало.

Теперь её волосы стали короче, темнее, да и сама — спокойнее, тише. Но по волосам узнал. Да, замужем давно. Старшему двадцать два года, младшему — четырнадцать.

У самого жена хорошая, ласковая. Детей Бог не дал, зато работа. На будущий год, глядишь, и подполковника дадут.

Женщина вышла на остановке возле универсама, а он поехал дальше.

Все женщины Советского Союза на этом месте плакали. Мама тоже. Я говорила — наверняка и у тебя был такой же майор, который в молодости с танцев провожал. Напиши, найди его. Папа в Иркутске. Восемь лет. Ещё восемь станешь ждать?

— Так вы тоже такую женщину в трамвае встретили?

— Какую?.. Да причём тут? Когда я пришёл к нему в мастерскую, Александр Львович майором этим и оставался. Долго.

Я и не знала. Ученик. Доктора Чебутыкина играл. Что значит — оставался майором?..

— Ладно, пойдём, — он ставит чашки в раковину и включает свет на кухне.

* * *

Мы переодеваемся в длинные шёлковые сорочки — дали в костюмерной. Ещё шаль с крупными кистями, а Ане — платок. Ходим по коридору, привыкаем. Девяти нет — институт полупустой.

Аня сегодня — Ольга. И давно была, с той недели. Строгая, тоненькая. Волосы забрала в пучок.

Мы заходим в аудиторию и снимаем балетки у порога, потому что уборщицу нарочно просили вымыть тщательнее — вроде как сцена, и чёрные ширмы принесли.

Ширмы испачканы мелом. Мальчики не переодевались — Слава сидит в телефоне, волнуется.

— Не пора? — смотрю на его белые шорты.

— Да что там? — отмахивается. — Час.

— На меня погляди.

Поднимает глаза, протягивает руку — трогает шаль. Она гладкая, тёплая.

— В старуху обрядили.

— И пускай. Тебе-то что?

— Ничего. А слышала?

— Что?

— Не слышала... — Слава не поднимает головы, смотрит в телефон, листает. Не обижаюсь.

— Весь «Фейсбук» горит. Даже тётя Юлдуз в курсе.

— Меня вчера не было дома.

— Говорят, что наш факультет в другое здание переселяют. В Алтуфьево.

— А где это?

Слава поднимает голову:

— А ты откуда?.. Чёрт, да, ты же не из Москвы. Это далеко. Это чертовски далеко.

— Мне всё равно.

— Да, но это здание чёртовой школы. Или санатория. Или ещё какой-то хрени. Среди поломанных парт будем заниматься? У меня отец уже сказал: я не для этого тебе бабки на институт даю. Переедут в Алтуфьево — пойдешь на финансы и кредит.

— А ты что?

— А я пойду.

— Я думала, что ты хотел стать актёром.

— Каким актёром? — оглядывается вокруг, точно впервые увидел — чёрные ширмы, чистый пол. — Думаешь, кто-то станет? Те, кто станет, учатся на бюджете. У нормальных мастеров. А мы у кого?

— Тише.

— Пусть слышит.

Но его нет.

В аудиторию вваливаются наши — сегодня весь курс сдаётся. Аня садится на стул рядом — закуталась в платок, зябко. Входит и Михаил Вадимович с педагогом другой группы — низеньким, бровастым, лысоватым.

К нему уже трое из наших перевелись, и Михаилу Вадимовичу пришлось самому вычеркивать фамилии из журнала. Наверное, это похоже на развод.

— Ты чего? — говорит Аня.

Вправду ли вздрогнул, растерялся? Нет, показалось. И не смотрит на меня.

— Что с тобой? Сидишь как на иголках.

— Потом расскажу, Ань, ладно? Давай немного помолчим.

Аня молчит. Обиделась.

Когда-нибудь, когда получим диплом и выйдём отсюда взрослыми актёрами, я ей расскажу.

— Готовы? — Михаил Вадимович оборачивается, замечает ли — меня, розоватый блеск для губ, тоненькую ночную рубашку, в которой стыдно, завитые с вечера волосы, подстриженные ногти, тётину пудру на щеках?

Мы выходим, а за нами сдвигают чёрные ширмы. Я сажусь на чёрный деревянный куб, поправляю белую сорочку. Слава сзади. Он напряжен. Мы совсем не настроились — потому что смотрела на Михаила Вадимовича, потому что лучи не пробиваются в занавешенное окно, а два прожектора подрагивают, пляшут.

Они остановятся. Свет остаётся, и будем в ярком пятне — одном на двоих, потому что за прожектором следит не студент — взрослый осветитель, который работал в настоящем театре. Только тот театр сгорел, и все пошли искать работу.

Свет останавливается.

Чувствую комок в горле — пытаюсь проглотить, но не выходит.

Снова.

Снова.

Я не заговорю, не заспору.

У меня нет текста.

Во мне нет текста.

Михаил Вадимович смотрит. Сейчас нельзя говорить. Нужно дождаться его голоса. Он скажет: «Начали». Ровно, однотонно. И мы начнём. В аудитории нет воздуха, только свет.

Я почему-то замечаю зачётки, лежащие на парте стопочкой, раскрытые. Моя — сверху. Не хочу, чтобы Михаил Вадимович видел мою фотографию: грустная, ярко и неровно покрашенная. В зале кто-то шелестит обёрткой от «Сникерса». Почему Михаил Вадимович молчит?

Куб, неровно выкрашенный чёрной краской, тёплый на ощупь, трогаю кончиками пальцев. Нельзя столько ждать. Нельзя.

— Вы великолепная, чудная женщина, — говорит Слава, — великолепная. Чудная.

Почему он говорит, разве уже можно?

— Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз.

Здесь вовсе не темно. Свет брызжет в глаза. Разве не видишь?.. Может, он его слепит, этот свет? Встаю с куба, беру Славу за руку, увожу из пятна света.

— Здесь светлее.

Мы стоим в темноте.

— Я люблю, люблю, люблю.

Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Великолепная, чудная...

Смешно — как неестественно, остро, неприятно могут звучать слова.

Я смеюсь. Тихо.

— Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас.

Слава кивает. Нас снова ловят лучи, слепят, сбивают с толку.

— Впрочем, говорите, мне всё равно. Всё равно. Сюда...

Оглядывают — но никто не идёт. Ани нет. И парня, который играет Тузенбаха, — нет. Они сидят в зале. Они не выйдут.

— Сюда должны были прийти, — говорю. Вижу, как Славе не по себе. Не то. Не те слова. — Но никто не придёт, будьте покойны. Мы всегда тут одни будем. Давайте так и останемся.

Совсем не то.

В зале тишина, и никто не шуршит конфетными фантиками, не открывает минералку. Смотреть на Михаила Вадимовича нельзя. Нельзя.

Пятно света танцует, становится бледнее, прозрачнее.

— Стоп, — тихо говорит Михаил Вадимович. Но никто не собирался продолжать. — Ань, почему вы не вышли?

Аня встаёт. Пучок она развязала, и рыжеватые волосы упали на плечи. Встала — маленькая,

тоненькая, в слишком длинной ночной сорочке — не подобрали меньше. Только такие есть, сказали.

— Вы извините, но это не Чехов. Это ерунда. А вы молчите.

Славка смеётся.

Пожилой педагог, что сидел рядом с Михаилом Вадимовичем, поднимается из-за стола, собирает бумаги. И идёт к выходу, оставляет нас одних.

Михаил Вадимович встаёт тоже. Смотрит. На нас. На меня. Ручаюсь, сейчас-то он точно заметит и новенький блеск для губ, и завивку. Думала — пораньше придёт, к восьми, к девяти. Все-таки первый экзамен — и его, и наш. Раньше он никогда не набирал курс. Никогда. Сам сказал. Но он пришёл к десяти, минута в минуту.

— Вы что?.. — говорит он. И нам не по себе от его голоса. — Зачем вы так со мной?

Он переводит взгляд с Ани на Свету, со Светы — на полненькую девушку с длинной косой, имени которой не помню; глядит на всех, наряженных и нет, а в последнюю очередь на меня со Славой смотрит.

— Давайте так и останемся? — спрашивает. — Хорошо?

Давайте. Давайте останемся.

А дело всё в том, что с того дня, как я ушла из его однокомнатной квартирки без штор, с собранным диваном и белой

грязной простыней в маленький синий цветок, лимонными корками и засохшими чайными пакетиками на полу, он не смотрел на меня, не разговаривал, не звал курить. Точно исчез из коридоров, из столовой. Я даже Машу из буфета спрашивала — она не уволилась, только стала злиться на студентов чаще — не приходил ли, не пил кофе.

Не приходил. Не пил.

* * *

Они ставят нам со Славой четвёрки.

Позвонить? Сказать — Александр Львович, у нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так. Сделайте что-нибудь. Сделайте.

Я звоню. Слушаю гудки — долго. Поздно. Он болен. Он спит.

— Да? — голос Александра Львовича, хриплый. Он кашляет и снова говорит: — Да. Да, я вас слушаю.

— Александр Львович, это мы — Кристина и Аня, — хотя я одна, Аня давно дома. Но она яркая была, одна из любимых. Её скорее вспомнит.

Он молчит. Дыхание слышу, кашель — не от простуды, от молчания.

— Из института, Кристина и Аня, ваши ученицы.

— Да-да. Знаете, я хотел на экзамены приехать.

— Александр Львович, выздоравливайте...

— Я хотел приехать к вам на экзамен, — он не перебивает, но говорит медленно-длинно, тяжело, — но на моей улице ремонтируют остановку. Грязь...

— На какой улице вы живёте? Мы хотели приехать, навестить...

— ...И знаешь, так пыльно, что дышать тяжело. Придётся подождать, пока ремонт закончится.

— Знаете, я ведь спутала текст...

— Да-да. Троллейбусы где-то останавливаются, но где — не знаю...

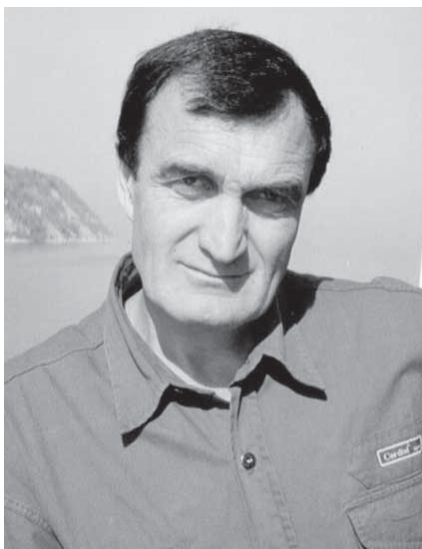
— Александр Львович, вам что-нибудь нужно? Мы привезём, мы с Аней...

Ему не нужно. У него — голос, квартира, сервант, книжные полки, ситцевая простыня, горькие запахи.

Он молчит и не знает, о чём дальше. Про Чехова не слышит. И про Михаила Вадимовича не услышит.

— До свидания, Александр Львович.

— До свидания, девочка, — и больно, потому что в институте он «девочка» говорил только незнакомой, чужой — с другого курса, другого потока, чьей-то маме, что про успехи зашла спросить, даже преподавательницу молодую мог так назвать. А нас — всегда по именам.



Александр ЧИБИЛЁВ

ЛИКИ СТЕПИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Александр Александрович Чибилёв родился в 1949 году в селе Яшкине Красногвардейского района Оренбургской области. Окончил географический факультет Воронежского государственного университета. Академик РАН (2016), доктор географических наук (1992), организатор и директор (1996-2017), а с декабря 2017 года – научный руководитель Института степи Уральского отделения РАН. Вице-президент Русского географического общества. Организатор и председатель Постоянной Природоохранительной комиссии РГО. Автор более 850 научных публикаций, в т. ч. 40 монографий в области физической географии, геоэкологии, биогеографии и заповедного дела. Награждён орденами Дружбы (1999), Почёта (2009) Российской Федерации, Золотой медалью им. П. П. Семёнова РГО (1996), Золотой медалью им. Л. С. Берга РАН (2015).

Облик открытых степных ландшафтов, степной образ жизни сформировали у коренных жителей этой природной зоны самобытное восприятие окружающего мира, которое выразилось в первую очередь в народном творчестве, культуре, искусстве, получило отражение в литературе.

Физиономические свойства степных ландшафтов, их эстетические особенности и проблемы взаимоотношений Человека и Природы волнуют как учёных, так и мастеров художественного слова. И это не случайно, ведь Наука — родная дочь Поэзии, потому что первыми учёными были поэты древности.

Успех в познании Природы, в том числе природы степей, невозможен без вдохновения, которое может возникнуть лишь от созерцания природной

гармонии. Поэтому наилучших, самых заметных результатов добиваются исследователи, стремящиеся к поиску красивых теорий и закономерностей. Ведь «поиски прекрасного приводят нас к тому же, что и поиски полезного» (Анри Пуанкаре).

Что касается науки, то учёные со времен П. С. Палласа (даже в русском переводе) и Э. А. Эверсмана (в переводе с немецкого В. И. Даля) всегда давали волю чувственному восприятию эстетики степей. Но, конечно, степные литературные шедевры учёных не идут ни в какое сравнение со «степным» творчеством поэтов и прозаиков XIX—XX веков. Это натолкнуло нас на мысль подготовить сборник «Степная антология», в которую вошло около 350 произведений более чем 100 поэтов и прозаиков не только России, но и Венгрии, Украины, Казахстана, Монголии, других стран и народов. Они затрагивают в своих произведениях большое количество тем, сюжетов, проблем, связанных со степями.

В данной статье я хотел бы остановиться на некоторых страницах «Степной антологии».

Огромность России и степей Евразии одним из первых отразил П. А. Вяземский (1792—1878):

*Бесконечная Россия
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и вёрсты нипочём;
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.
Степь широко на просторе
Поперек и вдоль лежит,
Словно огненное море
Зноем пышет и палит!*

Но одним из первых истинную суть степи сумел передать Н. В. Гоголь (1805—1852):

«Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, всё то пространство, которое составляет нынешнюю Новоросею, до самого Чёрного моря, было зелёною, девственною пустынею... Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелёно-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов... Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» — воскликнул Гоголь, и уже никто из последующих поэтов и писателей не мог остаться равнодушным к степи.

Удивительно точно передал особенности украинских и оренбургских степей Т. Г. Шевченко:

*...А Украина —
Раздолье степное!
Там, как брат, обнимет ветер
В степи на просторе.*

Но вот как он описывает уже азиатские (актюрбинские) степи по дороге из Орской крепости к Аральскому морю в повести «Близнецы»:

«Это была ровная, без малейшей со всех сторон возвышенности и, как белой скатертью, ковылём покрытая необозримая степь, чудная, но вместе с тем грустная картина! Ни кусточка, ни балки, совершенно ничего, кроме ковыля... Солнце подымалось выше и выше, степь как будто начала вздрагивать, шевелиться. Ещё несколько минут — и на горизонте показались белые серебристые волны, и степь превратилась в океан-море...»

Очень точно подмечены Тарасом Шевченко различия степей украинских и оренбургских:

*И там степи. И тут степи.
Но там степи лазоревые,
голубые,
А тут степи рыжи-рыжи,
аж красны.*

Как тут ни вспомнить, что эти различия не заметил другой украинец с Полтавы, назначенный руководить Оренбургской областью. По его указанию маломощные чернозёмы Заволжья и Приуралья в 60-х годах прошлого века были так же глубоко вспаханы, как на его родной Полтавщине, и большая

часть поверхности пашни действительно стала «рыжей, рыжей, аж красной».

Учёные и в ХХI веке спорят о том, что же такое степь, где её границы, а С. Т. Аксаков (1791—1859) ещё 160 лет назад писал об этом: «Слово степь имеет у нас особое значение и обыкновенно представляет воображению обширное пространство голой, ровной, безводной земной поверхности; многие степи таковы действительно, но в Оренбургской губернии... степи совсем не таковы: поверхность земли в них по большей части неровная, волнистая, местами довольно лесная, даже гористая, пересекаемая оврагами с родниковыми ручьями, степными речками и оврагами».

Как выдающийся знаток животного мира степей Аксаков хорошо известен. А вот его описания степных трав: «Особенного вида приземистый ковыль, сизый горный шалфей, белая низенькая полынь, чабер или богородская трава. Особенным ароматом наполняют они воздух, и кто не ночевал летом в наших степях, на покостях горных гряжей, тот не может иметь понятия о благоухающем, мягком, живительном их воздухе, который здоровее даже лесного».

На самых западных рубежах степного пояса Евразии ещё в

или полностью выпадают из
официальной литературы.

У каждого государства есть свой титульный ландшафт. Безусловно, этот ландшафт является наиболее востребованным в национальной литературе.

В поисках такого титульного ландшафта России хочу вновь обратиться к строкам М. Ю. Лермонтова:

*И степь раскинулась лиловой
 пеленой,
И так она свежа, и так родна
 с душой,
Как будто создана лишь для
 свободы.*

Не эти ли ощущения пестовали наш национальный характер? Ведь именно в степи решалась судьба Российской государственности. Здесь зародились донская, волжская, кубанская, яицкая, оренбургская, алтайская, даурская казачьи вольные общины. Благодаря земледельческому освоению степных и лесостепных просторов Россия протянулась на тысячи верст от Причерноморья до Забайкалья и Тихого океана. Титульность степи для государства русского подтверждает русская литература XIX—XX вв.

Книги классиков литературы — это духовное завещание одного поколения другому. Очень важно, чтобы исследователи степен наших дней сохранили трепетное отношение к

тому уникальному ландшафту. Чтобы в процессе познания динамики и природного разнообразия степей, при оценке их природных ресурсов, естествоиспытатели сохранили эстетическое восприятие этого динамичного, непредсказуемого и очень уязвимого ландшафта нашей планеты.

Чибилёв А.А. Степной мир Евразии от Венгрии до Монголии. Отчет по гранту РГО «Степной мир Евразии» за 2012—2013 гг. Т. I. - Оренбург: Русское географическое общество, Институт степи УрО РАН, 2013. — 117 с. <https://cloud.mail.ru/public/2V1o/JpBPnnS3y>

Поздравляем Александра Александровича Чибилёва, давнего друга нашего издания, с 70-летием со дня рождения и желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов в научной деятельности, неиссякаемой энергии в деле, сохранения и развития заповедного дела в Оренбуржье.



Вместе с А. А. Тишковым — доктором географических наук,
членом-корреспондентом РАН



Беседа с оленеводом —
коми-зырянским



Академик РАН В. Е. Фортов вручает золотую медаль Берга А. А. Чибилёву (2015 г.)



Президент Русского географического общества С. К. Шойгу вручает грант «Возвращение лошади Пржевальского» А. А. Чибилёву (2011 г.)

Евгения ЩЕРБАКОВА – *помощник вице-президента Русского географического общества, научного руководителя Института степи УрО РАН, академика А. А. Чибилёва.*

Дмитрий ГРУДИНИН – *пресс-секретарь Оренбургского регионального отделения Русского географического общества, руководитель Молодёжного клуба РГО при Оренбургском региональном отделении.*

СБЕРЕЧЬ, ЧТО ОСТАЛОСЬ

Осенью 2018 года в Оренбурге прошёл VIII Международный симпозиум «Степи Северной Евразии» (Степной форум Русского географического общества (РГО)). Он является значимым научным событием, объединяющим под своей эгидой работу учёных, занимающихся проблемами изучения и сохранения природы степного пространства Евразии. География участников мероприятия обширна — форум имеет международный статус. За время проведения форума (1997–2012 годы) в его работе приняли участие ученые из 18 стран и 53 регионов России. Для обсуждения актуальных проблем степеведения на форуме съезжаются заслуженные и начинающие специалисты, представляющие научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения,

общественные организации и разные области знаний: ботаники, зоологи, экологи, почвоведы, геологи, археологи. Богатую историю форума наглядно отражает вклад мероприятия в дело сохранения природного и историко-культурного наследия степной зоны. Традиционно мероприятие, проходит один раз в три года в городе Оренбурге, в городе в котором оно и зародилось.

«Что есть степь?» — начиная с XVIII века многие учёные-естествоиспытатели раскрывают это понятие с научной точки зрения. Описание степных пространств было раскрыто в научных трудах: Е. Ф. Зябловского «Новейшее землеописание Российской Империи ...» (1807), К. И. Арсеньева «Обозрение физического состояния России» (1818), А. Н. Бекетова «Фитогеографический

очерк Европейской России» (1824), Э. А. Эверсманна «Естественная история Оренбургского края» (в 3-х томах: 1840, 1850, 1866), Петра Симона Палласа, Ф. И. Рупрехта, А. Ф. Миддендорфа, П. П. Семёнова-Тян-Шанского, Д. Н. Анучина, А. Н. Краснова, Л. С. Берга, Б. А. Келлера, Аллана, Л. Д. Стампа.

Сегодня основные центры изучения степей расположены в России, Казахстане, Украине. В России это города, в которых размещены крупные научные школы физической географии и ландшафтоведения: Москва, Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург. Среди степных регионов выделяются: Калмыкия, Ростовская, Самарская, Воронежская и Волгоградская области. Ведущее же значение в изучении ландшафтного и биологического разнообразия степей Евразии занимает Оренбург и Оренбургская область, где расположена комплексная ландшафтно-экологическая степеведческая научная школа под руководством её идейного вдохновителя Александра Александровича Чибилёва и возглавляемый им на протяжении многих лет Институт степи Уральского отделения Российской академии наук.

Хочется отметить, что уже в III Международном симпозиуме (2003) приняло участие около ста специалистов из России,

Украины, Молдавии, Казахстана, Польши, Австрии, Великобритании, Германии, США.. В резолюции симпозиума, как рекомендация для реализации, получила впервые отражение идея о создании в Оренбургской области природного парка «Оренбургская Тарпания». В этот природоохранный проект вкладывалась качественно новая идея сохранения степных экосистем с восстановлением всех утраченных в природе компонентов. Особая роль уделялась истреблённым в степях крупным копытным. Основу проекта должен был составить единственный сохранившийся до наших дней вид дикой лошади — лошади Пржевальского.

Начиная с 2011 года проект «Оренбургская Тарпания», направленный на возвращение диких лошадей в Оренбургские степи, получает поддержку возобновленной Природоохранительной комиссии Русского географического общества. В этом же году, по инициативе РГО, в Оренбурге стартовала многоэтапная исследовательская экспедиция «Степной мир Евразии», ориентированная на выявление объектов природного и культурного наследия степных регионов от Венгрии до Монголии. Первостепенной задачей проекта становится изучение опыта разведения лошадей Пржевальского. Поэтому первая экспедиция организуется в Монголию, в места последнего

обитания дикой лошади, в том числе по следам экспедиции Н. М. Пржевальского, затем в степи Венгрии, где проект возвращения лошади Пржевальского успешно реализован.

Летом 2012 года проводился VI Международный симпозиум «Степи Северной Евразии». Разумеется, что вопросы разведения лошадей Пржевальского в Оренбургской области занимали центральные позиции в мероприятии. Участие в симпозиуме приняла делегация французских ученых, занимающихся вопросами восстановления популяции лошади Пржевальского (в последующем именно из Франции будет завезена первая партия диких лошадей в заповедник «Оренбургский»). 21 июня состоялось рабочее заседание международной группы ученых-степеведов и представителей правительства Оренбургской области. Тема встречи — «Восстановление степных экосистем Оренбуржья: реинтродукция лошади Пржевальского, развитие адаптивного мясного животноводства». Заседание проходило с участием представителей трех министерств Оренбургской области: министерства культуры, министерства сельского хозяйства, министерства природных ресурсов. Была подчеркнута необходимость восстановления

численности лошади Пржевальского в природе путем создания нескольких популяций вида и интеграции проекта с уже существующими. В связи с этим проект разведения лошади Пржевальского в Оренбургской области приобретает международное значение. Специалистами был очерчен круг проблем, стоящих на начальных этапах реализации, в том числе определение степени участия администрации области в проекте. Представители министерств высказали готовность оказать помощь в землеотводных мероприятиях и включении некоторых вопросов финансирования проекта в бюджет области. На VI Степном форуме комплексная международная рабочая группа дала заключение, которое в последствии было положено в основу пятого участка государственного заповедника «Оренбургский» — «Предуральская степь» как центра воспроизведения численности дикой лошади.

Форум 2018 года был приурочен к следующим знаменательным датам: 70-летию начала реализации беспрецедентного государственного плана преобразования природы СССР (октябрь 1948 года), столетию со дня рождения выдающегося ландшафтоведа Федора Николаевича Милькова (1918—1996) и 150-летию Оренбургского

регионального отделения Русского географического общества, также восстановленного Ф. Н. Мильковым. В работе Международного Степного форума РГО приняли участие 186 учёных из восьми стран: Германии, Дании, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана, Азербайджана, России. К началу форума издан сборник, содержащий 286 статей авторов из 11 стран и 40 регионов Российской Федерации. Столь широкая география участников свидетельствует о стабильном интересе научного сообщества к проблемам степеведения и степного природопользования.

Международный форум проходил в Оренбургском государственном университете, что символично. В этих стенах в сентябре 1973 года была заложена основа будущего Института степи — создана лаборатория мелиорации ландшафтов в составе хоздоговорного НИИ охраны и рационального использования природных ресурсов. Возглавлял НИИ член-корреспондент АН СССР Александр Степанович Хоментовский (1908—1986), а лабораторию мелиорации — будущий академик А.А. Чибилёв.

Немаловажно отметить поддержку со стороны Русского географического общества, Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского научного фонда,

Российского фонда фундаментальных исследований, правительства Оренбургской области, Оренбургского государственного университета, меценатов и предпринимателей области.

Форум проходил в Оренбурге в восьмой раз и продолжил традицию проведения международных симпозиумов «Степи Северной Евразии», заложенную Институтом степи с момента его создания, т. е. с 1997 года. Безусловно, не только научное сообщество заинтересовано в проведении подобных мероприятий. По традиции форум был посвящен решению актуальных проблем в сфере степного природопользования, изучения и сохранения ландшафтного и биологического разнообразия степных ландшафтов Евразии, где наиболее остро стоит проблема организации степных заповедников и других категорий степных особо охраняемых природных территорий. Ежегодная резолюция форума содержит ряд конкретных предложений, таких как: создание в Оренбурге специализированного музея Степной Евразии, организация системы трансконтинентального мониторинга степного пространства с разработкой системы международных соглашений, регулирующих перенос по этому пространству загрязняющих веществ, и многие другие.

**Участники симпозиума на экскурсии в Оренбургском
государственном степном заповеднике и стационаре
Института степи УрО РАН**







Людмила ВЕРХОВЫХ

«ОН К НАШИМ ДЕТЯМ ПРИХОДИЛ»

(к 85-летию со дня
рождения Ю. А. Гагарина)

Людмила Арнольдовна Верховых родилась в Оренбурге. Окончила Оренбургский государственный педагогический институт. Работала в областном краеведческом музее. После замужества уехала с мужем-лётчиком на Кольский полуостров. Вернулась на родину в 90-е годы. Трудовая деятельность как научного сотрудника, затем заведующего научно-экспозиционным отделом в Музее истории города Оренбурга продолжается и по сей день. Участвовала не только в строительстве выставок на различные темы, связанные с историей города, но и в строительстве музеев города: мемориального музея-квартиры Ю. и В. Гагариных (в 2001–2016 годы была его куратором), мемориального музея-квартиры Л. и М. Ростроповичей, Дома Памяти.

Наш город необычен не только благодаря истории своего появления, но и тем людям, которые в нем жили: одни долгие годы, другие — определённые дни.

Среди тех знаменитых людей, которые бывали в Оренбурге, — космонавт № 1 Ю. А. Гагарин, в прошлом курсант «лётки». 31 октября 1957 года Юрию Алексеевичу Гагарину был подписан диплом об окончании Чкаловского военного авиационного училища. В дипломе было указано, что училище он «окончил по первому разряду», то есть учился на «отлично». А за несколько дней до этого, 27 октября 1957 года, был официально зарегистрирован брак Юрия и оренбурженки Валентины Горячевой. Спустя годы, в «звёздном» 1961-м, офицер ВВС СССР превратится в «космического Колумба»...

Оренбуржцы бережно хранят память о Ю. А. Гагарине, гордятся тем, что первый космонавт два года (с 1955 по 1957 год) жил, учился, получил профессию лётчика и обрёл своё семейное счастье именно в их городе.

О жизни Гагарина в Оренбурге (тогда Чкалове) написано немало книг, снято много фильмов. Многие из этого носят официальный характер. А каким Юрий был вне учебного процесса? Мы, оренбуржцы, знаем, что женой героя стала наша землячка — Валентина Ивановна Горячева, которая сейчас проживает в Звёздном городке, находящемся в 40 километрах от Москвы. Юная Валя Горячева, окончившая десятилетку и работавшая на оренбургском Главпочтамте, сумела привлечь внимание курсанта Гагарина своей скромностью, общими интересами и в конечном итоге завладела его сердцем. Их объединяло многое: любовь к книгам, увлечение спортом, стремление узнавать новое, а потом это обсуждать, анализировать (нередко между ними рождались споры).

В журнале «Гостинный двор» № 34 за 2011 год читатели познакомились со статьей А. Солнцева «Крылья дал Оренбург», в которой использовался рассказ научного сотрудника Мемориального музея-квартиры Ю. и В. Гагариных. Автор опубликовал



Курсант Юрий Гагарин

уникальные материалы, набранные сотрудниками мемориального музея за долгие годы работы над темой «Гагарин и Оренбург». Именно из рассказа научного сотрудника музея стало известно, что свадьба Валентины и Юрия проходила в стенах коммунальной квартиры, где жила невеста, по адресу: ул. Чичерина, 35, там, где сейчас находится Мемориальный музей-квартира Ю. и В. Гагариных. Именно сюда прибегал курсант в «увольнительную» к своей возлюбленной, чья семья встречала его очень радушно. Именно здесь несколько «медовых» дней прожили молодожены, и именно сюда приедет «звёздная семья» летом 1961 года к родным жены.

Это здание представляет собой один из памятников архитектуры Оренбурга второй половины XIX века (из решения

малого Совета Оренбургского областного Совета народных депутатов от 02.03.1993 г. № 6-мс). Это бывший купеческий дом — городская усадьба А. Т. Титева, состоящая из жилого дома и надворных построек. Время строительства — 1905—1906 годы. Соседнее же здание (№ 33) — постоянный двор Е. А. Радушева, построено в «кирпичном» стиле и относилось к доходным домам конца XIX — начала XX вв. Время строительства — 1904—1905 годы. Оба здания находятся на одной из старинных улиц Оренбурга, которая существует с 1860-х годов. Изначально она называлась Гришковской, с 1938 года стала улицей им. Чичерина. В бывшем жилом доме Е. А. Радушева в 20-х годах расположилась школа-интернат для слепых детей. Этот интернат полностью занимал здание по адресу: ул. Чичерина, 33, и первый этаж здания № 35 (там располагались

спальни для мальчиков), на втором этаже которого находилась коммунальная квартира.

Теперь немного из истории появления специализированных учебных учреждений в России. Что касается детей с дефектами умственного и физического развития, то в дореволюционной России, в частности в нашей губернии, существовали немногочисленные учебные заведения приютного типа на частные пожертвования состоятельных граждан. Они охватывали лишь 5—6 % глухих и слепых детей.

С 1918 года эти учреждения были включены в общеобразовательную систему народного образования. А 10 декабря 1919 года подписывается постановление в отношении обучения, воспитания и лечения глухих, слепых, умственно отсталых и психически больных детей. Большой вклад в решение проблемы быстрого расширения сети специальных школ в первые годы Советской власти



Мемориальный музей-квартира Ю. и В. Гагариных



Юрий и Валентина Гагарины

сделала Н. К. Крупская. В 1920 году состоялся I Всероссийский съезд по борьбе с детской дефективностью. В его работе активное участие приняла Надежда Константиновна, которая представила на обсуждение «Перспективы развития сети государственных учреждений общественного воспитания в России». В эти годы как на Урале, так и в стране в целом осуществляется формирование системы воспитания и обучения дефективных детей.

В нашем городе в 1920 году тоже организован детский дом для дефективных детей. Это учреждение рассчитывалось на

50 глухих и слепых детей. С таким смешанным составом детский дом просуществовал два года. Организация работы с детьми, страдающими разными нарушениями развития, оказывалась очень сложной. В целях усовершенствования процесса воспитания и расширения контингента воспитанников в 1922 году детский дом стал подразделяться на два: один — для глухих, другой — для слепых детей. С этого времени каждое из подразделений стало развиваться как самостоятельное воспитательное детское учреждение.

Многие бывшие купеческие дома (целые городские усадьбы с жилыми домами, их доходные дома) были переданы под коммунальные квартиры и госучреждения. Поэтому-то в двух зданиях по улице Гришковской (ныне Чичерина) вначале расположилась школа-интернат для детей с нарушенным слухом (она была основана в 1922 году), а впоследствии



В мемориальном музее-квартире Ю. и В. Гагариных



располагался Дом слепых — школа-интернат.

Наш музей, изначально располагавшийся только в мемориальной части — двадцатиметровой комнате, где проживала многочисленная семья Горячевых, был открыт к 40-летию полета Ю. Гагарина в 2001 году. С апреля 2014 года музей стал занимать весь второй этаж данного здания. Очень много гостей города и жителей Оренбурга побывали в этом музее.

Но, наверное, немногие знают о том, что курсант Гагарин не всегда мог попасть в гости к своей Валентине, особенно во внеурочное время. Главные ворота двери были закрыты, и во двор можно было попасть только через калитку в воротах. Ворота были закрыты потому, что там стояла лошадь,

принадлежавшая соседям — школе-интернату для слепых детей. Дети этого интерната могли помочь влюблённому Юрию, правда, за маленький подарочек — конфетку. До сих пор живы свидетели, которые подтвердят этот факт. Например, Геннадий Павлович Соколов, тогда ещё просто Гена, вспоминал: «Если Юра пообещал, он обязательно это принесёт, пусть даже в другой раз...»

После полёта первого космонавта Ю. Гагарина жильцов коммунальной квартиры постепенно расселили. Окончательно процесс расселения завершился в конце 60-х годов XX века. Весь интернат (а это руководство и дети) радовался своим новым площадям. Школа, начавшая свое существование с 1922 года, завершила свою историю в 1974 году.

Наш музей провел в апреле 2016 года встречу бывших выпускников (тех, кто «видел» Ю. Гагарина). Слушая их рассказ, мы понимали, как трудно было осознать вообще эту мысль — человек в Космосе (!), тем более тем детям, которые «познают» окружающий мир совершенно иначе, нежели остальные, ведь мир этих детей находился на кончиках пальцев. Рассказ каждого из четырнадцати «тогдашних» выпускников для нас был необычайно важен. Многие ссылались на воспоминания кастелянши Галины Шакировны Мухамедзяновой, или просто бабы Гали.

Именно баба Галя посоветовала маме Вали Горячевой пригласить талантливого музыканта из интерната Игоря Крылова, умеющего играть на баяне. Он-то и веселил гостей молодой семьи Гагариных на свадьбе 4 ноября 1957 года. Игорь родился в Осташевске Волоколамского района в 1941 году.

Ещё в детстве, после тяжело перенесённой кори, Игорь ослеп. До 1947 года находился в детском доме в Люберцах. В семилетнем возрасте его отправили в Чкаловскую (Оренбургскую) школу слепых. Юноша очень интересовался музыкой, обучался игре на баяне, на момент свадьбы Гагариных ему было уже 16 лет. Игорь играл целый час. Свадьба была не особенно шумной, но гости пели и плясали от души. В те годы были особенно популярными следующие мелодии, под которые танцевали: «Вальс цветов»,

«Березка», «Амурские волны», полька, танго. Среди песен того времени особенно популярными были «Подмосковные вечера», «Ленинград», «Катюша», «Огонёк», «Земля целинная». Только спустя годы юному музыканту сообщили о том, на чьей свадьбе он музицировал... К сожалению, на момент встречи выпускников Игоря Кузьмича уже не было в живых. Он умер в 2008 году.

Галина Шакировна не могла не отметить отзывчивость, внимательность Юрия Гагарина. Он не чурался никакой работы. В те годы наш город и в частности этот район не имели центрального водяного отопления, поэтому котельная, находящаяся во дворе здания № 33 (интерната), с осени должна была быть обеспечена углём. Ещё раньше, в конце 50-х — начале 60-х годов, помещения зданий отапливались печками, для этого также использовался уголь. Будущий



К. М. Вежлева в конце войны



К. М. Вежлева — директор школы-интерната для слепых детей (в центре)

первый космонавт помогал сгружать его в хранилище.

О директоре этого интерната в конце 50-х — начале 60-х годов Клавдии Михайловне Вежлевой мы знали и раньше, когда за стеной у музея жила последняя из тех жильцов коммунальной квартиры, чьи родители получили комнаты в коммуналке ещё в 20-х годах прошлого века, — Надежда Михайловна Кудрявцева. Её родители, она сама и её сестра были связаны с народным образованием, поэтому Надежде Михайловне очень была интересна данная тема.

В 2018 году фонды музея пополнились фото и архивными документами, присланными дочкой директора — Ольгой Юрьевной Олекс из Белоруссии. В письме она сообщила о маме следующее: Клавдия Михайловна, педагог-экономист, имела высшее педагогическое

и экономическое образование, участница Великой Отечественной войны. Вернулась на родину в 1945 году. С сентября 1952 года по апрель 1954 года работала директором детского дома в Оренбурге, затем с апреля 1954 года по февраль 1967 года директором Чкаловской (Оренбургской) областной школы слепых детей.

Среди документов, присланных О. Ю. Олекс нам в музей, были и фотографии. Мы внимательно рассмотрели их и условно разделили на подтемы: годы Великой Отечественной войны, послевоенное время (руководство интернатом), последние годы жизни. Внимание сотрудников музея привлекло две фотографии, где Клавдия Михайловна запечатлена с сотрудниками школы-интерната и воспитанниками разных возрастных групп. Из надписи

на оборотной стороне одной из фотографий мы узнали, что она разрешила гостям семьи Горячевых, пришедшим поздравить молодожёнов осенью 1957 года, танцевать и веселиться в актовом зале интерната. По словам дочери, впоследствии у Клавдии Михайловны из-за этого были даже неприятности по линии КПСС.

Шли годы, и уже после совершенного полета Юрий Алексеевич во время приезда в Оренбург нашёл время прийти и встретиться с учащимися интерната. Бывшие выпускники потом вспоминали, что эта встреча была особенной: они тогда, как и всё человечество, впервые познакомились с первым космонавтом. В тот момент каждый из них пытался составить «свое» личное представление о Гагарине. Встреча была незапланированной, длилась всего 15–20 минут, среди учеников были дети разной возрастной группы. Юрий Алексеевич вошёл в актовый зал быстрым шагом. Сидевшие в первом ряду воспитанники интерната Валера Сагайданов, Николай Облаев, Александр Алешин оказались счастливыми — им первым Ю. Гагарин подал руку, чтобы поздороваться. Во время встречи ученик первого класса Юра Пархоменко, простой сельский мальчишка, вначале прочитал стихотворение о космосе, а затем попросил «потрогать» космонавта. Юрий Алексеевич в центре актового зала поставил тёзку на табурет,

и наш юный оренбуржец по-своему, касаясь руками от обуви до головного убора, попытался «увидеть» первого космонавта...

В свой последний приезд летом 1967 году Юрий Алексеевич выступал на оренбургском телевидении. Деньги, полученные за интервью, были переданы для библиотеки школы-интерната.

Побеседовав с воспитанниками интерната 60-х годов, мы узнали о воспитательнице, пришедшей к ним в интернат гораздо позже, но заставшей ещё преподавателей, воспитателей, которые общались с Гагариным, — Татьяне Архиповне Тюриной. Педагог с большим вниманием рассматривала фотографии из личного архива бывшего директора школы К. М. Вежлевой. Она указала на знакомые лица, назвала имена людей, которые для неё, молодого специалиста, стали наставниками в воспитании учеников такой категории. Выяснилось, что среди всего педагогического коллектива было много преподавателей, прошедших войну, — директор Клавдия Михайловна Вежлева, воспитатель Анна Марковна Пустовалова (в годы войны была прожектористкой), воспитатель Анна Гавриловна Болдырева, ночной воспитатель Вера Павловна Криволапова; руководитель кружка по шахматам Фёдор Давыдович Василенко, преподаватель музыки Николай Алексеевич Кустов, воспитатель Клавдия Никитична Пашкова.

С 1960 года школа-интернат, дававшая воспитанникам только семь классов образования, приобрела статус средней школы. В связи с сокращением количества обучающихся детей в школе встал вопрос о переводе данного специализированного учебного заведения в Куйбышев (Самара). Таким образом, школа, начавшая своё существование в 1922 году, завершила свою историю в 1974 году.

Стоит сказать пару слов о замечательном преемнике Клавдии Михайловны Вежлевой — Михаиле Михайловиче Мингазове. Получив образование, он некоторое время возглавлял Акбулакский детский дом. А после выхода на пенсию К. М. Вежлевой Михаил Михайлович был отправлен в Оренбург, чтобы возглавить областную школу слепых детей до самого её закрытия, то есть до 1974 году.

На долю Михаила Михайловича выпали не только заботы о развитии данного учебного учреждения, но и обязанность объявить детям новость о трагической гибели Первопроходца Вселенной. Весь коллектив скорбел по этому поводу. Для сохранения памяти было принято решение об учреждении школьного музея Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина. Также было объявлено о начале сбора экспонатов для будущего музея.

Идея была поддержана, работа закипела. Была начата переписка

с матерью Ю. Гагарина — Анной Тимофеевной, вдовой космонавта, нашей землячкой — Валентиной Ивановной и её родственниками; сотрудниками Звёздного городка, Калуги и Гжатска. Открытие музея было приурочено к 10-летию со дня полета Ю. А. Гагарина. 12 апреля 1971 года распахнулись двери школьного музея. Сотни экспонатов разместились по разделам. Один из разделов отражал в фотоматериалах научные искания советских ученых — разработчиков первых ракет. Отсюда и название этого раздела — «Мечты о космосе». Здесь же находились газеты с сообщениями о запуске в СССР первого искусственного спутника Земли. Среди газет — экстренный выпуск «Правды» от 12 апреля 1961 года со статьей «Воспитанник нашего училища — в космосе».

Директор школы М.М. Мингазов позже вспоминал в своей статье «Встреча с дорогим человеком» о том, как охотно помогали наши земляки школьному музею: «...чутко отнеслись к нашим просьбам товарищи, друзья, знакомые Юрия Алексеевича. Не остались в стороне музейные сотрудники из Звездного городка, Калуги, Гжатска, родственники Валентины Ивановны...»

В музее хранилось письмо — воспоминание Анны Тимофеевны Гагариной о её сыне — Первом космонавте.

Совет музея обращался к разным людям, среди них и друг Юрия Алексеевича —



Директор интерната М. М. Мингазов с экскурсоводом В. Губаревой

Герман Титов. В музее находится его ответ ребятам интерната: «Вы просите рассказать о моём друге, первом в мире летчике-космонавте Ю. А. Гагарине. Мне по совместной работе с Ю. А. Гагариным всякий раз приходилось чувствовать его дружеское участие в наших тренировках, необходимую помощь в трудные минуты. Молодым рабочим парнем пришёл он в авиацию. Свойственное ему трудолюбие, настойчивость позволили Юрию Алексеевичу стать отличным лётчиком и быть принятым в отряд советских космонавтов. Все, кто встречался с ним, навсегда сохраняют его образ — советского человека, вдумчивого, спокойного и скромного, готового на подвиг во имя Родины».

Посылку, которую отправила в Оренбург для музея Валентина Ивановна, сопровождало письмо. Вот что она

пишет 15 декабря 1971 года: «Для музея передаю: китель, брюки, рубашку, галстук, планшет, значок «Летчик 1-го класса», медаль, выпущенную в Калуге к десятилетию полета Гагарина, землю с места гибели Юрия Алексеевича, десять писем, присланных ему после полета». Это письмо также находилось в экспозиции школьного музея.

В фондах Мемориального музея-квартиры Ю. и В. Гагариных есть уникальные фотографии. На одном из снимков запечатлен зал школьного музея, в котором у стендов стоят директор интерната М. М. Мингазов и молодой экскурсовод Валя Губарева, на другом — бюст Ю. А. Гагарина. Мы заинтересовались историей появления бюста в музее школы. Оказалось, что в экспозиции изначально бюста Ю. Гагарина не было. Он появился несколько позже, когда помещение школы вместе с экспонатами стало

**Бюст Ю.А. Гагарина**

относиться к областному краеведческому музею.

В альманахе «Гостиный двор» № 34 за 2011 год (год 50-летия со дня полёта Ю. А. Гагарина) была опубликована статья оренбургского скульптора, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР, почётного гражданина Оренбурга, автора многих скульптурных композиций и памятников в родном городе Н. Г. Петинной. В статье идёт рассказ о создании памятника Ю. А. Гагарину, установленного около школы № 64. Эта школа (проезд Майский, 8) была заложена в 1961 году, «вступила в строй» в 1964 году и получила имя первого космонавта. К десятилетию полёта Гагарина в космос на площадке возле школы ему был открыт памятник, созданный ещё в 1968 году из искусственного камня и гранита. Автор указывает на то, что в композиции присутствует не только тема подвига, но и трагизм смерти космонавта. Символом этого стало воплощённое скульптором

«срезанное» крыло самолета. На сегодняшний день в фонде Музея истории Оренбурга хранится уменьшенная копия этой скульптуры, отлитая в бронзе.

Мы встретились с Надеждой Гавриловной. Показав фото того самого бюста, находящегося в фондах нашего музея, услышали рассказ о появлении новой скульптурной композиции. Оказалось, что позже, Н. Г. Петинной был создан второй вариант памятника «Ю. А. Гагарин», но уже для Оренбургского областного краеведческого музея. Памятник был заказан директором музея Лидией Федоровной Лазаревой. Скульптурная композиция была изготовлена из камня и мраморной крошки.

Несмотря на то, что тему пребывания Ю. А. Гагарина в Оренбурге многие считают исчерпанной, на сегодняшний день открываются всё новые и новые факты. В частности, о выдающихся человеческих качествах Первого космонавта планеты Земля. И мы несказанно рады, что цепкая детская память сохранила до сих пор эти ценнейшие воспоминания.

ПРИМЕЧАНИЯ

Солнцев А.М. Крылья дал Оренбург // Гостиный двор. 2011. № 34. С. 95-106.

Гагарин в Оренбурге. Воспоминания, документы, выступления, очерки, фотографии / Сост. А. Лазукин, А. Чернова. — Челябинск. 1975. С.117. Там же. С.119.



Александр АГАФОНОВ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПЕРВОМУ КОСМОНАВТУ

Александр Иванович Агафонов родился в 1936 году в Новосергиевке Оренбургской области. Окончил художественное училище им. М.Б. Грекова (Ростов-на-Дону), архитектурное отделение Целиноградского сельскохозяйственного института (ныне государственный агротехнический университет Астаны, Казахстан). Работал начальником главного управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором Оренбурга (1980–1990). Председатель регионального отделения Союза архитекторов России (1980–1992 и 1999–2012). Заслуженный архитектор РФ. Живёт в Оренбурге.

Человек, подобно птице, всегда стремился в небо. Много веков назад Икар, сын Дедала, сделал первую неудачную попытку. С тех пор прошли тысячелетия, и человек изобрёл летательный аппарат — самолет, научился летать. Но оторваться от земли и преодолеть её притяжение не смог.

12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин впервые преодолел притяжение земли и на космическом корабле «Восток» облетел земной шар, открыв тем самым новую эру в истории человечества — эру освоения космического пространства. Судьба Ю. А. Гагарина тесно связана с Оренбургом, где он провёл свои самые счастливые, незабываемые годы. Здесь он окончил знаменитое Оренбургское авиационное училище, нашёл свою любовь, женился. После его полёта в космос Нечкинское шоссе было переименовано в проспект Гагарина. Но

председателя исполнительного комитета Оренбургского городского совета Ю. Д. Гаранькина на протяжении нескольких лет не покидала идея о создании в Оренбурге памятника первому космонавту. Эта идея была справедлива и бесспорна, Оренбург научил летать Гагарина и «дал ему крылья».

Сразу после завершения мемориала на проспекте Победы Ю. Д. Гаранькин сказал мне: «На будущий год будет юбилей — 25 лет полёта человека в космос, в ознаменование этого события будем ставить памятник

Ю. А. Гагарину». Дал мне поручение подобрать место для его сооружения.

По генеральному плану города достойных мест было несколько. Но по разным причинам я отказался от всех, кроме одного, как мне показалось, самого достойного, предложив соорудить памятник в юго-восточной части города, между улицами Мира и Алтайской. Обосновал это предложение тем, что район заканчивал свое формирование. Построены новые микрорайоны с современными 9—14-этажными жилыми домами, школами, детскими садами и объектами соцкультбыта. Район густонаселен, памятник будет находиться на одноименном проспекте, который является въездной транспортной магистралью с аэропорта, Орска, Кургана, Челябинска и Казахстана. Кроме этого, будет прямая транспортная связь для

гостей-туристов до авиационного училища и дома-квартиры, где с семьей жил Ю. А. Гагарин. Между улицами Мира и Алтайской находится широкая полоса зелёных лесонасаждений, выходящая в пойму реки Урал. По генеральному плану она благоустраивается под парковую зону отдыха, что является немаловажным обстоятельством. В парковой зоне, южнее проспекта планировали построить крупное культурно-спортивное здание. В ближайшей перспективе здесь формировался крупный общественно-культурный центр со своей площадью, видом на пойму, с удобной транспортной доступностью и хорошей обзорностью.

Большое значение имела ориентация памятника, размещаемого по оси парка с северной стороны проспекта. Это солнечная сторона, и в течение всего светового дня он будет иметь оптимальное освещение.

Юрий Дмитриевич выслушал меня внимательно, не перебивая, задал несколько уточняющих вопросов и сказал: «Давай выедем на место, там посмотрим и примем решение». На следующий день мы были на участке. Простор и обзорность были великолепны, но сама запущенная лесопосадка из карагача и клёна, заросшая бурьяном и сухостоем производила удручающее впечатление. Обошли несколько раз участок и прилегающую лесополосу от улицы Мира до улицы Алтайской.

Объёмы подготовительных работ были огромными. Предстояло убрать большое количество деревьев, выкорчевать пни, всё это вывезти и сделать планировку территории.

Но, как говорят, игра стоила свеч, район и место были привлекательны. Согласие на этот участок было получено, и председатель попросил начать разработку проекта. Чтобы начать работу над генпланом размещения памятника и благоустройства, надо было разработать сам памятник, определить его параметры и конфигурацию. Скульптуры и даже фотографии с неё у нас не было. Юрию Дмитриевичу я об этом сказал и попросил заказать скульптуру космонавта. Председатель давно поддерживал тёплые, дружеские отношения с Юрием Львовичем Черновым — народным художником РСФСР, который у себя в Москве, да и других городах выполнил большое количество заказов на установку скульптур. Нужно было лететь в Москву и с ним договариваться. В 1985 году генеральный план Оренбурга готовился к утверждению в правительстве РСФСР, перед этим он находился в Госстрое на рассмотрении, куда нас уже приглашали. Вскоре подвернулась новая okazия — нас пригласили на последнее рассмотрение. В Госстрое мы были заняты первую половину дня и оттуда поехали в мастерскую к Ю. Л. Чернову. Мастерская

располагалась в тихом переулке, в одноэтажном здании, но двухсветном помещении с высокими потолками. В мастерской была встроена антресоль, правда, не широкая, где была бытовка скульптора: стол, холодильник, несколько стульев и диван. Юрий Львович встретил нас очень радушно, показал свои новые работы, поделился планами и творческими идеями. Затем поднялись на антресоль, беседа продолжилась за столом. Председатель рассказал о планах по установке памятника Ю. А. Гагарину к 25-летию полёта в космос, попросил скульптора подумать над образом, размером скульптуры и выполнить заказ. И здесь неожиданно выяснилось, что есть постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, в целях экономии монументальные произведения искусства и памятники устанавливать в городах только после специального разрешения высших органов власти. Естественно, это было очень хлопотное дело, и получить разрешение было проблематично.

Сами того не подозревая, мы оказались в тупике. Стали думать, что же делать, как выйти из патовой ситуации. Ю. Л. Чернов предложил довольно простой вариант решения проблемы. Несколько лет тому назад он выполнил скульптуру Ю. А. Гагарина в полный рост, которую установили в Москве на проспекте

Вернадского. Формы скульптуры сохранились, и поэтому не составит большого труда отлить Ю. А. Гагарина для Оренбурга. С литейным предприятием можно договориться, разрешения не нужно добиваться, кроме этого, скульптура городу обойдется намного дешевле. Такой вариант Юрия Дмитриевича устроил. Позднее по такому же сценарию Оренбург приобрел и скульптуру Л. Н. Толстого, выполненную Ю. Л. Черновым для русской общины, проживающей в Канаде (Квебек). Скульптура, небольшой макет которой был в мастерской, понравилась. Взяли несколько фотографий скульптуры с размерами, я попросил Ю. Л. Чернова приехать в Оренбург, чтобы посмотреть участок и вместе подумать над постаментом и вообще над памятником.

Не теряя времени, я дал задание геодезистам архитектурно-планировочного управления сделать топосъемку местности с прилегающими улицами, дорогами, зданиями, точно нанести рельеф и границы лесополосы. Детальная топосъемка нужна для разработки генплана, точного определения места расположения памятника, размещения площади перед памятником, тротуаров, аллей. Необходимо было наметить связь с будущим парком, общественными зданиями и жилыми группами. Большое значение имело решение проблемы транспортных связей,

подъездов и автопарковок.

Юрий Львович не заставил себя долго ждать, через полмесяца он приехал, но не один, а со своим постоянным коллегой по проектированию памятников, архитектором Гарольдом Григорьевичем Исаковичем. Г. Г. Исакович был замечательным архитектором, за мемориальный комплекс, построенный к 100-летию В. И. Ленина, в Ульяновске в составе авторского коллектива он стал лауреатом Ленинской премии.

После осмотра территории установки памятника мы приехали в горисполком и в кабинете председателя за большим столом карандашами на листах бумаги стали рисовать идею постаментов и установки на нем скульптуры. Вначале ничего не получалось, так как традиционно ставили скульптуру, но он вместе с фигурой в масштабе большого пространства окружающей местности был очень мал и абсолютно не смотрелся, терялся в пространстве. И только когда возникла идея сделать Гагарину «крылья», работа пошла намного быстрее. Скульптор изобразил фигуру с поднятыми руками, причем правая полностью вытянута вверх, левая согнута в локте. Движение рук нужно было чем-то подержать, чем-то большим, высоким, устремленным в небо, в космос. Так появились стелы в образе крыльев, и кроме пьедестала для статуи был предусмотрен общий постамент

для всех элементов памятника. Во время творческих поисков Юрий Дмитриевич давал свои советы и только с установкой стел удовлетворенно ответил, что образ памятника найден.

Мне предстояла довольно непростая задача в окончательном эскизном варианте определить пропорции, масштаб и размеры всех элементов по отношению к статуе, собрать их в одно неразрывное целое.

Высота статуи космонавта 2,7 м, с поднятой правой рукой она достигала 3,7 м. С этих параметров пришлось определять пропорции всех элементов памятника. Работая над пьедесталом статуи, я решил, что он должен быть невысоким и непременно квадратным с главного фасада, чтобы все внимание было сосредоточено на фигуре космонавта. Размер и масштаб стел определял по статуе с пьедесталом, по его общей высоте. Так как правая рука космонавта поднята выше левой, то и правая стела по движению руки должна быть выше, размер ее определили в 14,5 м. Это в 3,5 раза выше общего размера статуи и пьедестала. Левая стела по движению руки стала ниже на 3 м, то есть на 11,5 м. Такие параметры давали основание и уверенность полагать, что зрительно фигура статуи с пьедесталом не будет высокой вертикалью и визуально претендовать своим размером и силуэтом на роль стелы. Для лучшего обзора статуи стелы

устанавливались на расстоянии 1,7 м с боков от статуи и сзади неё на 3,5 м. Для большей выразительности посредством света и тени на стелах были предусмотрены вертикальные каннелюры. Все элементы памятника устанавливаются на общий постамент. Постамент в плане — равнобедренный треугольник, острие которого направлено на проспект Гагарина, причём угол срезается, образуя сторону, равную 3,2 м, на которую устанавливается пьедестал со статуей Ю. А. Гагарина. Пьедестал передней стороной выступает вперёд постамента на 25 см и на 60 см утапливается в его тело. Такой приём должен дать большую динамичность и выразительность. Объединяющий постамент как основа всего памятника получился солидных размеров, стороны треугольника достигают 8 м, высота 85 см и под ним заглубление (подрезка) 25 см, всего 1,1 м.

В процессе работы я обнаружил, что под постаментом не хватает высоты. На фоне высокоствольных деревьев парка силуэт статуи будет плохо смотреться.

Появилась необходимость поднять всю композицию выше над землей и площадью. Это даст больший эффект выразительности и четкого силуэта статуи и стел на фоне неба.

Тогда было принято решение всё сооружение поставить на 2 м выше, на насыпной холм в форме усечённой пирамиды.

Для общения и осмотра памятника и фигуры космонавта вокруг постамента на холме предусмотрен проход — тротуар шириной более 3 м, а перед статуей площадка около 5 м. Для прохода на верхнюю площадку предусмотрен лестничный марш из 18 ступеней шириной 3 м.

Это решение сделало памятник монументальным и более выразительным, масштабным. Теперь его силуэт четко смотрелся на фоне неба. Более того, его увеличенный масштаб лучше вписывался в обширное окружающее пространство.

Цветовое решение элементов памятника подчинено бронзовой, тёмного цвета скульптуре. Поэтому пьедестал и постамент как основание предусмотрены из красного гранита. Стелы, как лёгкие крылья, выполнялись из титана или легированной стали светло-серого цвета. Лестничный марш на верхнюю площадку должен быть выполнен из серого базальта.

Генеральным планом благоустройство окружающего пространства вокруг памятника были предусмотрены широкими пешеходными аллеями и площадью для проведения массовых мероприятий.

Все проектные материалы были разработаны на планшетах. Вечером, чтобы никто не мешал, я зашёл с ними к Юрию Дмитриевичу. Хотя в ходе работы я с ним постоянно

советовался, все-таки ждал замечаний. Однако замечаний не последовало, кроме одного совета. На планшетах было написано: «Памятник Ю. А. Гагарину, г. Оренбург, пр. Гагарина». Он попросил слово «памятник» убрать.

Я его спрашиваю: «Тогда как назовём?» Он немного подумал и предложил назвать «Памятный знак». А «Памятный знак» Ю. А. Гагарину поставить в Оренбурге никто не запретит. Затем он попросил не терять времени, отдать эскизы для выполнения рабочих чертежей. И вновь инженеры-конструкторы Областной проектной конторы под личным контролем начальника Е. Скойбедо получили ответственное задание.

Фундамент под объект оказался довольно сложным, высота его с учётом насыпного грунта достигла 6 м. Были учтены все нагрузки, особенно ветровая, площадь и высота стел была приличная, а это создавало эффект паруса. В то же время Ю. Д. Гаранькин связался с Ю. Л. Черновым и попросил его начинать отливку статуи.

Через некоторое время мне представилась возможность поехать в Москву, я побывал в мастерской скульптора, показал ему фотографии эскиза памятника, посмотрев их, он сказал, что памятник Ю. А. Гагарину в Оренбурге будет лучше, чем в Москве на пр. Вернадского. Я сказал: «Если не возражаешь,

ставь свой автограф на фотографии». Он взял фломастер, поставил подпись и бегло в несколько линий нарисовал себя в виде шаржа.

Между тем наступила осень, подготовили площадку для строительства, спилили клены и карагач, убрали пни и сухостой, спланировали весь участок. Вырыли котлован и приступили к монтажу арматуры и заливки фундамента. Строительные работы Ю. Д. Гаранькин поручил курировать Ю. Н. Мищерякову.

До наступления холодов фундаменты залили, но облицовку памятника красным гранитом можно вести только при плюсовых температурах. Юрий Николаевич организовал установку больших тентов в виде палаток, поставили тепловые пушки, создали необходимый тепловой режим. На облицовку гранитом городской ремонтно-строительный трест (руководитель — А. Ермолаев) выделил лучших гранитчиков. И если гранит был в наличии, то базальтовых ступеней подъёма на верхнюю площадку не было, и Ю. Д. Гаранькин отправил меня в Грузию. Недалеко от Тбилиси работало предприятие по добыче базальта и его обработке. Договоренность на поставку была, мне надо было отвезти чертежи и размеры нестандартных ступеней и убедиться, что заказ будет выполнен. Вообще в Тбилиси меня давно приглашал

автор Дворца культуры «Дружба» («Газовик») архитектор Тенгиз Лежава. Во время строительства дворца он попросил меня вместо него вести авторский надзор и не допускать отступлений от проекта, что я и сделал. Грузины удивительно гостеприимный народ. Тенгиз показал достопримечательности не только Тбилиси, но и окрестностей. Меня удивил вечерний звонок в дверь, когда мы сидели за столом, пришел сосед, который жил этажом выше. Он узнал, что у Лежавы гость и с домашним вином пришел угостить нас. Увидев мой испуганный вид на такое количество напитка, успокоительно сказал: «Мы пьем вино для беседы!» На следующий день я съездил по делам базальта, посмотрел предприятие, базальт и оставил чертежи. Поездка моя состоялась в первых числах марта, запомнилась тем, что во время цветения фруктовых деревьев там выпал снег. Работа над памятником продолжалась. Несущий каркас стел и их облицовку выполнял машиностроительный завод. Вместо титана облицевали легированными стальными листами. Чтобы избежать солнечных бликов сталь отпескоструили, придали матовую поверхность, титан не поддавался такой обработке. В конце февраля контуры памятника вместе с насыпью были четко определены и предприятие «Спецдорремонта» (руководитель — М. М. Абрамзон)

приступили к мощению территории тротуарной плиткой. Но перед этим поставили тенты и прогрели участок укладки тепловыми пушками. Скульптура из Москвы прибыла в Оренбург, облицовка гранитом закончена, стелы сварены и монтажники установили их на постамент. Оставалось выполнить только благоустройство. Объем работ был большим, и это вызывало беспокойство. Однако укладчики тротуарной плитки трудились хорошо и до конца марта выложили почти половину площади. Наступили плюсовые температуры, тенты убрали, но неожиданно возникли проблемы, которых никто не ждал. Грунт под лучами солнца начал оттаивать, плитка «поплыла», стала проваливаться.

На открытие 12 апреля были приглашены космонавты, жена Ю. А. Гагарина. Чтобы не сорвать открытие, решено было плитку убрать и закатать площадь, аллеи и тротуары асфальтом. Для меня это была неприятность, серый асфальт уступал по эстетическим качествам плитке.

Работу поручили городскому тресту по благоустройству — главному инженеру Н.В. Калашникову. Объёмы были большими, и на помощь пришло строительное управление № 809 Оренбургдорстроя, управляющий Ф. М. Азов. До открытия оставалось десять дней, хорошо, что погода установилась тёплая, безветренная и ясная.

Оба дорожных предприятия, понимая ответственность мероприятия, работали на славу. Трудились весь световой день, практически и в ночное время. Гудела техника, сновали самосвалы, одни отвозили лишний грунт, другие на это место привозили ПГС и щебень, катки уплотняли, и на подготовленные участки пошел асфальт. Каково же было моё удивление, когда вместо обычного асфальта стали укладывать красный. Сразу поднялось настроение. Я спросил: «Откуда?» Оказалось, что Н. В. Калашников уже некоторое время им занимался. В московском научном институте взял технологию, в других городах доставал необходимые компоненты и вот сюрприз, успел его сделать и положить в самое нужно время и в необходимом месте. Высокие темпы и ответственность руководителей-дорожников дали отличные результаты. Уложились с укладкой ровно в пять дней.

Красный асфальт выглядел необычно, но главное — такое большое пространство, в центре с памятником, выглядело нарядно и празднично. В оставшиеся дни занимались уборкой строительного материала, вывозом мусора. Зелентрест заканчивал посев газона, высадку цветов. Деревья были посажены еще в марте. За два дня до мероприятия выставили скамейки, урны, подкрасили столбы светильников.

Осуществилась ещё одна мечта Юрия Дмитриевича Гаранькина. Оренбург получил новый памятник, прекрасное благоустроенное монументальное пространство, которое стало любимым местом проведения праздничных мероприятий и отдыха жителей города.



На открытии памятного знака

Послесловие

Памятники как один из видов монументального искусства своим постоянным присутствием на площадях и улицах города невольно воздействуют на сознание человека. Они напоминают о славных, героических, а порой и трагических событиях. Они становятся частью истории страны. Каждый памятник — это отдельный период и эпоха ее развития или упадка, связанная с памятью о событиях или личностях.

В силу этого воздействия памятники, как и люди, имеют свою судьбу. Судьба их переменчива, некоторые «живут» века и даже тысячелетия, другие намного меньше. К сожалению, долговечность их, а с ними и частицы истории зависят от смены политического и экономического строя или прихода к власти того или иного правителя.

В начале 90-х годов в России с разгулом «демократии» был снесён ряд памятников деятелям советского государства, в том числе памятник Ф. Э. Дзержинскому. Многие памятники этого периода не поставлены на учёт и баланс и как бесхозные разрушаются. Такое отношение власти к собственной истории породило у некоторых стран волну к уничтожению памятников советского

периода и искажению его исторического прошлого.

Эта эпидемия коснулась и нашего города. После избрания главой города Ю. Н. Мищерякова в начале 2000-х годов на ул. Советской снесли памятник «Слава труду», уничтожили бассейн с фонтаном под строительство торгового комплекса «Атриум». Не избежал участи изменения и памятник Ю. А. Гагарину. Что побудило главу города совершить эти беспрецедентные, противоправные действия, он описывает в главе «Поднять Гагарина» в своей книге «С судьбой наедине». Дословно: «Памятник Гагарину в начале двухтысячных я распорядился поднять почти на метр, поскольку изначально он был провален и в перспективу вписывался слабо. С этой идеей я носился ещё в момент закладки памятника, но не нашёл понимания ни у Ю. Д. Гаранькина, ни у архитектора. И вот после своего избрания пригласил я Юрия Дмитриевича к себе. Он попыхтел-попыхтел и спрашивает: «Ну что? Гагарина будешь поднимать?» — «Обязательно!» — ответил я. — Должны же вы убедиться в моей правоте!» Из этой цитаты совершенно очевидно, что Юрий Дмитриевич был категорически против, а глава далек от понимания того, что памятник — произведение архитектуры и скульптуры, а

перспектива — вид вдаль на находящиеся далеко предметы. Что касается правоты, то свою личную правоту он путает с правом, с правом чиновника, обладающего властью. Об авторах памятника даже не вспомнил, между тем авторские права на произведения архитектуры, искусства, литературы и науки защищены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Увеличение постамента со статуей космонавта нарушило пропорции и масштаб между всем сооружением и его элементами, частями и деталями. Пьедестал по своей массе и высоте стал доминирующим элементом, статуя — второстепенным. Факсимиле — роспись космонавта осталась снизу пьедестала и выглядит нелепо, как и сам увеличенный постамент.

Хочется верить и надеяться, что вновь избранный глава Оренбурга восстановит памятник в его прежнем виде. Это нужно не только городу, но и памяти ушедших из жизни авторов Ю. Л. Чернова — народного художника РСФСР и Г. Г. Исаковича — заслуженного архитектора РСФСР, лауреата Ленинской премии СССР. Это нужно и памяти Ю. Д. Гаранькина — талантливого градоначальника, инициатора создания памятника Ю. А. Гагарину.

Æóðíàë «Èñò îðè÷ãñêéé áãñò íèè»,
1899 ãîä

ПАМЯТНИКИ И. И. НЕПЛЮЕВУ.



ВЪ ПРОШЛОЙ жизни отдаленнаго Оренбургскаго края, обширнаго и въ былое время пограничнаго, насчитывается немало людей обширнаго ума, замѣчательныхъ административныхъ, военныхъ и общественныхъ дѣятелей. Только о немногихъ изъ нихъ сохранило благодарную память потомство, и мѣстные біографы и историки посвятили свои досуги описанію и оцѣнкѣ ихъ плодотворной общественной дѣятельности. Лишь одному тамошнему администратору, первому губернатору оренбургскому (1744 -- 1758) и организатору Оренбургской окраины, тайному совѣтнику Ивану Ивановичу Неплюеву, выпалъ счастливый жребій заслужить признательность послѣдующихъ поколѣній. Немало статей, очерковъ и замѣтокъ, посвященныхъ его памяти, разбросано въ періодическихъ изданіяхъ, даже составлена цѣлая пяти-томная монографія ¹⁾ о немъ, а нынѣ полезная дѣятельность его оцѣнена съ высоты престола: «по ходатайству оренбургской городской думы, въ 31-й день декабря 1898 года, состоялось высочайшее разрѣшеніе на открытіе сбора добровольныхъ пожертвованій для сооруженія въ г. Оренбургѣ памятника Неплюеву, какъ организатору Оренбургскаго края».

Въ виду этого, намъ кажется нелишнимъ на страницахъ историческаго изданія сказать нѣсколько словъ по поводу этого предполагаемаго сооруженія, долженствующаго увѣковѣчить въ потомствѣ неувядаемую память о Неплюевѣ именно въ томъ городѣ, ко-

¹⁾ «И. И. Неплюевъ и Оренбургскій край» Витовскаго. По второму изданію три тома.

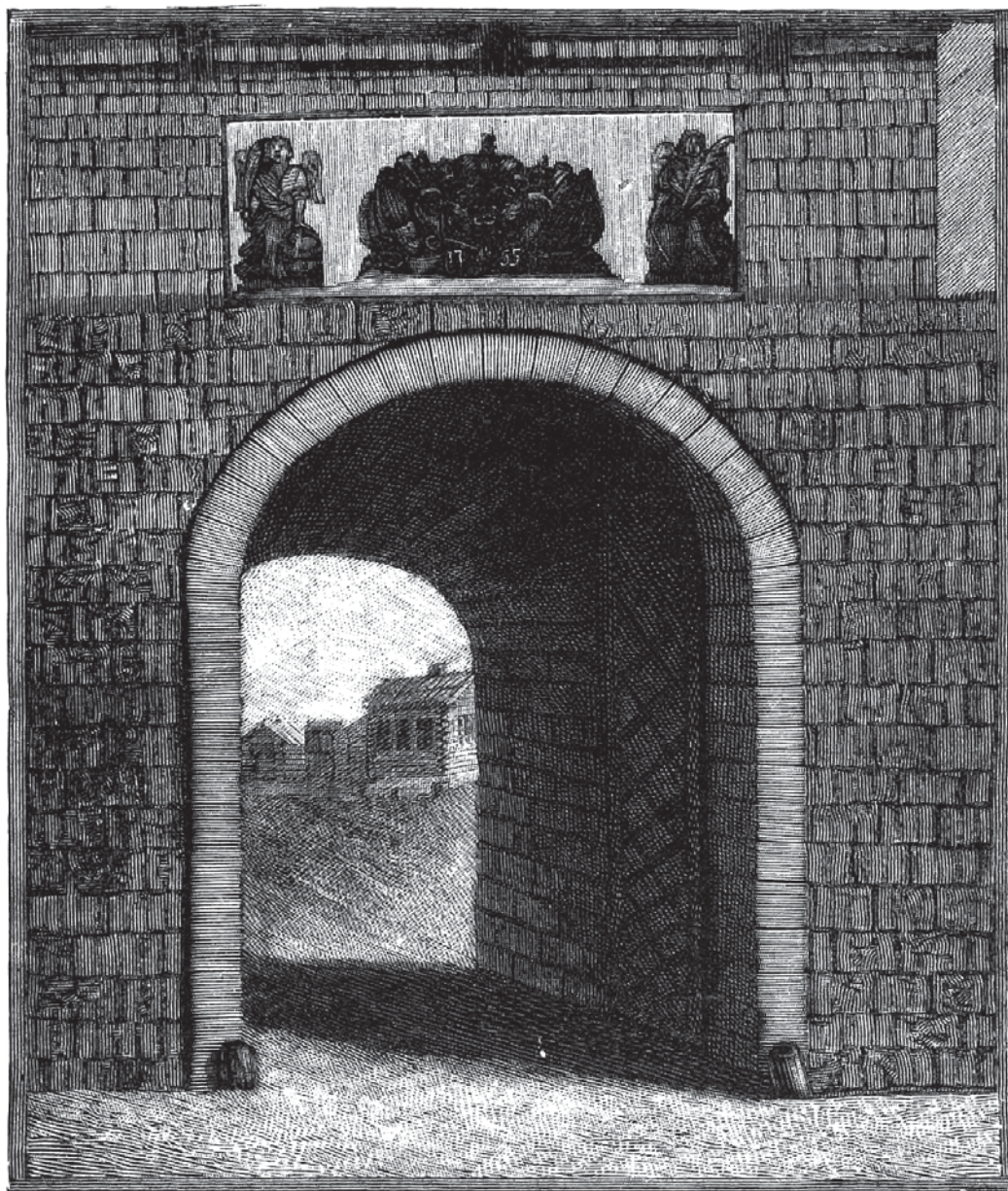
торый созданъ его трудами въ дикомъ дотога краѣ, посреди широкой степи, на рубежѣ непокорныхъ варварскихъ племенъ, чтобы быть всегда на стражѣ отъ дерзкаго вторженія кочевниковъ внутрь страны, управлять и руководить ими и, при случаѣ, заставлять ихъ повиноваться Россіи,—и который, благодаря этому, съ тѣхъ поръ получилъ названіе «столицы степей»,—а также попутно рассказать и о другихъ памятникахъ покойному, увы, неизвѣстныхъ не только его біографамъ, но даже многимъ жителямъ Оренбурга.

Всѣхъ сооруженій, исключительно посвященныхъ имени Неплюева и такъ или иначе напоминающихъ о его дѣятельности, въ степной столицѣ въ настоящее время насчитывается три. Первымъ по времени такимъ напоминаніемъ, воздвигнутымъ еще при жизни Неплюева, хотя до сей поры мало извѣстнымъ и почти всѣми забытымъ, являются каменные ворота, стоящія нынѣ въ концѣ Николаевской улицы (главной въ городѣ), противъ бывшаго генералъ-губернаторскаго дома ¹⁾, между бульваромъ и оранжереей оренбургскаго отдѣла императорскаго общества садоводства, на правомъ нагорномъ берегу рѣки Урала, какъ разъ при спускѣ по нарочито устроенной каменной лѣстницѣ къ лѣтному пѣшеходному мостику. Ворота эти, сложенные изъ кирпича и окрашенныя бѣлой краской, имѣютъ 6 аршинъ ширины и 3½ аршина вышины. Въ боковыхъ глухихъ калиткахъ ихъ (какъ указано на рисункѣ № 1), въ углубленіяхъ съ лицевой стороны, вставлены двѣ грубо обдѣланныя изъ бѣлаго камня статуи, изображающія ангеловъ съ щитами и пальмовыми вѣтвями въ рукахъ. На верху, на перекладинѣ, между маленькими четырехскатными крышами, утверждены ребромъ три, соединенныя вмѣстѣ позади желѣзными скобами, плоскіе бѣлые камни, изъ коихъ на двухъ боковыхъ видны различные предметы стариннаго вооруженія: знамена съ древками, ружья, сѣкиры, копья, ядра, топоры, барабаны, сигнальные рожки, литавры, трубы и заднія части орудій. На среднемъ, гораздо большемъ противъ двухъ первыхъ, высѣченъ увѣнчанный императорской короной россійскій государственный гербъ съ переплетенными въ срединѣ его инициалами императрицы Елисаветы Петровны — «Е. Р.», а подъ низомъ его цифра «1755» годъ.

Памятникъ этотъ былъ присланъ государыней изъ Петербурга, въ видѣ награжденія Неплюеву за усмиреніе башкирскаго бунта 1755 года ²⁾, и тогда же, ради бѣльшаго напоминанія туземцамъ объ этомъ печальномъ событіи, вышепоказанныя арматурныя украшенія были поставлены поверхъ (на карнизѣ) водяныхъ воротъ Оренбургской крѣпости, обращенныхъ лицомъ къ Уралу на корпусную сторону, по Яицкой (нынѣ Водяной) улицѣ, гдѣ украшенія

¹⁾ Нынѣ въ этомъ домѣ помѣщается казенная палата.

²⁾ См. «Оренбургск. Губернск. Вѣдом.» 1890, № 29, стр. 5—6.



Памятникъ И. И. Неплюеву въ Оренбургѣ, въ прежнемъ видѣ.

были расположены на одной высотѣ: по срединѣ камни съ надписями, а по бокамъ ангелы (см. рис. № 2), что еще помнятъ многіе старожилы Оренбурга.

Въ 1862 году, 11-го іюня, послѣдовалъ указъ объ упраздненіи въ Оренбургѣ крѣпости, какъ уже утратившей свое значеніе. Лѣтомъ слѣдующаго года, при разрушеніи крѣпостнаго вала, памятникъ этотъ былъ снятъ съ водяныхъ воротъ и долгое время валялся въ

запустѣнія. Лишь съ прїѣздомъ въ 1864 году въ Оренбургъ новаго генераль-губернатора, генераль-адъютанта Н. А. Крыжановскаго, ангелы и арматурныя украшенія были снова вынесены на свѣтъ Божій изъ сараевъ интендантскихъ складовъ и пристроены къ воротамъ собственной его оранжереи, перешедшей потомъ къ оренбургскому отдѣлу императорскаго общества садоводства ¹⁾).

Вторымъ памятникомъ Неплюеву служитъ кадетскій корпусъ его имени, открытый въ 1824 году, по инициативѣ императора Александра I, на средства мѣстныхъ дворянъ и получившій съ высочайшаго соизволенія названіе «Неплюевскаго». До 1844 года корпусъ этотъ именовался военнымъ училищемъ, потомъ (до 1867 г.) корпусомъ, военной гимназіей (до 1882 года) и, наконецъ, вновь кадетскимъ корпусомъ, коему въ текущемъ году, 4-го августа,

¹⁾ В. Н. Витевскій въ своей монографіи — «Неплюевъ и Оренбургскій край» (вып. II, стр. 188), увѣряетъ, что «водяныя ворота сохранились до сихъ поръ и находятся къ пѣшеходному мосту черезъ Уралъ на Бухарскую (sic) сторону», а о сооруженіи этого памятника не обмолвился ни единымъ словомъ. Очевидно, онъ даже не подозрѣвалъ о его существованіи такъ же, кстати сказать, какъ не зналъ о существованіи многихъ документовъ къ біографіи Неплюева, хранящихся въ архивахъ Тургайскомъ (хотя данными послѣдняго онъ и пользовался), Уфимскомъ и Оренбургскомъ (центральному). Монографія его есть сплошное восхваленіе Неплюева и совсѣмъ не касается отрицательныхъ сторонъ его дѣятельности, какъ будто онъ не имѣлъ никакихъ слабостей и недостатковъ. Въ рецензії нашей (въ № 474 «Камско-Волжскаго края» за 1897 годъ) мы указали ему недостатки его книги, перечисливъ нѣкоторыя весьма существенныя ошибки Неплюева: 1) основаніе Оренбурга на нынѣшнемъ мѣстѣ—въ голой степи, не защищенномъ никакими естественными преградами и не имѣвшемъ никакихъ выгодъ и преимуществъ ни въ стратегическомъ, ни въ тактическомъ, ни въ экономическомъ, ни въ торгово-промышленномъ отношеніяхъ; 2) переселеніе въ Оренбургскій силошъ инородческій край въ 1744—1745 годахъ Кундровскихъ (Астраханской губерніи) и Казанскихъ татаръ, когда требовалось обрусить пограничныя провинціи, о чемъ заботились предшественники Неплюева, т. е. Татищевъ и князь Урусовъ; 3) неумѣлое управленіе киргизами и, наконецъ, 4) неправильная организація и устройство казачьихъ войскъ, особенно Оренбургскаго, заставившія впоследствии (до 1844 года) снова переселять казаковъ съ одного мѣста на другое. Кромѣ того, мы опровергли невѣрныя данныя монографіи о первомъ появленіи въ 1584 году казаковъ на Яикѣ и ихъ подданствѣ Россіи во времена Михаила Ѳеодоровича, когда уже въ 1580 году казаки эти разгромили столицу ногайскаго хана Сарайчикъ (на Яикѣ) и въ 1591 году ходили по приказу царскому противъ Шамхала Тарковскаго. Указаны были спутанныя даты о построеніи гг. Уфы, Бирска, Мензелинска и Оренбурга, невѣрныя свѣдѣнія о раздѣленіи киргизскихъ родовъ, сборъ съ киргизовъ ясака до 1736 года, о посылкѣ въ степь перваго торговаго каравана въ 1738 году, когда такой караванъ былъ отправленъ еще въ 1734 году, о возникновеніи въ Оренбургѣ Неплюевскаго училища и т. д., подтверждая наши доводы неизвѣстными автору монографіи архивными документами. Но противъ всякаго ожиданія, вмѣсто того, чтобы быть благодарнымъ за наши указанія, г. Витевскій выступилъ противъ насъ (въ № 503 «Камско-Волжскаго Края») съ рѣзкимъ отвѣтомъ и при вторичномъ изданіи своей монографіи нисколько не позаботился исправить допущенныя ошибки. А между тѣмъ самъ сѣтуетъ (въ предисловіи къ 2 вып.

— Памятники Неплюеву —

965

исполнится 75 лѣтъ существованія. Сначала, до перевода въ 1872 году въ нынѣшнее громадное каменное четырехъ-этажное зданіе на Каравансарайской площади, училище это помѣщалось въ домахъ, занимаемыхъ теперь женскими гимназіей и прогимназіей, на углу Введенской и Петропавловской улицъ и, поэтому съ того же времени послѣдняя улица была переименована въ «Неплюевскую», сохранивъ свое названіе и по сію пору, служа такимъ образомъ третьимъ напоминаніемъ о бывшемъ первомъ оренбургскомъ губернаторѣ.



Наконецъ, четвертымъ грандіознымъ монументомъ въ честь покойнаго воздвигнуть въ Оренбургѣ на Сакмарской площади ¹⁾ новый кафедральный соборъ во имя Казанской иконы Божьей Матери, заложенный 8-го сентября 1886 года и оконченный постройкой вчернѣ въ 1895 году ²⁾.

Предполагаемый нынѣ къ сооруженію новый памятникъ Неплюеву будетъ такимъ образомъ по счету пятымъ о немъ напоминаніемъ.

Мысль о сооруженіи его впервые возникла среди горожанъ въ 1893 году, во время празднованія 5-го ноября 200-лѣтія со дня рожденія Ивана Ивановича ³⁾, но недостатокъ средствъ въ городской кассѣ заставилъ отложить на время задуманное предпріятіе. Теперь же, можетъ быть, не далеко то время, когда Оренбургъ украсится новымъ капитальнымъ сооруженіемъ.

Смотря по собраннымъ средствамъ, до болѣе детальной разработки памятника, оренбургская дума пока остановилась на такомъ интересномъ проектѣ.

На каменномъ постаментѣ возвышается пирамидальной формы гранитная четырехгранная колонна съ бронзовымъ бюстомъ покойнаго на вершинѣ ея. Со всѣхъ сторонъ колонны вѣзываются чугунныя доски съ изображеніями важнѣйшихъ моментовъ его жизни и дѣятельности и съ соотвѣтствующими подъ ними надписями. Такъ, напримѣръ, на лицевой сторонѣ будетъ красоваться гербъ дворянъ Неплюевыхъ съ надписью о томъ, когда онъ имъ пожалованъ, и біографическими датами о рожденіи, смерти и времени управленія краемъ Ивана Ивановича. На противоположной сторонѣ — гербъ г. Оренбурга и дата о днѣ его основанія на нынѣшнемъ мѣстѣ. Наконецъ, на двухъ другихъ сторонахъ вставляются рисунки вышепоказаннаго памятника усмиренія башкирскаго бунта 1755 года въ прежнемъ и настоящемъ видахъ.

Памятникъ предполагается поставить среди цвѣточной куртины такъ называемаго новаго садика, лицомъ къ Неплюевскому кадетскому корпусу такъ, чтобы на Каравансарайской площади были сосредоточены всѣ сооруженія, о немъ напоминающія.

Къ сожалѣнію, опять остаются почти забытыми гдѣ-то въ глуши пожалованныя Неплюеву арматурныя украшенія 1755 года. Вотъ ихъ-то, по нашему мнѣнію, и слѣдовало бы скорѣе всего перенести

¹⁾ Служащей продолженіемъ площади Каравансарайской.

²⁾ Хотя въ главномъ придѣлѣ производится служба, но соборъ еще не отдѣланъ ни внутри (живописью), ни снаружи, на что, какъ говорятъ, потребуется еще свѣше 160 тысячъ рублей, помимо уже затраченныхъ 350 тыс. руб.

³⁾ Ив. Ив. Неплюевъ родился 5-го ноября 1693 года, умеръ 11-го ноября 1773 года. Управлялъ краемъ сначала командиромъ Оренбургской комиссіи (съ 1742 года), а потомъ оренбургскимъ губернаторомъ (съ 1744 года) до 1758 года.

— Памятники Неплюеву —

967

на показанную площадь и уставить въ воротахъ новаго сада противъ корпуса въ томъ же самомъ видѣ, какъ они стояли раньше на водяныхъ воротахъ Оренбургской крѣпости, устроивъ для нихъ точно такія же ворота. И тогда можно было бы вполне сказать, что всѣ памятники Неплюеву сосредоточатся на Каравансарайской площади, замѣнивъ кстати и татарское названіе послѣдней болѣе приличествующимъ названіемъ «Неплюевская площадь».

П. Юдинъ.



Алла ПРОКОФЬЕВА

Казак, историк, литератор

Послесловие

Сведения о жизни Павла Львовича Юдина, оренбургского казака, историка-архивиста, литератора (литературный псевдоним — П. Ю.), краоведа, обрывочны. Возможно, отсутствие некоторых биографических данных связано с частыми переездами П. Юдина.

Известно, что П. Л. Юдин родился в 1864 году в станице Сакмарской, окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 2-му разряду, получил высшее образование по специальности «архивист».

С 1881 года он был на военной службе, к 1884 году дослужился до чина хорунжего. Начиная с 1889—1890 гг. публиковал краеведческие статьи, написанные на архивном материале, в газетах «Оренбургские губернские ведомости», «Оренбургский листок», «Тургайская газета» (очерк «Набег», «Возмездие»).

В 1894 году в оренбургской газете «Тургайские ведомости» напечатал ряд статей о внуке хана Абдулхаира султана Каратае, известном в XIX в. в Оренбургском крае своими разбойничьими набегами (с подзаголовком «Из истории киргизских волнений в Малой орде»).

В 1896 году в газете «Оренбургский листок» Юдин поместил открытое письмо «тургайским историографам» об искажениях в публикациях, посвящённых пребыванию поэта А. Н. Плещеева в Оренбургском крае.

В эти же годы Юдин печатался в столичных журналах «Исторический вестник», «Русский архив», «Русская старина». Его работы были посвящены в основном истории и быту уральского казачества, башкир, старообрядчеству, пребыванию в Оренбургском крае в 1824 году Александра I, А. С. Пушкина, Н. Успенского, Т. Шевченко, жизни графа В. А. Перовского, А. Н. Плещеева, М. Д. Скобелева, барона О. А. Игельстрома, Пугачёвскому восстанию, судьбе князей Багратионов-Имеретинских в России и др.

Интересны статьи П. Юдина «Россия и Персия в конце 1742 года (из писем переводчика В. Братищева канцлеру князю Черкасскому) — «Русский архив», 1889; «Городок Сакмарский» (историко-этнографический очерк) — «Оренбургские губернские ведомости», 1890; «Пленные 1812 года в Оренбургском крае» — «Исторический вестник», 1892; граф Перовский в Оренбургском крае — «Русская старина», 1896; «Памятники И. И. Неплюеву» — «Исторический вестник», 1899 и др.

П. Л. Юдин был членом трёх учёных архивных комиссий: Оренбургской, Нижегородской и Саратовской и Петровского общества исследователей Астраханского края. Как сотрудник Оренбургской учёной архивной комиссии активно участвовал в сборе и публикации материалов о пребывании А. С. Пушкина в Оренбурге, чему был посвящен сборник «Трудов» ОУАК 1900 г.

С 1896 года Юдин проживал в Нижнем Новгороде, но продолжал состоять в Оренбургском казачьем войске.

В 1898 году переехал в Астрахань, был письмоводителем в гимназии и работал в архиве, где применил новую систему описания и хранения документов.

В начале 900-х Юдин безуспешно пытался издать газету в Симбирске, потом переехал в Самару, устроился в гимназию, но у него не сложились отношения с её директором, и он уехал в Саратов.

В 1910 году был принят в состав Теркского общества любителей казачьей старины, а в 1911-м Юдина пригласили переехать во Владикавказ, куда он переехал, продав в Саратове свою небольшую типографию.

В годы Первой мировой войны он служил в ополчении, был военным корреспондентом. В период революции вернулся во Владикавказ, потом жил в разных городах, сотрудничал с газетами.

В 1924 году Юдин переехал в Астрахань, в 1925 участвовал в I съезде архивных деятелей РСФСР в Москве.

В XXI веке интерес к личности П. Л. Юдина и его краеведческим работам возрос: в последние годы о нём написаны очерки, статьи В. Г. Семёновым, В. Г. Цогоевым, В. А. Колесниковым, диссертация Ф. А. Киржиновой.



Сергей КОЛЫЧЕВ

«ДЕРЖАВИН. КАРАМЗИН. ВЫСОЦКИЙ»

(ïîâçäèà ïî çîëîòîó êîëüöó)

Сергей Викторович Колычев родился в 1977 году в Бузулуке Оренбургской области. Окончил исторический факультет и аспирантуру Самарского государственного педагогического университета. Защитил кандидатскую диссертацию по истории Уральского (Яицкого) казачьего войска. Работал журналистом на областном ТВ и в газетах. Ныне – руководитель пресс-службы Бузулукской епархии, сотрудник Таманской экспедиции Института археологии РАН, ведущей раскопки крупнейшего в России памятника античного времени – древнегреческого города Фанагории. Живёт в Бузулуке.

18–19 октября 2018 года в Бузулуке и Бузулукском районе состоялось межрегиональное литературное мероприятие «Державин. Карамзин. Высоцкий: сохранение и развитие наследия в Оренбургской области». Оно включало в себя тур по сёлам Державино, Преображенка (Карамзино) и Воронцовка, которые связаны с жизнедеятельностью и творчеством поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, писателя и историка Николая Карамзина, автора-исполнителя и актёра Владимира Высоцкого. Гости Бузулука ознакомились с объектами культурного наследия и исторической застройкой города.

В селе Державино завершилась научная реставрация храма Смоленской иконы Божией Матери, который построен стараниями Г. Р. Державина в XVIII веке. Прозвучала молитва о жертвах трагедии в Керчи. Сама поездка началась

с минуты молчания. Также настоятель храма иеромонах Никандр (Юрдонов) совершил заупокойную литию по усопшим представителям семей Державиных, Карамзиных, Пушкиных, Аксаковых, Шишковых, выдающимся губернаторам и учёным Оренбуржья. В селе Преображенка за прошедшие годы расчищена территория липовой аллеи в районе разрушенного барского дома. Возраст лип, по словам учёных, составляет 170–200 лет. В сильно повреждённом виде сохранилось здание храма святителя и чудотворца Николая Мирликийского. Этот храм XIX века был приходским и одновременно усыпальницей оренбургских Карамзиных. Особое внимание было обращено на остатки барского особняка конца XIX — начала XX веков

и музейную комнату в селе Воронцовка. В этом селе с августа 1941-го по август 1943 года проживал в эвакуации со своей мамой Володя Высоцкий.

В дополнение к основной программе был осмотрен храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с подземными коридорами и кельями Спасо-Преображенского бузулукского мужского монастыря. В этих пещерах жили православные подвижники. Здесь в 1870-х годах дважды побывал писатель Лев Толстой и представители его семьи. Погода благоволила поездке, было солнечно и ярко.

19 октября в городском краеведческом музее была открыта выставка «Державин, Карамзин, Высоцкий и Бузулукский край». В течение месяца посетители могли увидеть



На открытии выставки



Выступает Г.П. Матвиевская

порядка 150 предметов, которые отображают несколько исторических эпох: с XVIII по XXI век. Впрочем, здесь есть и сарматский меч V века до нашей эры. Находка была обнаружена в окрестностях села Державино. Среди экспонатов — фарфоровая сахарница, которую один из помещиков села Преображенка подарил своему работнику на именины, рушник, вышитый крепостной села Державино. Интересен простой деревянный табурет, на котором, по словам Михаила Бирюлина, участника детских игр маленького Володи Высоцкого, будущий актёр читал в Воронцовке стихи. Выставлены

метрические книги XIX века и ценные фото, предметы, обнаруженные в ходе археологических раскопок. Экспонаты представлены Бузулукским краеведческим музеем, храмом Смоленской иконы Божией Матери, фондом им. Г. Р. Державина, НПП «Археобюро» (Оренбург), библиотеками и школами с. Державино и Преображенка, фольклорным коллективом «Карамзиха».

Специально к этой выставке член Союза художников России Александр Побежимов написал портреты Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, В. С. Высоцкого и несколько пейзажей исторических сел. Работы написаны с большим мастерством, в них чувствуется вдохновение художника и признание заслуг исторических персонажей. Выставка сопровождается научно-справочным аппаратом и видеофильмами.

Среди участников литературного мероприятия были признанные и молодые учёные и писатели, работники библиотек, музеев и архивов, художники и искусствоведы из Оренбурга, Бугуруслана, Грачёвки, Аксаково, Курманаевки, Бузулука, Самарской области и Республики Татарстан. Были возложены цветы к памятникам Г. Р. Державину, Н. М. Карамзину, основателю Оренбургского края в системе российской государственности

И. К. Кирилову, памятной доске В. С. Высоцкому. В литературном туре приняло участие свыше 60 человек. Местные жители увлечённо встречались и общались со своими гостями.

Известный российский писатель Пётр Краснов был рад снова увидеть Державинский храм. В 1980–1990-е годы вместе с оренбургским поэтом Валерием Кузнецовым и фронтовиком Евгением Кондаковым, другими людьми Пётр Николаевич приложил немало усилий, чтобы воссоздать приход в селе, вычистить здание от голубиного помёта и хозяйственного мусора, спасти от разрушения сам храм. Фарида Муртазина, директор музея Лаишевского края, хранитель наследия семьи Державиных в Республике Татарстан, оценила, как изменилось Державино за последние пять лет. Признанный оренбургский краевед и писатель Галина Матвиевская с большим интересом осмотрела памятные места и сам Бузулук, в котором оказалась впервые. Директор Борского краеведческого музея Любовь Требунских и директор Борской библиотечной системы Ирина Храпунова из Самарской области выразили мнение, что дети из соседних регионов должны обязательно бывать в литературных местах Оренбуржья.

Итоги поездки обсуждались в ходе работы круглого стола,

который прошёл в читальном зале библиотеки им. Льва Толстого. Специально для участия в нём из Оренбурга прибыли председатель комитета по делам архивов Оренбургской области Владимир Рубин и представитель регионального министерства по физической культуре, спорту и туризму Екатерина Степанова. Со стороны администрации города участие в дискуссии приняла заместитель начальника управления по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Халецкая. Бузулукский район представлял советник главы по вопросам туризма Анатолий Алдухов. Общение происходило в формате «свободного микрофона», но все предложения протоколировались. Своё мнение высказывали не только специалисты, но и приглашённые участники, такие как ученик школы № 3 Глеб Битев. Альбина Кальвина, ответственный секретарь Оренбургского отделения Союза художников России, считает, что в ходе следующего Всероссийского пленэра имени Филиппа Малявина, который раз в два года проходит на бузулукской земле, художники должны иметь возможность поработать в сёлах Державино, Преображенка и Воронцовка. Среди других предложений — расширение просветительской работы, активное привлечение представителей общественности

для охраны объектов культурного наследия, издание информационных буклетов, дальнейшее развитие Бузулукского краеведческого музея, устройство современной навигации на дорогах для удобства туристов, увеличение количества экскурсий для школьников.

В конце заседания стороны обменялись благодарственными письмами и памятными подарками. В ходе межрегионального литературного мероприятия пополнены книжные фонды библиотеки им. Л. Н. Толстого г. Бузулука, села Державино и Преображенка, школы села Елховка.

Поездка и мероприятия были организованы фондом им. Г. Р. Державина, областной универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупской, Бузулукским краеведческим музеем на средства фонда президентских грантов по программе «Литературное кольцо Бузулукского края». Поддержка мероприятию была оказана министерством культуры и внешних связей, министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, Бузулукской епархией, администрациями г. Бузулука и Бузулукского района, попечительским советом БФ «Им. Г. Р. Державина».



Участники мероприятия у памятника И.К. Кирилову



Виталий МОЛЧАНОВ

О ПОЭЗИИ, ПСКОВЕ И СВЯТОМ НИКАНДРЕ

Виталий Митрофанович Молчанов родился в 1967 году в Баку. Окончил Московскую академию нефти и газа. Служил в армии. Печатался в «Литературной газете», в журналах «Дети Ра», «День и Ночь», альманахах «Лёд и пламень», «Паровозъ», «Гостиный Двор», «Баиня», «Чаши круговая», в «Антологии русской поэзии XXI века» и др. Лауреат региональной литературной премии им. П. И. Рычкова (2014), премии им. С. Т. Аксакова (2014), премии «Оренбургская лира» (2014), Международного литературного конкурса им. А. И. Куприна (2016), Всероссийской премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2016), Волошинской премии (2016). Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, директор оренбургского областного Дома литераторов им. С. Т. Аксакова.

Маленький корабль с гордым названием «Буревестник» теперь может по праву именоваться «литературным» — команда участников единственного в России фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» дружно поднялась на борт прогулочного речного судна. Катанием по волнам завершалось ежегодное масштабное мероприятие псковских писателей. Июльская погода не переставала радовать — безветренная, ясная и тёплая, такая же, как забота о нас, поэтах-путешественниках, со стороны основного организатора «Словенского поля» — поэта Андрея Беньяминова и его замечательных помощниц, поэтесс Виты Пшеничной и Натальи Лаврецово́й. Их стараниями и подвижничеством десять лет существует на гостеприимной псковской земле фестиваль, давно ставший традиционным.

«Мы неспешно отчалили от пристани, развернулись, теплоход лёг на курс, плавно скользя по голубой в золотых солнечных блёстках водной глади реки Великой. На правом берегу в окружении каменных стен и башен грозно возвышался древнейший Псковский Кремль — форпост западных рубежей России. Псков и Изборск — живая история, дошедшая до нас из глубины минувших веков», — так начал я рассказ об одном из двух значительных литературных мероприятий, на которых побывал прошлым летом. Мои благодарные слушатели — молодые поэты, участники оренбургского литературного движения «Другая среда», пришли на очередные занятия по поэтическому мастерству в областной Дом литераторов им. С. Т. Аксакова. Именно с ними делюсь я своими впечатлениями о двух интереснейших поездках — на псковский фестиваль «Словенское поле» и на Первый Международный литературный тургеневский конкурс-фестиваль «Бежин луг», проводимый в селе Тургенево Тульской области региональным министерством культуры и Союзом российских писателей. И дело совсем не в том, что привёз я

в родное Оренбуржье две высокие награды за первые места в поэтических номинациях фестивалей, мои творческие удачи тут совершенно ни при чём. Задача моя другая — разжечь в молодых поэтах неутолимую жажду путешествий, знакомства с новыми людьми, встреч с читателями и слушателями, желание побывать в иных, отличающихся от тепличных, условиях. Участники «Другой среды» — молодцы, они устраивают в Оренбурге и области прекрасные поэтические вечера, где своими силами создают музыкальные мини-спектакли по произведениям лучших классических поэтов России. Теперь пришла пора повысить свой поэтический уровень, чтобы читать с большой сцены для почтенной публики авторские произведения.

Поколение гаджетов, к сожалению, тяжёло на подъём. Многие считают, что весь мир заключён в коробочке телефона, то есть находится в одном из собственных карманов. Большого труда стоит оторвать поэтов-самоучек от дисплеев, вырвать из привычного мирка тусовки, убедить в необходимости расширять свои горизонты, перенимая лучшее у признанных мастеров слова. Для

этого нужно больше читать классиков и, что тоже важно, поэтов-современников, знать основы русского стихосложения и, конечно же, больше ездить на хорошие литературные мероприятия. Любая предстоящая поездка — пока непрочитанная страница жизни, радующая творческими замыслами, впечатлениями, в результате которых появляются на свет новые произведения.

За день до открытия мы, участники фестиваля, посетили Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь, расположенную на болотах в 80 километрах восточнее Пскова. Удивительное место, поражающее воображение. Вступая на монастырскую землю, ты как будто переносишься из двадцать первого века в век шестнадцатый — окунаешься в благостную атмосферу служения Господу, где каждая мелочь, даже ласточкино гнездо под стрехой храма, имеет свой смысл. Жизнь братии размеренна, несуетна, всё вокруг устроено и обихожено неустанными руками монахов — будь то церковь, трапезная, огород, каждая хозяйская постройка. Тишина, мир и порядок царят в обители, славящейся своими целебными источниками, а их тут целых пять, и волшебным,

пропитанным хвоей воздухом. Самого святого Никандра почитают за редкостное смирение и любовь к Господу — всё время проводил он в непрерывных молитвах, ел раз в день, чаще всего траву «уж», а пил через день, измождая своё тело, замечательно владел даром исцеления и мог предсказывать будущее. Про святого Никандра — великого пустынника своего времени — рассказывают легенды, совершено им было немало чудес, слава о которых поныне живёт в народе. Бесы досаждали славному монаху, но вера во Христа и сила воли всегда помогали ему побеждать нечистых. Говорят, что однажды бес, вселившись в медведя, напал на святого Никандра, но святой перекрестил зверя и тот свалился наземь без сознания, а когда очнулся, стал, как ласковый щенок, лизать Никандру ноги...

Официально восьмой фестиваль «Словенское поле» открылся приношением земель к Поклонному кресту Священного холма единения и славы России. Люди из разных городов, областей и стран в знак солидарности привозят и возлагают к подножию креста горсти земли из родных мест. Земли смешиваются в единое целое, наши судьбы также объединяются в судьбу всего народа.

Сами литературные чтения фестиваля поэзии «Словенское поле» проходили в Нескучном садике музея-заповедника «Изборск». «На Псковщину приехали 83 поэта из России, Украины, Беларуси и Латвии, пишущие в жанре исторической поэзии, — продолжил я. — Считаю и буду считать, что на великие темы нужно писать очень хорошо или не писать вовсе, иначе из трагедии получится фарс».

— Чьи выступления вам особенно запомнились, оставили наиболее яркие впечатления? — сразу же спросили меня.

— Потрясающие, переворачивающие душу стихотворения и песни Владимира Шемшученко — председателя жюри, Короля Поэтов из Санкт-Петербурга; точные, острые, ножевые стихотворения Игоря Тюленева — члена жюри, поэта из Перми; мастерски выписанные поэтические работы москвича Никиты Брагина и тонкие, изящные стихотворения поэтессы Ольги Флярковской, также представлявшей столицу.

Мы плыли посередине реки, оживлённо обмениваясь впечатлениями о фестивале. Справа и слева от нас расположились городские пляжи, из-за жаркого

дня переполненные отдыхающими. Тройка водных мотоциклов гонялись друг за другом, выписывая замысловатые пируэты. Один из них помчался прямо наперерез нашему «Буревестнику», круто повернул перед самым носом и продолжил движение параллельно левому борту, вздыбив большую волну. Он явно хотел окатить нас водой, но, не рассчитав угол наклона скутера, чуть сам не нырнул под воду вместе с грохочущей железякой, едва удержав руль. Незадачливый гонщик какое-то время пытался справиться с машиной и затем на малой скорости повернул к пляжу.

«Множество пишущих людей мнят себя самыми настоящими поэтами — создают под себя сайты, литературные кружки и студии, взаимно обмениваются «теплышками» на «Стихах.ру», наивно убеждая себя в особой исключительности, даже гениальности. Есть и ещё одна крайность — когда пишущие сбиваются в маленькие группки по интересам, изолируясь от литературного движения, прославляют своих, не признавая за кем-то другим права быть талантливым и интересным читателям, закрывая форточки перед малейшей

струйкой свежего воздуха. Они огульно обижаются на «толстые» журналы, не желающие размещать у себя на страницах вирши сомнительного качества. Именно такие писаки утверждают, что литературные издания более не актуальны, что на смену им пришёл электронный самиздат, что поэтические батлы с матерками и слэмы гораздо популярнее опубликованного русского художественного слова. Как похожи подобные типы на горе-скутериста, решившего

напугать из глупого озорства целый литературный теплоход!

У слиянии рек Псковы и Великой на набережной установлены большие буквы: «Россия начинается здесь». Когда смотришь на них на душе становится легко и радостно. Если не через год или два, но мы вернёмся обязательно на фестиваль исторической поэзии «Словенское поле», как возвращается каждый мыслящий человек к своим истокам. Да поможет нам святой Никандр!



Поклонный крест

Галина МАТВИЕВСКАЯ, Инна ЗУБОВА

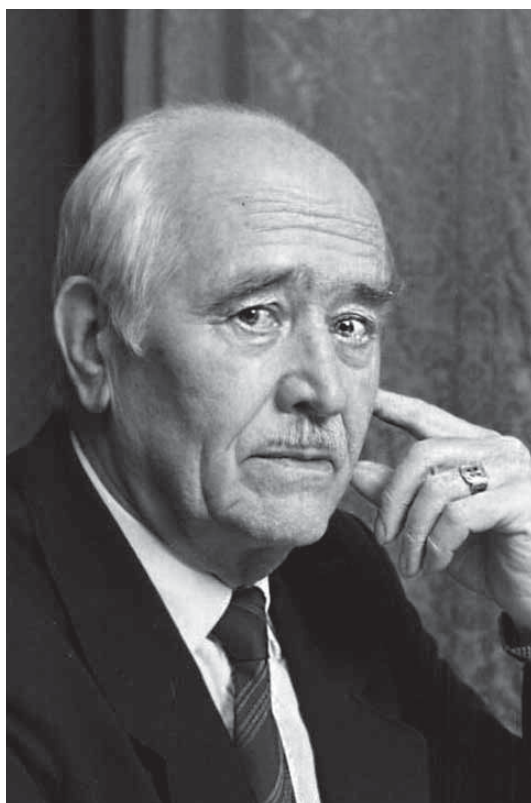
«ЗАЙМИТЕСЬ ЭТИМ ВСЕРЬЁЗ...»

Виктор Васильевич Дорофеев, доцент Оренбургского государственного педагогического университета, член Союза архитекторов России и Союза журналистов России, автор трудов по теории языка, архитектуре, градостроительству, картографии, остаётся в нашей памяти как известный оренбургский краевед, как человек, глубоко преданный краеведению, как увлечённый исследователь истории нашего города.

Виктор Васильевич родился 2 декабря 1927 года в Ленинграде, в семье врача-окулиста Василия Николаевича Дорофеева и его жены Норы Оттовны, учительницы математики. Ему было тринадцать лет, когда началась Великая Отечественная война. «Летом 1941 года мы жили на даче в маленькой деревеньке Вяжищи, километров двенадцать к югу от Луги, и о войне узнали только вечером, когда кто-то из жителей принёс с полустанка эту новость... Возвращаться домой, в Питер,

сначала не думали, войну считали недоразумением...» Так начинаются воспоминания, опубликованные Виктором Васильевичем в 2000 году в литературно-художественном альманахе «Гостиный Двор». Эта публикация, как и другие воспоминания людей, переживших Ленинградскую блокаду, производит огромное впечатление. Она проиллюстрирована рисунками автора, сделанными в блокадные дни. Школьником Виктор Васильевич мечтал стать художником, занимался в художественном кружке ленинградского Дворца пионеров.

Виктор Васильевич пишет о первых бомбёжках, о том, как мальчишки видели с крыши своего дома на набережной Фонтанки горящие Бадаевские склады, о том, как началась осень, а с нею — голод... Страшную блокадную зиму 1941—42 гг. Виктор Васильевич провёл в Ленинграде. Ему, переболевшему в конце осени



Виктор Васильевич Дорофеев

корью, удалось пережить эту зиму благодаря отцу, военврачу второго ранга, которому разрешено было забрать сына в эвакогоспиталь, где служил Василий Николаевич. Здесь мальчик помогал взрослым всем, чем мог: заполнял медицинские карты, писал лозунги к праздникам и даже делал перевязки.

С наступлением весны жизнь стала легче. «Несмотря ни на что, — пишет Виктор Васильевич, — уезжать из Питера не хотелось. Но пришлось». В начале лета 1942 года его бабушка и тётя, немки по национальности, были высланы из Ленинграда, и Нора Оттовна решила ехать с ними и взять с собой сына. Предполагалось, что поедут в

Йошкар-Олу, но поезд изменил направление из-за бомбёжек. Удалось получить разрешение ехать в Оренбург (тогда Чкалов), где жили родственники. В следующем году семья была направлена на жительство в Сакмарск (районный центр Оренбургской области), где мама Виктора Васильевича и осталась навсегда, так как его отец не дожил до конца войны.

Окончив в Сакмарске школу, Виктор Васильевич работал монтером в районном узле связи. Здесь 9 мая 1945 года ему довелось выпускать в эфир сообщение о Победе.

После окончания войны В. В. Дорофеев отправился в Екатеринбург (тогда Свердловск), где поступил на архитектурное отделение строительного факультета Уральского политехнического института, но по состоянию здоровья через некоторое время был вынужден оставить этот вуз. Возобновить учёбу он смог в 1952 году, когда в Чкаловском педагогическом институте (ныне Оренбургский государственный педагогический университет) появился факультет иностранных языков. В 1956 году Виктор Васильевич с отличием окончил английское отделение этого факультета и был оставлен в институте для работы на кафедре английского языка.

54 года отдал Виктор Васильевич преподавательской работе. Глубокое знание языка,

широкая эрудиция, неподражаемый юмор позволяли ему легко завоёвывать огромную популярность у студентов многих поколений. За годы работы, которую он начал в должности ассистента, он «дослужился» до звания доцента, которое было ему присвоено в 1991 году. Много лет он был деканом факультета иностранных языков. В 1966 году Виктор Васильевич получил знак «Отличник народного просвещения».

К исследовательской работе в области краеведения В. В. Дорофеев обратился в 1973 году. Сам он не раз рассказывал, что после перенесённого в это время инфаркта врачи рекомендовали ему ежедневно ходить пешком. Во время этих прогулок у него и появился интерес к истории архитектуры Оренбурга. Особенно его заинтересовали планировка и строительство города-крепости в XVIII веке.

«Начертив эскиз центральной части города, — вспоминал Виктор Васильевич, — показал его П. Е. Матвиевскому... и услышал от него запомнившуюся навсегда фразу: «Займитесь этим всерьёз...», что и было исполнено. При этом Павел Евменович добавил, что историки не занимаются архитектурой, а архитекторы — историей. Дал мне профессор и пару фотокопий планов Оренбурга XVIII века, посоветовав работать и в архиве»².

П. Е. Матвиевский, профессор исторического факультета Оренбургского педагогического института, до конца жизни в 1987 году проявлял неизменный интерес к исследовательской работе В. В. Дорофеева, постоянно обсуждая с ним будущие и уже готовые публикации.

Результаты исследовательской деятельности Виктора Васильевича нашли отражение в многочисленных статьях, с 1979 года публиковавшихся в периодической печати. Первая серия статей называлась «Оренбург: город и крепость». Изучив картографические материалы XVIII века, хранящиеся в Государственном архиве Оренбургской области, В. В. Дорофеев восстановил во всех подробностях планировочную структуру города-крепости, возникшего в это время на юго-восточной границе европейской России, и внес целый ряд уточнений и исправлений в литературу, посвященную основанию Оренбурга. Облик Оренбурга в XVIII веке получил освещение, в частности, в статье «Перспектива Ригельмана как источник информации об Оренбурге XVIII века» (1987) и других, более поздних работах.

Во время прогулок по разным районам города, Виктор Васильевич заинтересовался происхождением названий многих его улиц, прежними

их названиями, историей их переименования. Большую серию газетных статей он назвал «Оренбург: улицы исторического города». За ней следовали серии «Экскурсия по главной улице», «От Шпалерной до Ленинской», «К 250-летию Оренбурга», в которых приводятся проверенные сведения об истории оренбургских улиц и зданий, признанных архитектурными памятниками.

Приступив к изучению планов города XIX века, Виктор Васильевич смог воссоздать первоначальный облик многих исторических зданий, как перестроенных, так и не сохранившихся до наших дней, и представил в своих публикациях множество великолепно выполненных реконструкций. Он воссоздал образ города таким, каким его увидел приехавший сюда в 1833 году А. С. Пушкин, таким, каким стал город после восьмилетнего управления оренбургского губернатора В. А. Перовского (1833–1841) — времени, которое современники называли золотым веком Оренбурга, таким, каким город встретил в 50-е годы XIX века ссыльного Т. Г. Шевченко. Особое внимание автор обратил на такие замечательные постройки, как Караван-Сарай, построенный в 1837–1846 гг. по проекту А. П. Брюллова, и здание Дворянского собрания, несомненно, спроектированное

этим же архитектором, построенное в 1841 году.

В 1985–1996 гг. Виктор Васильевич принял участие в подготовке нескольких справочных изданий об Оренбурге и его истории. Здесь он, можно сказать, давал подробную «биографию» каждой улицы. Особо стоит отметить справочник «Оренбург», который В. В. Дорофеев опубликовал в 1996 году в соавторстве с Ю. Д. Гаранькиным.

В эти же годы начали издаваться отдельные буклеты и брошюры. Немало работ В. В. Дорофеева посвящено выдающимся людям, связанным с Оренбургом, памятным событиям и местам, имеющим историческое значение.

О посещении нашего города в 1833 году А. С. Пушкиным идёт речь в его статьях «Оренбург, каким его увидел А. С. Пушкин» (1979), «Следы истории самой» (1982), «Оренбург 150 лет назад» (1983), «Где был поэт и историк» (1997), «Мистический дом и некое другое» (1999). Этой же теме посвящены брошюры В. В. Дорофеева: «Пушкинские места в Оренбурге» (1997) и «Оренбург пушкинский» (1998).

В. И. Далю, который служил в Оренбурге в 1833–1841 гг. В. В. Дорофеев уделит внимание в статьях «Оренбург В. И. Даля» (2001) и «Оренбург времени

пребывания в нём В. И. Даля» (2003).

Т. Г. Шевченко, находившемуся в Оренбурге в 1847-м и 1849—1850 гг., В. В. Дорофеев посвятил брошюру «Оренбург шевченковский», изданную в 1993 г.

Большой интерес представляет опубликованная в 1995 году брошюра «Василий Перовский и Оренбуржье». В ней прослеживается деятельность оренбургского военного губернатора В. А. Перовского, правившего Оренбургским краем два срока: с 1833 по 1842 год и с 1851 по 1857 год. При этом автор опирается на правительственные указы, изданные в этот период по ходатайствам и докладам В. А. Перовского.

Следует выделить цикл работ В. В. Дорофеева, посвящённых архитектурным памятникам Оренбурга, охрана которых всегда составляла предмет его заботы. К этим памятникам прежде всего относится комплекс Караван-Сарая. Это замечательное сооружение особенно интересовало В.В. Дорофеева. В 1981 году он откликнулся на 135-летнюю годовщину завершения строительства памятника статьёй «Наша гордость». К 250-летию Оренбурга в 1991 году была опубликована брошюра «Символ города», вышедшая в 1993 г. вторым, дополненным изданием. Историю строительства

комплекса он осветил в статье «Сколько стоил Караван-Сарай?» (1991). Наконец, в 1996 году появилась статья «Государственное мышление, воплощённое в шедевр: 11 октября исполняется 150 лет со дня открытия войсковой мечети Караван-Сарай в Оренбурге».

Изучение архивных документов, старинных планов и чертежей позволило В. В. Дорофееву выявить ряд заблуждений, укоренившихся в краеведческой литературе. Устранение этих ошибок он считал своим долгом, что показывают его публикации, в том числе статьи «Основание Оренбурга и связанные с этим заблуждения» (2003), «Работа всерьёз» (2006), «Сокращение количества заблуждений» (2006).

На материалах В. В. Дорофеева было составлено несколько иллюстрированных буклетов и туристских схем. Кроме уже упомянутых, хотелось бы вспомнить о таких буклетах и брошюрах, как «Архитектурный Оренбург» (1987), «Оренбург в трёх веках» (1988, 1991, 1993). «Город на Яике» (1993), «Улица вела к храму...» (1994), (1995), «Оренбург. Планировочная структура города-крепости» (2001).

Результаты своих исследований Виктор Васильевич обобщил в двух монографиях. Первая из них была опубликована в 1998 году и называлась

«Над Уралом-рекой». В 2008 году вышло её второе, дополненное и переработанное издание, которому уже удалось дать название, с самого начала предлагавшееся автором: «Над Яиком — Уралом». В 2007 году была издана вторая монография «Архитектура Оренбурга XVIII—XX веков». Иллюстрации ко всем работам — чертежи, планы строений, художественные реконструкции зданий — всегда были прекрасно выполнены самим автором.

За работы по истории архитектуры Оренбурга В. В. Дорофеев в 2003 году был принят в Союз архитекторов России.

Глубокое знание документов, касающихся архитектуры города, нередко позволяло Виктору Васильевичу уточнить многие факты, связанные с различными историческими событиями и биографиями замечательных людей. Так, именно он указал место, где находился дом, в котором первоначально жил, приехав в Оренбург в 1833 году, В. И. Даль. В 1995 году профессор Оренбургского педагогического университета А. Г. Прокофьева опубликовала в первом номере альманаха «Гостиный Двор» фрагмент хранящихся в Пушкинском доме в Петербурге мемуаров дочери Даля Екатерины Владимировны. В этом фрагменте рассказывается о назначении Даля на должность чиновника особых поручений при оренбургском военном губернаторе

В. А. Перовском. Здесь и упоминается о доме, в котором поселился Даль с молодой женой, и в котором родился его старший сын, архитектор Лев Владимирович Даль. Именно в этом доме в гостях у Даля был во время своего краткого пребывания в Оренбурге А. С. Пушкин. Дом не сохранился, но на месте, где он был, благодаря хлопотам В. В. Дорофеева, в год 200-летия Пушкина появилась мемориальная доска.

Важной стороной краеведческой деятельности В. В. Дорофеева была его многолетняя работа по сохранению памятников истории и культуры Оренбурга. Он буквально не мог говорить спокойно об уродующих перестройках старинных зданий, тем более о небрежном отношении к ним или сознательном их разрушении. Многие его выступления в печати были посвящены потерям такого рода. И приятно отметить, что в наши дни некоторые утраченные памятники, о которых он писал, восстановлены.

Совмещая исследовательскую деятельность с преподавательской работой, Виктор Васильевич постоянно занимался популяризацией краеведения среди молодёжи. Так, изданные им в 1987 году методические указания для внеаудиторного чтения на английском языке, предназначенные студентам-историкам, содержат его статьи, посвящённые истории строительства Оренбурга,

основанные на архивных материалах и переведенные на английский язык. В конце 1980-х — начале 1990-х годов Виктор Васильевич был неизменным членом жюри краеведческих викторин и конкурсов, проводившихся в средних учебных заведениях города и транслировавшихся местным телевидением. Он был замечательным экскурсоводом для участников конференций, проводившихся в педагогическом университете, и других гостей города.

Заслуги В. В. Дорофеева как исследователя и краеведа были отмечены губернаторской премией «Оренбургская лира», медалью «За вклад в наследие народов России» Российского союза исторических городов, а в 1999 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Оренбурга».

Он ушёл из жизни 30 сентября 2012 года. В декабре минувшего года на здании Оренбургского государственного педагогического университета, где работал В. В. Дорофеев, установлена мемориальная доска.

Список использованных источников и литературы

1. Дорофеев В. В. *Уезжать не хотелось* // «Гостиный Двор». 2000. № 8.

2. Дорофеев В. В. *Работа всерьёз* // История оренбургская: Наследие и современность. Первые региональные историко-краеведческие чтения памяти проф. П. Е. Матвиевского. Т.1. Оренбург: Издательство ОГПУ, 2006.



Мемориальная доска В.В. Дорофееву



Лидия МЕДВЕДЕВА

МОТИВЫ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ

Лидия Сергеевна Медведева родилась в посёлке Саракташ Оренбургской области. Окончила Оренбургский педагогический институт, Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Искусствовед, член Союза художников России, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Работает в Оренбургском областном музее изобразительных искусств заместителем директора по научной работе. Лауреат губернаторской премии «Оренбургская лира» (2010), премии «За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству» им. Третьякова (2014). Награждена медалью «Патриот России».

В 70—80-е годы века прошедшего Оренбург занимал весьма заметное место на художественной карте страны, столь заметное, что заговорили об «оренбургской» школе живописи. Общее признание получил факт, что в Оренбурге живут художники-«картинщики», то есть мастера самого сложного жанра — сюжетно-тематической картины, требующей не только высокого профессионализма от авторов, но и умения мыслить масштабно, крупными категориями.

В связи с кардинальными переменами в жизни страны на рубеже тысячелетий картина как жанр, требующий от человека самого серьёзного осмысления жизни и места человека в ней, полной отдачи душевных, нервных, даже физических сил,

темперамента, времени и ещё много-много всего, в том числе и материального обеспечения, как бы уходит из художественной практики.

Каким же запасом внутренних сил, творческой энергии нужно было обладать, чтобы в наши дни появился цикл новых картин заслуженного художника РФ Юрия Петровича Григорьева, объединенных названием «Мотивы деревенской жизни». Творческий путь Григорьева начинался с картин, посвящённых жизни села. В фондах областного музея ИЗО в Оренбурге хранится работа «Вечер на полевом стане» (1970), соединившая монументальность, значительность образов с лирической нотой — внутренними переживаниями молодых людей, красотой ночной притихшей степи. По мысли В. Фаворского, соединение эпоса и лирики — характернейшая особенность русского искусства. Тема «Земля и человек» стала сквозной темой творчества художника. В картине 1979 года «Осень. Хлеборобы» перед зрителем в торжественном предстании молодые, красивые, круглолицые девушки, широкоплечие добродушные парни. Для Григорьева хлебороб не просто профессия, а понятие,

закрывающее высокий нравственный смысл. Фризообразное построение композиции, обобщенные формы, выразительные контуры сообщают образам монументальность, величавость, усиливаемую пейзажем — уходящим вдаль желтеющим полем, под затянутыми тучами небом. Резкий контраст света и тени в фигурах подчёркивает их рельефность.

Начиная с 1980-х и особенно в 1990-х годах художник в основном занимается пейзажным жанром, вкладывая в него глубочайший эмоциональный, социально-этический смысл. Это не просто картины природы, это размышление о жизни, о человеке, растерянном перед стихией, порою отчаявшемся. Трагедия в безбрежности неба, то взрывающегося вспышками молний, грозowymi раскатами, то обрушивающегося ливнями. Маленькими, покосившимися, прижавшимися к земле возникают деревенские подворья. Беспощадное, неумолимое время, разломы общественной социальной жизни и — человек перед всем этим неистовством. В эти годы художник раскрывается во всей мощи своего живописного темперамента, редкого колористического дара, становится Мастером. Его картины (потому что пейзажи

Григорьева это действительно картины) — потрясающие симфонии цвета, передающие полифоническое полнозвучие мира.

Выставка «Мотивы деревенской жизни», открывшаяся в «Галерее на Пушкинской» в марте 2018 года, стала подлинным откровением, она как бы взрывает атмосферу некой усредненности, аморфности, безразличия, в которой мы живём. Она возвращает нас к людям, которые, оставаясь на земле, в деревне, по-прежнему создают тот жизненный плацдарм, на который мы бездумно громоздим всё возрастающие потребительские запросы. Ушло в прошлое время, когда поэты писали о человеке-труженике: «В шар земной упираясь ногами, солнца шар я держу на руках...»

В картины вернулись люди, герои Григорьева, но это не молодые, уверенные в себе, счастливо спокойные персонажи ранних работ. Они шли по жизни вместе с художником, и нет в них ничего от праздничности и уверенности прежних героев. Морщины избородили лица, согнулись спины, устало опустились руки, непритязательна одежда... Они заняты повседневными делами, кто-то ловит рыбу, кто-то едет на

велосипеде, сажает деревце, собирает грибы, идет по улице села...

Обыденная ежедневная жизнь человека неразрывно связана со сменами времён года, световым днём. Неразрывны циклы природы и жизни сельского труженика. В этом соединении причина внутренней сосредоточенности, спокойной важности, даже некоторой эпической торжественности существования человека на земле, того, что так точно подмечено художником и зафиксировано в «Мотивах деревенской жизни». Крупные, тяжёлые массы тел, ощутимо медленно, с напряжением разворачивающиеся в неглубоком пространстве картин, в котором, собственно, и не распрямиться окончательно, — пластически точно найденная метафора сущности их жизни. И повторяющаяся параболическая линия силуэтов несёт в себе сакральный смысл, они как величественные фигуры апостолов в русских иконах, склоняющиеся перед святыней. Для героев Григорьева смысл их жизни — земля, на которой они живут и умирают. Никакой идеализации — согбенные фигуры, опущенные головы, погруженность в себя и, вместе с тем, ни грана бытовизма, жанровой мелочности, суеты

— эпические, монументальные образы, олицетворение героической стойкости и гордости, величия русского национального характера. Художник не отделяет себя от них, он рядом, «все во мне и я во всем» (Ф. И. Тютчев). Они шли по жизни вместе с художником, и нет в них ничего от праздничности и уверенности прежних героев. Они состарились, опустились плечи, тяжелы негнущиеся руки, даже деревенские мальчики кажутся старичками. Первое впечатление — горечь, усталость, отрешенность, усиленные скупостью цветовой палитры, композиционной «теснотой» фигур, невозможностью распрямиться. В «Мотивах деревенской жизни» возникает трагический мотив жизни уходящей, обречённой — в покосившихся, полуразрушенных домах под мрачным небом с маленькой, почти призрачной, согнувшейся пополам с клюкою в руке старухой на пустой улице. А рядом изумительной красоты пейзажи — широкая притихшая степь под мрачным опустившимся небом, бушующая над озером гроза и жалобно простёршее ввысь ветви сухое дерево.

Здесь всё переплелось — и ужас перед стихией, и захватывающий душу восторг перед её красотой и мощью.

Но это первое впечатление от выставки постепенно сменяется удивлением, уважением, даже восхищением душевной стойкостью, внутренней нравственной силой и цельностью характера. И всё это благодаря великому искусству художника, потрясающей выразительности и красоте живописно-пластического решения. Персонажи возникают из широких, как бы ниспадающих потоков красочной массы, они «из того же теста», что и земная твердь, они как могучие корни деревьев. При кажущейся ограниченности цветовой палитры удивительна красота живописи, то вдруг взрывающейся серебряными брызгами в пойманных рыбах, то ослепительно вспыхивающей синим ультрамарином в соседстве с золотистой охрой. Красное локальное пятно платья женщины, полыхнувшее жаром от соседства с яркой лазурью («Осенние радости») как воплощение праздничности, щедрости жизни, зноя августовского полдня.

При всей приземлённости образов мы явственно ощущаем их духовное преображение, вызываемое потоком льющегося сверху света, создающего своеобразный ореол вокруг персонажей, свет как бы пропитывает цвет, точнее, цвет как

бы сам по себе излучает свет. Свет создаёт высокое духовное наполнение образа художника в «Автопортрете». Боковое освещение слева вырывает голову, плечо из сгустившегося цветного сумрака и вместе с тем за головой — столь же ослепительное пятно света, делающего плоть невесомой, полупрозрачной. Голова, плечо, вылепленные лёгкими, точными касаниями кисти, вырываются из густых, насыщенных цветом, падающих, переливающихся красочных слоёв, то тёмных серо-коричневых, то вспыхивающих сияющим «голубцом», золотом, пятнами малинового, красного, зелёного...

При статичности, утяжелённости фигур, вместе с тем возникает ощущение динамического напряжения постоянного волнообразного гиперболического ритма, объединяющего работы, размеренного ритма жизни и труда сельских тружеников, основательности их бытия, сакральной значимости бесконечного космоса. Этот ритм в широте и свободе мазка, в его бурном, резком движении, даже не движении, а потоке, каким-то образом создающем гармоническое живописно-пластическое целое. Живые ракурсы, точно

схваченные движения, правдивость деталей — и вместе с тем эпическое, проникнутое трагическими и одновременно жизнеутверждающими интонациями повествование о жизни, о человеке. Поэтому в названии не «картинки», а «мотивы», переводящие его в общепhilософское, нравственное, если хотите, социально-историческое размышление.

Это то, что мы называем «большой формой», «высоким стилем», что, казалось бы, осталось где-то в 70–80-х годах прошлого века и внезапно обновленное, исполненное правдой, искренностью, талантом художника, возродилось в его замечательных творениях сегодня. После всех разговоров в искусствоведческой среде о живописи, оставшейся далеко в прошлом, о невозможности её сегодняшнего существования, выставка Григорьева — провозглашение её невероятной жизненной силы, ни с чем ни сравнимого эмоционального, духовного, животворящего восторга.

И это истинно современное искусство, соединяющее реализм с высокой духовностью, о чем когда-то писал В. Кандинский, мечтая об искусстве будущего.



Двое в лодке. Холст, масло



Собаки. Холст, масло



Рыбак с собакой. Холст, масло



Деревенские мальчишки. Холст, масло



Осенние радости. Холст, масло